

ЕГИШЕ ЧАРЕНЦ

ИЗДАНИЕ ПЕРВОЕ



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Редакционная коллегия

*Ф. Я. Прийма (главный редактор),
И. В. Абашидзе, Н. П. Бажан, В. Г. Базанов,
А. Н. Болдырев, П. У. Бровка, А. С. Бушмин,
Н. М. Грибачев, А. В. Западов, К. Ш. Кулиев,
М. К. Луконин, Э. Б. Межелайтис, В. О. Перцов,
В. А. Рождественский, С. А. Рустам, А. А. Сурков,
Н. С. Тихонов, М. Т. Турсун-заде*



*Большая серия
Второе издание*



С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ

ЕГИШЕ ЧАРЕНЦ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Вступительная статья

А. Н. Салахьяна и Э. С. Топчяна

Составление **А. Н. Салахьяна**

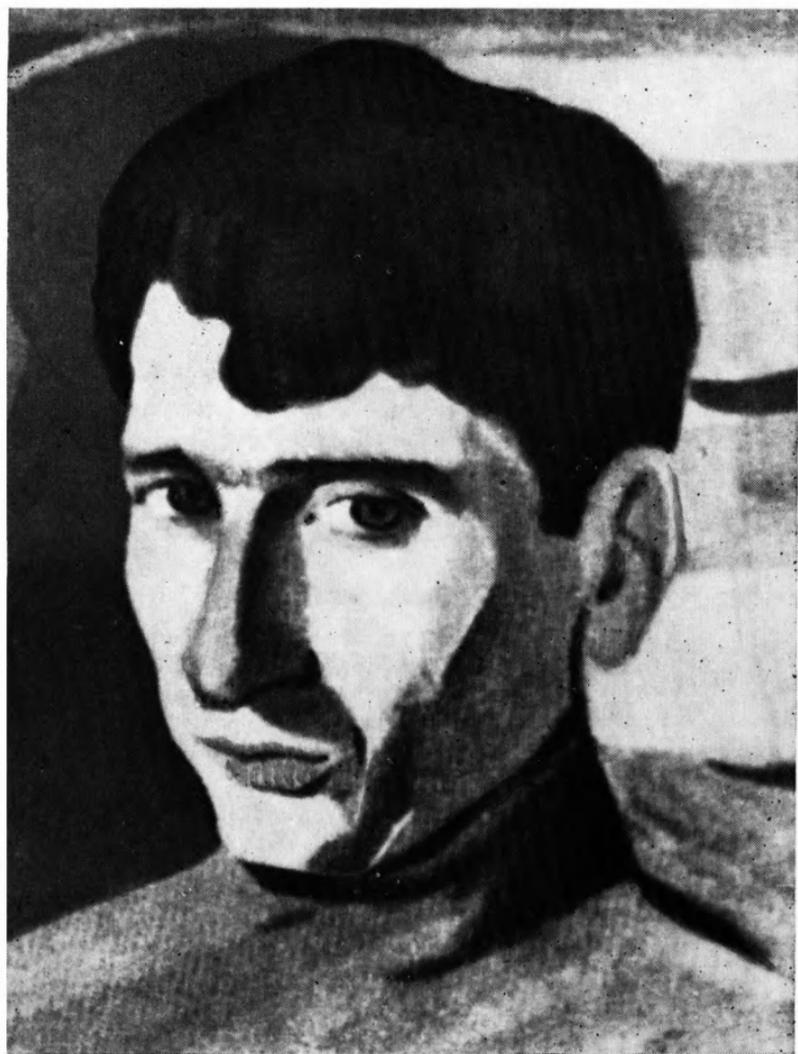
Редакция стихотворных переводов
С. В. Шервинского

Общая редакция и примечания
Г. А. Татосяна

Егише Чаренц (1897—1937) — выдающийся армянский поэт советской эпохи. Он прошел сложный путь поэтического развития: испытал влияние поэтов-символистов на раннем этапе своего творчества, Чаренц впоследствии преодолевает его и становится вдохновенным певцом Великого Октября и одним из зачинателей социалистического реализма в армянской советской литературе.

Настоящий сборник является наиболее полным из русских изданий Чаренца. В нем представлена значительная часть его многообразного стихотворного наследия, отражающая различные этапы творческого пути поэта. Многие произведения публикуются в новых переводах. Ряд поэм и стихотворений печатается на русском языке впервые.

© Издательство «Советский писатель», 1973.



ПОЭЗИЯ ЕГИШЕ ЧАРЕНЦА

Биография Егише Чаренца — одна из самых суровых и драматичных, беспокойных и героических в истории армянской литературы.

Путь поэта — это прежде всего решительное и последовательное преодоление национальной ограниченности, это утверждение революционной роли искусства в жизни общества, это осмысление истории — и прошлой, и современной, и своего родного народа, и других народов — с высот революции, с высот ленинизма.

Чаренц не мыслил творческой работы писателя в отрыве от задач социалистического строительства. Каждый новый этап исторического развития нашей родины находил отклик в творчестве поэта, определяя идейно-художественное содержание его поэзии.

Чаренц боролся за место поэта в рабочем строю, за преобразующее значение литературы, ее высокую идейность. В сложных условиях классовой борьбы 20-х годов, при наличии многих литературных группировок, Чаренц призывал создавать поэзию большой правды, «каждым нервом» связанную с советской эпохой. В стихотворении «Послание из Еревана другу-поэту» (1929) он писал:

Дыханьсм времени ты будь!
И каждым нервом привяжись
К эпохе, к веку, к нашим дням,
Люби всегда живую жизнь
И лире сам не изменяй! . .

1

Егише Чаренц (Егише Абгарович Согомонян) родился 13 марта 1897 года в городе Карсе, в семье торговца коврами. В этом, по выражению Чаренца, «неприветливом сером городе» прошли детские и юношеские годы будущего поэта. Здесь он учился в реальном учи-

лице. В поэме «Чаренц-наме» (1922) поэт скупое вспоминает об этом периоде своей жизни, рассказывая о том, как он вышел в люди. Глухой, провинциальный город, его кривые улочки, вдоль которых тянулись подпирающие друг друга глинобитные домишки, усталые и скучные люди — вот та реальная действительность, с которой столкнулся молодой Чаренц. Юноша был еще далек от правильного понимания судеб своего народа и законов общественного устройства, его представления о жизни были неустойчивы, но книги, которыми он зачитывался, бесхитростные рассказы простых людей из народа все больше приковывали внимание Чаренца ко всему, что связано с родной страной, такой таинственной, когда ее называли «Еркир Наири»,¹ и такой прозаичной и обыденной, когда она вставала перед ним в облике ее реальных городов и селений.

В Карсе пятнадцатилетний Егише впервые полюбил. У девушки было поэтическое имя Астхик — Звездочка. С любовью пришли стихи — в 1912 году в альманахе «Патани» («Юноша»), издававшемся в Тифлисе, было напечатано первое стихотворение Чаренца «Кроткие цветы», еще подписанное «Егише Согомонян», а спустя два года он издал в Карсе «Три песни бледнопечальной девушке», посвященные Астхик. И читатели узнали новое имя — Чаренц.²

В «Трех песнях...» чувствуется зависимость юного поэта от авторов, различных по стилю и характеру, — от француза Альберта Самена, строка которого приведена в качестве эпиграфа, до армянского поэта Ваана Теряна, некоторые образы и словосочетания которого повторены Чаренцем.

«Три песни...» — это три лирических эскиза («В дороге», «Бессонной ночью», «День поминовения усопших»), объединенные между собой образом героя, потерявшего веру в жизнь, отвергнутого и презираемого людьми. Мысль о безвозвратно потерянном счастье, о неизменяемости всего сущего является главной и определяющей в «Трех песнях...», она варьируется и в цикле «Часы видений», законченном осенью 1915 года.

Юношеские произведения Чаренца представляют по преимуществу историко-литературный интерес. Конечно, в них можно найти какие-то «осколки» объективной действительности, что-то от вещественного предметного мира: перед нами мелькают ямщик и карета, грязная дорога и больная женщина, страдающая фигура влюбленного поэта и безлюдные улицы города, туманные пейзажи печаль-

¹ «Еркир Наири» — страна Наири — так называлась Армения в памятниках древней письменности.

² В переводе с армянского Чаренц — неукротимый, неистовый.

ной осени и бледные контуры родного края и т. п. Но все это еще не составляет единой картины. Чаренц поэтизирует красоту одиночества, он пишет о желании забыться, уснуть, о прелести неведомых путей и «иных миров», ограничиваясь романтической позой разочарованного героя.

Годы первой мировой войны застали поэта в родном городе, который зажил особой жизнью, превратившись в важный стратегический пункт на русско-турецком фронте. Под влиянием лжепатриотической шумихи, поднятой буржуазными националистами, семнадцатилетний Чаренц полагал, что наконец наступил тот долгожданный час, когда раз и навсегда будет разрешен «армянский вопрос» и, может быть, воскреснет, подобно легендарному Фениксу, далекая, таинственная «Еркир Наири». . . Эта ложная мечта, рожденная в сумерках старого мира, привела Чаренца в 1915 году добровольцем в армию. Им уже были к этому времени написаны стихи «На родине», «Всю ночь, больной, безумный, в муках. . .» и другие, в которых выражены переживания одинокой безутешной души, рвущейся в «неведомую даль», к «горячему солнцу», но обреченной жить в «тусклом мире».

Если обратиться к первым произведениям Е. Чаренца («Три песни. . .», «Синеглазая родина», «Радуга» — 1914—1917), то нетрудно заметить, что начал он с субъективной, отвлеченно-романтической лирики. Вот одно из характерных стихотворений Чаренца этого периода:

Всю ночь, больной, безумный, в муках
О солнце грезил я без сна.
Вокруг ни шепота, ни звука,
Всё тускло — сумрак и луна.

Я солнца ждал во тьме, как чуда,
Всем сердцем полюбить готов
Звук долгожданный, шепот мудрый
Солнцеподобных ярких слов.

Но мгла была вокруг меня,
Был мрак — ни звука, ни огня.

Находясь во власти тревожного состояния, поэт варьирует мотивы глухой печали, несбыточных надежд и неумной тоски, лишая чувства и образы определенности, подменяя конкретность призрачностью, повторяя символистскую поэтику полутонов и намеков.

В стихах раннего Чаренца обнаруживается его неумение разобраться в социальных противоречиях современного ему общества, понять закономерности его развития. Поэт утверждает, что мир недоступен пониманию, что жизнь беспросветна и безрадостна. Свои «зыбкие мечты» и «неуловимые чувства» Чаренц передает, создавая подчас усложненные «цветовые» образы, прибегая как бы к акварели. Этим излюбленным приемом Чаренц пользуется в сборнике «Радуга», где радужная многоцветность жизни сведена к одному тону, к «голубому колориту», призванному символизировать чистоту и незапятнанность чувств поэта. Сквозь неопределенность настроения лирического героя этих стихов проступает мысль о суетности земной жизни и неотражимой прелести мира «вечной голубизны». Следует отметить, однако, что уже в первых сборниках Чаренца, свидетельствующих о сложности и противоречивости его внутреннего мира, мотивы отрешенности и самозабвения причудливо переплетаются с интересом к окружающей жизни, с тревогой за судьбу родины. Эта противоречивость особенно сильно сказалась в поэме «Синеглазая родина». Образ любимой «страны Наири» согрет здесь горячей сыновней любовью поэта. Чувство патриотизма, пусть еще не совсем очищенное от национальной ограниченности, пробивается в поэме сильной струей. И все же родина в своей исторической конкретности почти отсутствует в этой поэме.

В ряде произведений ранних лет Чаренц обращается к темам и образам, разработанным в армянской поэзии Вааном Теряном, творчество которого на первых порах развивалось под влиянием русских символистов. Традиции армянской демократической поэзии — традиции Микаэла Налбандяна и Ованеса Туманяна, Иоаннеса Иоаннисиана и Аветика Исаакяна, революционная лирика Акопа Акопяна еще органически не вошли тогда в творческое сознание молодого поэта. И хотя поэма «Синеглазая родина» сближается с патриотической устремленностью поэзии В. Теряна, О. Туманяна, А. Исаакяна, рано говорить о приобщении Чаренца к народной стихии туманяновской и исаакяновской лирики. Поэт еще пленен красотой ранних стихов В. Теряна и не замечает органических изменений, происшедших в творчестве одного из своих первых поэтических учителей. Но туманяновский образ одинокой страдающей души, плывущей в бездонном море армянского горя, стихотворения Исаакяна о жестокой войне, в «море крови» которой гибли сыновья народа, страстная любовь Теряна к милой «стране Наири», представшей перед ним уже не в сказочно-легендарном ореоле, а в развалинах и людских страданиях, постепенно овладевали сознанием Чаренца, определяли его поиски выхода из «голубого», «усыпляющего» тупика. В окопах первой

мировой войны поэт простился с юношескими «голубыми грезами», до острой боли в сердце ощутил народную трагедию.

Приехав в 1916 году в Москву, Чаренц оказался под перекрестным воздействием эстетических программ акмеизма, футуризма и других модных тогда декадентских течений. Но Москва открылась ему и с другой стороны. Он увидел зревший здесь в народных массах революционный протест, их страстную тягу к миру. Это в конечном счете значительно ускорило процесс идейного и творческого самоопределения Чаренца. Отказ от взгляда на жизнь сквозь обманчивый цвет радуги, через узенькое окошко «туманной» поэзии и стремление к критическому и широкому обозрению суровой действительности нетрудно заметить в одной из крупных поэм молодого Чаренца — «Дантовой легенде» (1915—1916). Здесь еще дает себя знать условный и призрачный мир поэзии символистов,¹ но искреннее чувство протеста, рожденное в окопных буднях и так или иначе идущее из сердца многих товарищей по оружию, придает «Дантовой легенде» особое значение в литературной биографии Чаренца. В первых изданиях поэма имела подзаголовок: «Воспоминания с поля боя». И действительно, автор рассказывает об одном из многочисленных эпизодов империалистической войны, резко противопоставляя друг другу два начала — жизнь и смерть. В первых строфах «Дантовой легенды» поэт говорит о радости бытия, о красоте природы, которая окрыляет человеческое воображение, рождает вдохновение и восторг:

Итак, мы в путь пустились на рассвете.
Опьянены небесной синевой,
Мы шли и были веселы, как дети,
Как путники со светлою душой,
Которой чужды робость и тревога.
Звала нас неизвестная дорога. . .

Однако эта гармония «светлой души» и дали, зовущей на край света, призрачна, ибо вокруг господствуют стихийные силы жестокой жизни, вокруг — трупы солдат, стариков, женщин и детей, холодное царство Смерти и Зла. В поэме изображаются картины страшных разрушений, страданий и неутешного горя людей, втянутых в водоворот событий первой мировой войны. Густыми красками, прибегая

¹ Спустя двадцать лет после написания «Дантовой легенды», готовя новое издание своих сочинений (к сожалению, так и не осуществленное при жизни поэта), Чаренц подверг поэму значительной переработке.

в отдельных случаях к натуралистическим описаниям, рисует поэт панораму нового дантова ада (отсюда и название поэмы).

Законченная в том же году, что и «Война и мир» В. Маяковского, «Дантова легенда» Чаренца лишена острой идейной направленности, резкого разоблачительного пафоса произведения великого русского поэта. Реальный материал «Дантовой легенды» служит для Чаренца только иллюстрацией, он недостаточно осмыслен с точки зрения общественной и политической. Поэт просто фиксирует виденное, в равной степени — и большое и малое. Как правило, картины и образы «Дантовой легенды» существуют сами по себе, независимо друг от друга, автономно, а это, в свою очередь, приводит к раздробленности главной идеи произведения. Но, хотя в поэме Чаренца нет открытого призыва покончить с империалистической войной путем революционной борьбы, все же главная мысль автора направлена на разоблачение жестокости и бесчеловечности империалистической войны, ее преступного антинародного характера. Рост мировоззрения Чаренца проявляется, в частности, в том, что в «Дантовой легенде» он смело ставит вопрос: «Кто виноват во всем?»

Зачем над нами, как мираж, повисла
Мечта пустая? Ведь за веком век
Везде война и зло... Какого смысла
В уничтоженьи ищет человек?
Кому корысть, что льется кровь живая?
Кто зло творит, мир в пекло превращая?

Это своеобразное лирическое отступление (впрочем, вся поэма является развернутым лиро-эпическим монологом), эмоционально ярко окрашенное и построенное на вопросительных интонациях, показывает трудный путь гражданского возмужания Чаренца. Поэту еще не ясны истинные причины и истинные виновники войны, он еще не знает, где искать выход из величайшей трагедии, обрушившейся на человечество, но здесь важен факт новых духовных исканий Чаренца, так как именно этими поисками определяется направление его идейно-творческого развития. «Дантова легенда» явилась серьезным шагом на пути преодоления Чаренцем символистских мотивов своих первых стихов.

В том же 1916 году в Москве поэт пишет поэму «Аттила», служащую прямым дополнением к «Дантовой легенде». Взяв в качестве эпиграфа строку Вячеслава Иванова «Топчи их рай, Аттила!», Чаренц скорее следует брюсовской традиции (цикл стихов Брюсова «Любимцы веков»), оттеняя одну черту своего героя — его дикую,

безумную кровожадность. Поэма представляет собой монолог Аттилы — вождя племени гуннов, который вырастает в нарицательный образ, в символ Смерти и Разрушения. Поэт как бы проводит параллель между Аттилой и империалистическими силами, развязавшими первую мировую войну.

Февральскую революцию Чаренц встретил в Москве, восприняв ее как начало грандиозных исторических событий.

В автобиографической поэме «Чаренц-наме» он писал:

Январь.
Февраль.
Двадцать шестое...
Оторвалось, как камень со скалы...

Солнце-рабочий,
Красный от зноя,
Покатил, расшатывая миры...
Что?
Глыбу.
Камень громадный,
Что века
На наших плечах покоился,
Сосал нашу кровь жадно,
Дышал холодом полюса.

Покатился.
И вдруг —
Миг ли, два ли —
Помедлил,
Прежде чем упасть с вершины.

Впереди открылись бездонные дали.
И раздавил он старую машину...

В бурной Москве семнадцатого года Чаренц приобщился к доселе неизвестным ему мыслям, идеям, здесь он услышал «музыку революции», услышал уверенную поступь новой истории и понял, что только под большевистским знаменем его далекая, любимая Армения придет к своему национальному и социальному возрождению.

Это было время дальнейшего роста политического сознания поэта, который не мог удовлетвориться позицией безразличного и стороннего созерцателя развернувшихся классовых боев. Уже в сати-

рической поэме «Национальный сон», написанной в период между декабром 1917-го и февралем 1918 года, Чаренц едко высмеивает идеи презренных буржуазных националистов, которые лелеяли мечту о каких-то «особых» путях спасения и возрождения армянской нации.

Великий Октябрь пробудил Чаренца к новой жизни. Подобно Владимиру Маяковскому, он имел право сказать: «моя революция». Социалистическая революция открыла перед Чаренцем широчайшие перспективы творческого роста. Не колеблясь, становится он в ряды бойцов нового мира. В 1918—1919 годах Чаренц — солдат Красной Армии, с 1918 года он член Коммунистической партии.

Бурно и быстро шел процесс политического и идейного созревания Чаренца. Гражданская война явилась для него подлинным «университетом». Он не раз ходил в атаку под Царицыном, вместе с русскими парнями отправлялся в разведку, спал с ними под одной шинелью, ел из одного котелка. В недолгие минуты затишья между боями, под задушевные солдатские напевы, Чаренц обдумывал новые стихи и поэмы, записывал на клочках бумаги огненные строки «Сомы», «Неистовых толп» — произведений, знаменовавших его решительный разрыв с поэзией «намеков» и «недоговоренностей», с «голубыми» песнями «Радуги»...

В период боевой службы в рядах Красной Армии и революционной работы в Армении небывало обогатился жизненный опыт молодого поэта, получившего на фронтах гражданской войны крепкую идейную закалку, которой ему недоставало прежде.

Направляясь по поручению партии в конце 1919 года в Армению, где в то время господствовали дашнакские головорезы, Чаренц верит в ее скорое освобождение. С огромным энтузиазмом встречает он весть о майском восстании 1920 года,¹ а спустя несколько месяцев, после победы Советской власти в Армении, с оружием в руках отстаивает завоевания революции. В эти годы перед Чаренцем раскрылось величие исторической борьбы народа, определившей пафос всего дальнейшего творчества поэта. Начался новый период в жизни Чаренца — певца Октября, певца революционного творчества масс.

В годы гражданской войны Чаренц много пишет и печатается — в газетах, в журналах, альманахах. В 1918 году в Тифлисе отдельным изданием выходит его поэма «Сома», в 1919 году — «Неистовые толпы», в 1920 году — три «радиопоэмы» «Всем, всем, всем...» и другие.

¹ В мае 1920 года трудящиеся Армении сделали попытку свергнуть власть дашнакских маузеристов. Майское восстание было жестоко подавлено контрреволюцией.

Критика и читатели обратили внимание на свежий, самобытный голос поэта, который в прогивоположность трубадурам «дашнакского Парнаса», проповедовавшим мрачную мистику и оголтелый национализм, славил революционный порыв и самоотверженную борьбу народа.

2

Спустя несколько месяцев после победы Советской власти в Армении Чаренц едет в Москву учиться.

В 1922 году в Москве вышел двухтомник его сочинений на армянском языке. Сам автор придавал большое значение этому изданию, так как оно впервые более или менее широко представляло его творчество за восемь-девять лет. В первый том вошли лирические стихотворения и поэмы (циклы «Три песни...», «Радуга», «Жертвенный огонь», «Ваш эмалевый профиль», «Уличной щеголихе», «Восьмистишия солнцу», «Песенник» и другие), во второй — тринадцать эпических поэм. Заслуживает внимания настойчивое обращение Чаренца в эти годы к жанру поэмы.¹

Новая линия лирического творчества Чаренца (после циклов «Три песни...», «Радуга» и нескольких ранних стихотворений) начинается циклом «Жертвенный огонь» (1918—1920), темы и мотивы которого свидетельствуют о существенных изменениях как в мировоззрении, так и в художественном методе писателя. Стихи этого цикла разбиты на три группы — «Вечер», «Возвращение» и «Утро». Они создавались в бурное время — и на фронтах гражданской войны, параллельно с героическими поэмами «Сома» и «Неистовые толпы», и в голодной, истерзанной Армении, где господствовали дашнаки. Этот сложный комплекс исторических обстоятельств — пафос побеждающей пролетарской революции в России и трагическое положение народа в Армении — оставил свой след на многих стихах «Жертвенного огня».

Тема «вечера», тема нравственной, духовной и, конечно, гражданской апатии в «Жертвенном огне» существует уже далеко не в положительном плане, хотя с первого взгляда может показаться, что в ряде стихов этого цикла Чаренц по традиции или инерции варьирует основные мотивы «Радуги».

В действительности же скорее следует говорить о начале творческого спора автора с самим собой, о попытках взглянуть критически на свою прошлую поэтическую практику (в эпических поэмах

¹ Из тринадцати поэм второго тома девять написаны Чаренцем после Октября.

Чаренца, написанных в эти же годы, уже не спор, а безоговорочное отрицание философии и вообще всей идейно-художественной концепции «Трех песен...» и «Радуги»). Правда, в разделе «Вечер» мы еще встречаем такие, например, строки, как: «Та же любовь в моем сердце сгорающем бьется, Та же тоска безутешная — смертью зовется», «Вокруг тебя — тлеющий сумрак, смерть, темень вечерняя». Но подобными строками Чаренц желает как бы напомнить читателям (и еще раз себе самому) о призрачности путей, уводивших его в мир полумистических грез и мечтаний, о губительности субъективистской философии для подлинного искусства.

В цикле «Вечер» Чаренц прощается с прошлым, и это прощание не походило на легкое расставание, оно отзывалось в душе болью, но болью здоровой, приносящей обновление, подобно той, которую испытывает человек во время тяжелой, но спасительной операции.

Читая стихи «Жертвенного огня», мы видим, как поэт вступает в новый мир, как постепенно весь цикл превращается в своего рода антитезу ранней лирике Чаренца. Стихи «Жертвенного огня» явственно отличаются от стихов «Радуги» всем своим эмоциональным и образным строем, они приобретают новый «цвет» (в «Радуге» — «голубая печаль», «голубая тоска», «голубая душа» и т. д., в «Жертвенном огне» — «багряное солнце», «красный закат», «алое сердце» и т. д.). В «Радуге» чувства поэта словно растворяются, становятся почти неуловимыми и невыразимыми. В стихах «Жертвенного огня» художественные средства определяются революционной тенденцией произведения. Биография поэта здесь сливается с биографией его поколения, его родины. Если поэт прежде искусственно отделял себя от тревожного и сложного мира реальной действительности, то теперь, напротив, он не мыслит своей поэзии вне этой действительности, и так или иначе ее характерные черты отныне входят в стихи Чаренца в качестве главного идейного и художественного материала.

Нужно отметить еще одну особенность этого цикла, связанную с местом национальной тематики в творчестве Чаренца. Чуть ли не за каждым стихотворением «Жертвенного огня» встает образ родного края, Армении, «лежащей в развалинах», «повитой туманом», но рвущейся сквозь мрак дашнакской тирании к светлому, радостному дню.

Программной вещью цикла «Жертвенный огонь» является небольшая лирическая поэма «Возвращение», написанная в июле 1918 года. Собственно, это рассказ о творческом пути поэта на протяжении пяти-шести лет. Здесь уже нет господства прежней стихии символизма. В стихотворении особенно сильно звучит тема притяия

жизни, тема возвращения на землю из «голубого далека», тема преодоления мистических настроений и романтических увлечений. С точки зрения композиции всего цикла, «Возвращение» — связующее звено между «Вечером» и «Утром», между тем, что было и с чем поэт прощается, и тем, что есть, что поэт приветствует. В разделе «Утро» мы уже встречаем такие строки:

Хочу, чтоб в грядущие дни
Летели песни мои,
Несли в грядущие дни
Сегодняшние огни.

И хотя «прошлые дни» продолжают зазывать поэта, обещая покой и тишину, они, однако, уже потеряли над ним свою власть.

Любой факт творческой биографии писателя может быть правильно осмыслен лишь при условии всестороннего изучения и соотношения его с другими фактами. Мы убеждаемся в этом лишний раз, когда обращаемся к неразрывно связанным друг с другом поэтическим циклам Чаренца «Ваш эмалевый профиль» (1920, февраль), «Уличной шеголихе» (1920), «Восьмистишия солнцу» (1921, май), «Песенник» (1920—1921), к ряду его стихотворений 1920—1921 годов («Памяти Ваана Теряна», «Астхик», «Красный сонет» и другие).

Не может быть сомнений в том, что в этот период Чаренц стремится выработать новые эстетические принципы, которые соответствовали бы требованиям времени, отвечали бы запросам новой читательской аудитории. При решении этой задачи Чаренц обнаружил большую поэтическую изобретательность, которая так и не была понята многими современниками. Да не только современниками! Позднейшие исследователи творчества поэта, как правило, оказывались не в состоянии «свести концы с концами», когда речь заходила, с одной стороны, о революционных поэмах Чаренца 1918—1921 годов, с другой — о циклах «Ваш эмалевый профиль», «Уличной шеголихе» и других. Между тем новое далеко не всегда утверждается с помощью прямой художественной декларации. Порою старое в искусстве отвергается средствами тонкой имитации, подражания, пародии, когда обветшалое развенчивается изнутри, органически, путем умелого обыгрывания его наиболее характерных черт. Именно так поступает Чаренц в цикле «Ваш эмалевый профиль», имеющем подзаголовок «Галантные песни».

Вначале может показаться, что в эти стихи попросту переключалась Прекрасная Дама Блока. Но, «пройдя» сквозь суровое время, насчитывающее около двух десятилетий и, что особенно важно,

преображенное огнем трех революций, эта героиня в стихах Чаренца лишилась идеально-мистических качеств. В ней нет также ничего по-настоящему возвышенного и прескрасного, остались лишь бесстрастный эмалевый профиль да «пальцев палевый фарфор», осталось слащавое изображение на картинке. Главный смысл этих стихов состоит в отрицании омертвевшей «эмалевой» красоты и любви мещанского мира, мещанской поэзии. Тот, кто любит, не может оставаться долее в затхлой атмосфере, он рвется на простор, туда, где бурлит горячая жизнь, он бежит от духовного тления. И в поэзии Чаренца естественно рождается образ, противостоящий Даме с эмалевым профилем, — образ уличной шеголихи. Как не похожа она на героиню в «синей шляпке», с «томным взором», как не похожа ее живая трагедия, рожденная испепеляющей страстью, на явно наигранную трагичность пленницы уютной и тихой гостиной.

Поэт приемлет большую любовь, большую силу чувств, даже если такая любовь несет в себе губительное начало. Об этом написаны стихотворения «Тоска» («Одной русской девушке»), «Волшебство в парикмахерской» и другие.

В стихах Чаренца этих лет важное место занимает тема поэта, его призвания и долга. В цикле «Ваш эмалевый профиль» слышен приглушенный шепот парнасского певца. В одном из стихотворений Чаренц прямо заявляет: «Этот профиль, как с эмали, И сапфиры Ваших глаз — Как де Лиль безвестный, Вас Я воспеть могу едва ли». Глубокий смысл и глубокая ирония заключены в том, что Чаренц, избравший уже к тому времени дорогу революционной поэзии, сравнивает себя с Леконтом де Лилем. Этим приемом как бы наглядно доказывалась беспочвенность, бесперспективность «чистой поэзии» в эпоху великих революционных битв.

Какова же эстетическая программа Чаренца?

Художник должен быть связан с жизнью, с ее движением и развитием. Источником искусства является народ, к нему — к «неистовым толпам» (это выражение мы встречаем в стихотворении «В ужасе перед падением») должен быть обращен взгляд поэта. Чаренц далек от того, чтобы провозглашать эстетические декларации общего характера. О долге и обязанностях поэта он говорит с прямым и непосредственным учетом своей собственной творческой биографии, своего творческого пути. Создавая образ поэта-современника, Чаренц остро полемизирует и со своими прошлыми заблуждениями, и с символистской эстетикой в целом. Важнейшее качество, которым должен обладать художник, — это готовность идти в ногу с народом, с временем и творчеством своим служить революции. Именно об этом написан пламенный «Красный сонет», которому предпослана знаменитая

строка Валерия Брюсова: «Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза».

Поэт, народ, родина — отныне эти понятия в стихах Чаренца часто оказываются рядом, хотя содержание каждого из них в дальнейшем будет обогащаться и углубляться. Достоинство внимания обращение Чаренца (в цикле «Песенник») к традициям великого армянского поэта Саят-Новы (1712—1795), о котором Валерий Брюсов писал: «Мощью своего гения он превратил ремесло народного певца в высокое призвание поэта. Можно сказать, что все, что сделали предшественники Саят-Новы, ничтожно перед его подвигом и как бы померкло в лучах его славы». ¹

Чаренца привлекал прежде всего подлинно народный дух поэзии Саят-Новы. Для него Саят-Нова — бескорыстный «слуга народа», певец радостей и бед народных, без остатка отдавший свой талант простым людям-труженикам, воспевший красоту их любви. «Песеннику» предпослан эпитафия из Саят-Новы, да и большая часть чаренцевских стихов этого цикла написана в виде подражания великому ашугу.

Идейная и эстетическая концепция «Песенника» выражается триединой формулой: поэт — народ — родина. Переходя от одной темы к другой, Чаренц одновременно подчеркивает их взаимообусловленность. И уже как итог всех раздумий поэта звучит стихотворение «Я привкус солнца в языке Армении родной люблю!», помещенное в конце цикла.

Обращение Чаренца к жанру эпической поэмы (это жанровое определение в армянскую поэзию впервые ввел Чаренц) давало большие возможности для широкого художественного воплощения жизненных наблюдений, для правдивого рассказа о жизни.

Значительным произведением Чаренца этих лет является поэма «Сома». Отличающаяся ритмическим многообразием, яркостью и самобытностью образов, эта романтическая поэма отмечена чувством оптимизма. «Сома» имела подзаголовок — «Новая ведическая поэма» и эпитафия из древнейшего памятника индийской культуры «Ригведы»: «Сома, ты последняя свобода. . .»

Поэма Чаренца — восторженный гимн в честь бунтующих масс, страстный призыв к пробуждению, к активному переустройству жизни. Некоторая усложненность, «зашифрованность» образов этой поэмы не помешала отразить процесс творческой деятельности народных масс, передать могучее биение пульса современной ему жизни.

¹ В. Брюсов, Поэзия Армении и ее единство на протяжении веков. — В сб. «Поэзия Армении», М., 1916, с. 59.

Сома, которая предстает поэту в образах Сестры, Девушки, Божественного напитка, Свободы и т. д., в своем основном, главном значении является носителем идеи революции. Здесь поистине полное отрицание старого мира, вековых традиций и норм общественного бытия и восторженное, радостное утверждение революционной эпохи. Поэт чувствует себя в стремительном потоке событий, он видит, как все шире и шире разгорается пожар революции.

Толпа за толпою идут, идут —
Конца им и края нет —
Вершить над старою жизнью суд,
Пожарам предать весь свет.

Приходит каменной жизни конец, —
Прогорит дотла.
Толпа обезумевшая в огне
В неистовый пляс пошла.

Священною жертвой горит наша кровь,
Нетленный пламень в нее проник,
И улыбается миру вновь
Сквозь зарево твой сзаренный лик.

Именно это произведение сам Чаренц считал началом зрелого периода своего творчества. В нем шла речь о новой точке зрения на жизнь, об обращении к революционной действительности, к героической борьбе людей, сбросивших с себя оковы рабства и вставших на защиту великих завоеваний Октября. Утверждаясь на этом пути, Чаренц создает ряд произведений, которые по богатству идей, разнообразию и выразительности поэтических образов, их глубине составляют замечательную страницу советской поэзии. В июле 1918 года красноармеец Египше Чаренц написал одну из лучших своих поэм — «Неистовые толпы», исполненную высокого революционного пафоса, передающего силу революционной целеустремленности народа. В армянской критике не раз высказывалась мысль о якобы нашедших в этой поэме место анархических настроениях, антиисторизме «Неистовых толп» и т. д. Особенно рьяно нападали на заголовок поэмы, видя в нем «недооценку» революционной сознательности масс. Нельзя согласиться с таким односторонним толкованием поэмы, так как именно горьковский мотив: «Безумству храбрых поем мы песню» — является в ней главным и определяющим эстетическим принципом. Не следует забывать, что «Неистовые толпы» были написаны в

1918 году, когда советские писатели делали первые попытки эпического изображения народа и революции. В условиях гражданской войны, развязанной буржуазией, и интервенции ряда империалистических государств, посягнувших на свободу революционной России, Чаренц вслед за М. Горьким, В. Маяковским и другими советскими писателями поднимает свой страстный поэтический голос в защиту социалистического отечества. Отныне любовь к родине, любовь к революции, любовь к народу сливаются для Чаренца воедино.

В «Неистовых толпах» воплощены реальные черты революционной борьбы трудящихся масс. Поэма Чаренца явилась первым талантливым произведением армянской литературы, в котором характер народа раскрывается в органической связи с историческими событиями. Богатство и многообразие художественных средств подчинено здесь главной идее произведения — идее революционного восстания народных масс. В поэме показана непримиримость двух миров — мира угнетателей и мира угнетенных, историческая обусловленность и неизбежность революционной борьбы трудящихся. Герой поэмы — народ, творец истории, создатель людского счастья. Один из многочисленных безымянных эпизодов гражданской войны — захват железнодорожной станции восставшим народом — явился тем конкретным, жизненным материалом, который послужил основой для значительных исторических обобщений. Вот почему за реалистическим описанием векового угнетения народных масс и роста их революционного сознания следуют патетико-героические строки, прославляющие мощь и непобедимость «неистовых толп», которые выступают не как одержимые, фанатики, по мнению некоторых критиков Чаренца, а как символ нового мира, сильного и грозного, творящего возмездие над старым миром.

Средь темной ночи их душа сама, как эта ночь, темна.
С какою огненной тоской восхода солнца ждет она!
В огромном сердце их туман, но в том тумане есть просвет,
Где голубые небеса и горизонту края нет. . .
В их ясных голубых глазах, покрытых сумраком ночей,
Сто тысяч зорь, сто тысяч утр, сто тысяч солнечных лучей. . .
В их мышцах — мощь сырой земли, она дала им столько сил,
Им стоить только пожелать — изменятся пути светил,
Им стоит только пожелать — и столько совершат чудес:
Взметнут планеты в небеса иль солнце уберут с небес!
Железным мужеством сильны, не знающим пути назад,
Неистовые толпы мир
На новый лад преобразят!

Тему революционной героики мы встречаем и в других произведениях Чаренца 20-х годов. Великая Октябрьская социалистическая революция во всей полноте раскрыла перед поэтом роль народных масс как движущей силы истории, показала направляющее значение идей коммунизма. Три «радиопэмы» — «Из страны Наири», «В грядущее», «Бронзовые крылья Красного Грядущего», — «Слово о народе», «Радио мира», «Всепоэма», «Чаренц-наме» — именно эти разные по складу и характеру произведения определяют главную линию развития творчества Чаренца в первые годы после победы революции. Новое революционное содержание властно требовало новой стихотворной формы, и Чаренц настойчиво ищет ее, обращается к новым жанрам — радиопэме, агитпэме, использует энергичные ритмы и свежие ораторские интонации, чтобы передать всемирно-историческое значение Октября. Поэт проделал большую работу для достижения точной смысловой направленности слова, логической ясности образа. Необозримой стала аудитория, к которой отныне обращается Чаренц, и поэтому понятие традиционной поэмы расширяется до гиперболической «радиопэмы», обращенной ко всем.

Завоевания русского народа в Октябрьской революции, естественно, направляют внимание армянского поэта в историческое прошлое нашей страны, которая раскрывается перед ним во всем своем величии. Освободительная борьба русского народа воспевается Чаренцем как славный и немеркнущий пример подвига и героизма для всех народов России. Этой большой и благородной теме посвящено эпическое «Слово о народе», написанное в конце 1920 года в Ереване. Прослеживая историю России, поэт останавливался на наиболее ярких ее страницах — крестьянских войнах Разина и Пугачева, революционных событиях 1905 года. В форме простой беседы Чаренц рассказывает о третьем, пролетарском этапе русского освободительного движения, о победоносном завершении Октябрьской революции.

В поэмах Чаренца, написанных до ноября 1920 года, впервые с революционных позиций поставлен вопрос о судьбах Армении, находившейся на протяжении трех лет после Октября под гнетом дашнаков. Как и прежде, поэта глубоко волнует судьба Армении. Но если до Октября размышления о родине были окрашены горечью, так как Чаренц не видел реальных путей возрождения страны и народа, то теперь поэт выражает твердую уверенность в том, что его родина встанет под красные знамена революции, и он славит трудовую, сильную духом «страну Наири».

Процесс творческого роста Чаренца был особенно стремительным после победы Советской власти в Армении. В декабре 1921 года

в Москве поэт завершил одно из значительных своих произведений — «Всепоэму», начатую в марте 1920 года в Ереване. Не случайно эта поэма обратила на себя внимание Валерия Брюсова, который мастерски перевел ее на русский язык. Лексика, тропы, интонационная окраска, ритм, рифмы «Всепоэмы» передают богатый идейный замысел автора, шедшего к углублению реалистичности и исторической конкретности своих образов. Во «Всепоэме» проявляется активное отношение поэта к жизни, который, изображая революционную современность, ясно видит классовую основу развернувшейся борьбы и создает характеры героев, подчеркивая их наиболее типичные черты. Сюжет «Всепоэмы» в художественно-обобщенном виде воссоздает историческую ситуацию, сложившуюся в Армении накануне победы Советской власти. Три образа проходят через всю поэму — рабочий Погос, торговец Амо, учитель Сого; при этом композиционно «Всепоэма» построена таким образом, что читатель ясно видит будущее каждого из них. В поэме показано, как растет та армия, которую представляет рабочий Погос — подлинный хозяин земли, герой истории. И, напротив, тупой и самодовольный Амо, жалкий и мелкий Сого не растут, а мельчают, их политическое банкротство сопровождается, так сказать, «потерей» места на земле. Движение истории, развитие мировых событий ведут к крушению векового рабства, к рождению — в бурях и в борьбе — справедливых общественных порядков. С большой художественной силой Чаренц показал сложный процесс приобщения к идеям коммунизма миллионов людей. Путь к этой великой правде лежит через суровые испытания жизни, через столетия упорной борьбы, которая родила созидательную энергию революционного пролетариата и его неиссякаемую волю к победе. Таково идейное содержание «Всепоэмы», пронизанной светлым революционным пафосом.

«Всепоэма» — принципиально важная веха в творческой биографии Чаренца. Собственно говоря, это была первая серьезная работа поэта над созданием конкретных, индивидуализированных человеческих характеров, художественных типов большого жизненного содержания.

Чаренц внимательно следит в это время за развитием советской литературы, серьезно задумывается над принципами художественного творчества в революционную эпоху в связи с новыми задачами искусства. Он «ввел» эти вопросы непосредственно во «Всепоэму», начав ее своеобразной программой-декларацией. Здесь продолжен разговор, начатый еще в «радиопозмах».

Написанные в Ереване в период с марта по июнь 1920 года, «радиопозмы» Чаренца («Из страны Напри», «В грядущее», «Бронзовые

крылья Красного Грядущего») поражают своей внутренней энергией, революционной целеустремленностью, открытой полемической направленностью против националистической поэзии. Предчувствие новой судьбы Армении, стонавшей в то время под игом дашнаков, в «радиопоэмах» выражено не в форме смутных надежд и желаний, а как неколебимая воля народа, как неминуемый шаг исторического развития.

Чаренц называет себя «красным поэтом», а это уже политическая самохарактеристика, определившая, в конечном счете, тему и содержание «радиопоэм». Революционная эпоха в корне изменила облик поэта, революция связала поэта неразрывными узами с борющимся народом, сделала его песню близкой и дорогой рабочим, крестьянам, солдатам, она указала ему на великий источник вдохновения — борьбу трудящихся за новую жизнь. Для Чаренца было чрезвычайно важно провозгласить в «радиопоэмах» революционный принцип активного служения поэта народу, дать законченную формулу единства их интересов.

«Сегодня душа моя — радиостанция!» — восклицает поэт. И потому, что он вызвался воспеть радость, борьбу и дерзания «тьмы и тьмы друзей-товарищей», песнь его звучит победно, голос его могуч.

Поэма «Чаренц-наме» — своеобразный лирический дневник, в котором, однако, история жизни поэта осмыслена в связи с важнейшими общественно-политическими событиями первых двух десятилетий нашего века.

В этой поэме личная тема, биография лирического героя приобретают смысл и значение постольку, поскольку они отражают большие, существенно важные закономерности исторического развития. Поэт и солдат революции Егише Чаренц более не отграничивает рассказ «о себе» от рассказа «о времени». Личная судьба лирического героя хотя и занимает в поэме значительное место, но не составляет единственной, господствующей темы произведения. Скупой, «телеграфной» речью Чаренц создает правдивый фон той сложной и большой эпохи, на дорогах которой поэт искал свою новую судьбу.

Творчество Чаренца начала 20-х годов представляло весьма сложную картину. Наряду с произведениями большой жизненной правды и впечатляющей силы («Радио мира», «Всепоэма», «Чаренц-наме» и другие) поэт пишет стихотворения, идейно незрелые и художественно слабые, выступает с ошибочными творческими декларациями.

Противоречивость позиции Чаренца особенно отчетливо проявилась в его высказываниях о классическом наследии, об отношении к которому шли горячие споры как среди русских, так и среди армянских писателей. Вернувшись в середине 1922 года в Ереван, Ча-

ренц становится очевидцем и участником острой идейной борьбы между существовавшими в ту пору многочисленными литературными группировками. И надо признать, что, активно включившись в эту борьбу, поэт не всегда и не во всем был прав. Справедливо возражая некоторым критикам, отрицавшим тогда возможность создания в Армении пролетарской социалистической культуры и пытавшимся ориентировать писателей на так называемую «крестьянскую» литературу, Чаренц в свою очередь впадал в крайность, признавал как единственно верную и приемлемую поэзию «стали, железа и бетона».

В июле 1922 года была обнародована «Декларация трех» (Егише Чаренц, Азат Вштуни, Геворг Абов), в которой совершенно очевидно проявилась футуристическая тенденция «сбрасывания с корабля современности» неоспоримых ценностей армянской классической поэзии. Правда, авторы декларации говорили и о пролетарском интернационализме, и о новом времени, и о «темпе толпы». Они призывали «вывести поэзию из комнат на улицу к массам... выразить то, что актуально, — движенье, классовую борьбу, железное и красное», провозгласили лозунг: «Долой аристократические школы, кабинетных писателей, дремлющие в библиотеках книги...»¹ и т. д. Но все эти лозунги по существу вылились в отрицание многовековой поэтической культуры армянского народа, по отношению к которой авторы декларации считали себя «ассенизаторами».

В статьях и выступлениях 1922—1923 годов «Какой должна быть современная армянская поэзия?», «Внеклассовый интеллигент и декларация», «На рубеже двух миров» Чаренц пытается разъяснить основные положения «Декларации трех», привлекая большой историко-литературный материал. Наряду с отдельными правильными замечаниями общего характера, в них содержатся и ошибочные высказывания. Справедливо утверждая, что Октябрьская революция открыла перед писателями новые горизонты, определила историческое содержание искусства, Чаренц в то же время еще не понимал, что революция не отбрасывала, а принимала, делала достоянием трудящихся, неотъемлемой частью их духовной жизни все прекрасное и великое, созданное человеческим гением на протяжении столетий.

«Декларация трех», а также упомянутые выступления Чаренца, естественно, вызвали горячие споры в литературных кругах Армении. В критике указывалось, в частности, что многие положения литературно-эстетической концепции Чаренца находились в противоречии с его художественной практикой. «Егише Чаренц, — писал П. Макинцян в блестящем фельетоне «Армянский Буало и его спутники

¹ Газ. «Харурдаин Айастан», 1922, 14 июня.

в количестве трех с половиной», — своим художественным творчеством дал пролетарской поэзии гораздо больше, чем он это делает немощными и пережеванными канонами». ¹ Конечно, Чаренц был прав, когда утверждал, что безвозвратно канула эпоха Туманяна, Исаакяна, Теряна, но он глубоко ошибался, думая, что с гибелью старых общественных порядков утратила свое значение и классическая армянская поэзия, без творческого освоения которой не могло быть и речи о создании новой, подлинно народной, пролетарской литературы в Армении.

С первых же шагов своей творческой деятельности Чаренц проявлял глубокий интерес к русской литературе. И, разумеется, размышляя о путях создания новой, пролетарской культуры, он не мог не сделать попытки осмыслить те тенденции, которые характеризовали развитие русской поэзии XX века. В этой связи особого внимания заслуживает доклад Чаренца «Современная русская поэзия», прочитанный им 10 апреля 1923 года в Ереване и опубликованный пятью днями позднее в еженедельнике «Пайкар» («Борьба»). «Русская литература, — писал Чаренц, — была тем животворным источником, из которого наша литература черпала соки своего естественного развития». ² Любое литературное явление, имевшее место в России, находило отклик в Армении, в какой-то мере отражалось в творчестве армянских писателей. Этот неоспоримый факт Чаренц объясняет традиционными экономическими и общественными связями Армении с Россией. Поэт гневно обличает попытки дашнакских авантюристов воздвигнуть стену между духовной жизнью русского и армянского народов. Трудящиеся Армении спесили эту стену, и «с русских бескрайних полей нам ударил в лицо весенний ветер». ³ Переходя к рассмотрению различных течений современной русской поэзии, Чаренц останавливается подробно на характеристике символизма, футуризма и пролетарской поэзии. Он находит точные определения, когда касается вопросов о поэтике символистов, — «тепличный язык», «тепличные формы», «тепличные ритмы и рифмы». Чаренц безоговорочно разделяет тезис В. Брюсова, что символизм — это «вчера» русской поэзии. ⁴ Однако это не означает, что поэт вообще отрицает значение символизма в истории русской поэзии. На первом этапе своего развития русский символизм, утверждает Чаренц, обогатил литературу рядом значительных произведений. Обще-

¹ Газ. «Харурданн Айастан», 1922, 16 июля.

² «Пайкар», 1923, № 5, с. 90.

³ Там же.

⁴ См. статью В. Брюсова «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии». — «Печать и революция», 1922, № 7, с. 38—68.

ственная и эстетическая характеристика символизма, данная поэтом, в целом была принципиально верной.

Истолкование Чаренцем футуризма было не столь определенным и последовательным, а в некоторых моментах и ошибочным. Чаренц называл Маяковского своим учителем. «Я могу заявить, — писал поэт, — что очень многому учился у Маяковского, которого с гордостью могу считать своим учителем». ¹ Но Чаренцу еще предстояло пройти путь от признания формального новаторства Маяковского до глубокого понимания и освоения творчества великого поэта революции. Чаренц ошибался, когда ставил знак равенства между футуризмом и Маяковским, когда он восторгался формальным экспериментаторством так называемых «поэтических» новаторов, когда, на словах отмежевываясь от имажинистов, он на деле (в каких-то отдельных случаях) пытался перенести их поэтику, их творческие принципы в армянскую поэзию. Противоречивость эстетических взглядов Чаренца отразилась в его поэмах «Романс без любви» (1922) и «Рыцарское» (1922), в сборниках «Поэзозурна» (1922) и отчасти «Комальянах» (1924).

В сборнике «Поэзозурна» большая часть стихотворений носит декларативный характер. Правдивые зарисовки быта армянского провинциального города, призывы славить новую революционную действительность здесь переплетаются с отрицанием поэтической культуры прошлого, всего наследия армянской классической лирики. Человеческим чувствам и страстям Чаренц противопоставляет красоту Машины, Пара, Железа.

Как бы ни были серьезны заблуждения поэта в начале 20-х годов, несомненно одно: поэт шел по пути все большего и большего сближения с современностью, он «завоевывал» ее для своей поэзии, искал новые художественные средства для раскрытия величия и неповторимости нашей эпохи. С учетом этих поисков и следует говорить о сборнике «Комальянах», вышедшем в самом начале 1924 года в Москве. Это острая публицистическая книга, в которой наряду с плакатными стихами-агитками (и это было данью некоторым традициям эпохи) есть образцы подлинной политической поэзии большого накала. В лучших стихах этого сборника поэт утверждает превосходство советского строя над капиталистическим, красоту нашей советской действительности, непобедимость идей ленинизма. Чаренц развенчивает ложное представление о Западе как «цветущем, свободном крае». Поэт стремился придать своему творчеству боевой

¹ «Пайкар», 1923, № 3, с. 43.

наступательный характер, сделать его грозным оружием революционного класса в борьбе за новые человеческие отношения, за новый быт.

В армянской литературе 20-х годов широкое распространение получает сатира. Борьбе народа с врагами революции, с отжившими формами жизни острым и гневным словом помогают и писатели. Один из крупнейших мастеров армянской литературы Дереник Демирчян пишет сказку-сатиру «Храбрый Назар», Александр Ширванзаде выступает с комедией «Кум Моргана». Аксель Бакунц издает сатирический роман «Овнатан Марч». В сатирическом жанре пробуют свои силы писатели Гурген Маари, Ваан Тотовенц и другие. Основной удар армянских сатириков был направлен против заклятых врагов Армении — дашнаков, приютившихся в европейских кафешантанах, лелеявших мечту о восстановлении своего господства в Армении. Е. Чаренц не остался в стороне от этой борьбы, он занял в ней свое особое место.

В 1923 году, под очевидным влиянием «Мистерии-буфф» Маяковского, Чаренцем была создана сатиро-драматическая поэма — «Кавказ-тамаша»,¹ эта своеобразная хроника событий в Закавказье в период господства контрреволюционных партий дашнаков, меньшевиков и мусаватистов. Особенно сильна критически-обличительная линия поэмы. Перед читателем встают гротескные фигуры предателей национальных интересов армянского, грузинского и азербайджанского народов. Используя отдельные приемы буффонады, Чаренц подчеркивает продажность, авантюризм, политическую беспринципность контрреволюционных партий, их полный разрыв с кровными интересами народа, прислужничество перед империалистическими правительствами Запада. В поэме «Кавказ-тамаша» Чаренц показал полную обреченность этих предателей народа, сметаемых победным шествием рабочих и крестьян. Это единственное в своем роде обращение поэта к театру было вызвано желанием автора довести до самых широких масс жизненный материал серьезного содержания, большого политического значения.

Важной вехой в творческой биографии Чаренца этих лет явилась поэма «История пахаря Сако». После «Комальманаха», многие стихи которого написаны не без влияния поэтики футуризма, «История пахаря Сако» была воспринята современниками как серьезный шаг поэта в сторону демократических традиций армянской литературы, как практическая попытка Чаренца пересмотреть свое отношение к классике, в частности к творчеству Ованеса Туманяна. В этой поэме

¹ Тамаша — представление, зрелище.

Чаренц рассказывает о новой судьбе армянского крестьянина. Сложный путь духовного развития чаренцевского героя Сако вызывает в памяти читателя судьбу другого Сако — Лорийского, о трагической жизни которого поведал Ованес Туманян. Чаренц как бы продолжает рассказ великого поэта, знакомит нас с новыми историческими обстоятельствами, которые обусловили иной духовный облик пахаря Сако. Забитым и темным предстает он перед нами в начале поэмы. Но вот разразилась первая мировая война. Сако — на фронте. Здесь ему снарядом оторвало руку. В Петрограде, в лазарете, он серьезно задумался над коренными вопросами современной жизни: в чьих интересах война, кем она начата, кто погнал миллионы таких же, как Сако, на фронт? Решение этих вопросов Сако нашел в услышанной им речи Ленина. Переживания Сако раскрыты в поэме с удивительной естественностью и непосредственностью, с помощью живой народной речи, которая органически введена Чаренцем в ткань стиха. В поэме нет усложненных метафор, аллегорий, она является своего рода душевной беседой поэта с читателем, беседой о том, что единственно правильный путь трудового крестьянства был указан революцией, Коммунистической партией, Лениным.

8

Лиро-эпический жанр был излюбленным жанром Чаренца. В поэмах и балладах, посланиях и гимнах Чаренца его новаторство, художественное своеобразие и самобытность выступают особенно ярко.

В 20-х годах, в период восстановления народного хозяйства и борьбы за социалистическую индустриализацию страны, поэзия Чаренца развивается под знаком все большего и большего приближения к современности. Успешная работа армянского поэта была обусловлена не только достижениями его родной литературы — именно в эти годы армянская литература обогатилась новыми талантливыми произведениями Дереника Демирчяна, Стефана Зоряна, Акселя Бакунца, Мовсеса Арази, Наири Заряна, Гегама Саряна, Азата Вштуни, Гургена Маари и других, — но и общим творческим ростом всей многонациональной советской литературы, с которой Чаренц был связан неразрывными узами.

Выступая на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, Чаренц говорил: «Велика роль национальных культур в общей системе советского культурного строительства — национальных культур, имея в виду не только настоящее, но и прошлое их. Но не забудем, това-

рищи, что роль эта может оказаться приемлемой и плодотворной лишь тогда, если мы рассмотрим их не сквозь призму замкнутых «национальных культур». Я тоже как армянский писатель принадлежу к «малой» народности и знаю, что если я свою творческую деятельность психологически ограничу рамками национальной замкнутости, сколь будет жалок ее диапазон и сфера ее влияния. Я счастлив и чувствую себя частью напередового потока человечества благодаря тому, что Октябрьская революция изъяла из духовного поля моего зрения эту жалкую химеру национальных самоограниченностей». ¹

О широте замыслов Чаренца и идейно-художественной зрелости его поэзии свидетельствует цикл произведений, посвященных основоположнику Коммунистической партии и Советского государства — Владимиру Ильичу Ленину. Чаренц пронес образ бессмертного вождя через всю свою жизнь, через все свое творчество; он создал поэтическую Лениниану, которая явилась органическим продолжением и углублением основной темы лучших его произведений — темы революции и народа. Создание поэтического образа великого вождя Чаренц считал ответственным делом своей жизни, творческой задачей огромного политического значения. Он мог бы сказать о себе словами Маяковского:

Я
себя
под Лениным чищу,
чтобы плыть
в революцию дальше.

Писать о Ленине значило для Чаренца писать о большой правде истории, о самом сокровенном и родном для народа, — эта мысль по-настоящему вдохновляла поэта, который ленинским циклом стихов и поэм окончательно утвердился на позициях социалистического реализма.

Четырнадцатого и пятнадцатого марта 1923 года появились первые правительственные бюллетени, известившие страну о тяжелой болезни Ильича. Чаренц в это время жил в Москве. Вскоре, в апреле — мае, были написаны первые стихи Чаренца о вожде: «Антанте — мы» и «Я и Ильич», в которых поэт стремился выразить охватившие его чувства, великую любовь к самому родному и доро-

¹ Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет, М., 1934, с. 560.

гому человеку, к создателю непобедимого оружия трудящихся всего мира — ленинизма.

Главная тема стихов Чаренца — тема бессмертия ленинского дела, тема единства Ленина, партии, народа.

Смерть Ленина потрясла Чаренца. Плечом к плечу с рабочими Москвы, с посланцами всей страны он несколько раз проходил через Колонный зал перед гробом Ильича. Все, все он запомнил в эти лютые, морозные дни января двадцать четвертого года: костры на улицах и площадях, скорбные лица соратников вождя, красные знамена в трауре, сомкнутые ряды пролетариев, и в горе великом крепких, твердых, спокойных.

Отныне ленинская тема целиком завладела армянским поэтом, его Лениниана — это сложное, полифоническое творение, это сплав истории, философии, фактов, событий, размышлений; это итог больших и глубоких раздумий поэта над судьбами человечества, Европы, России, Армении. Поистине глобальна география чаренцевой Ленинианы. Русский мужик и турецкий лодочник Али, французские коммунисты и комиссары Баку, армянский крестьянин Сако и герои Кантонского восстания, строители первой гидроэлектростанции в Закавказье и рыбаки Венеции — всех их объединяет великое чувство ленинского интернационализма, все они — бойцы непобедимой ленинской армии. Живое ощущение человека, динамическое изображение событий, в которых раскрываются характеры, присущи поэмам и балладам Чаренца о Ленине.

Именно в это время творческое восприятие опыта передовой русской поэзии, особенно творчества Маяковского, оказалось для Чаренца исключительно плодотворным. Если в период написания сборника «Поэзоурна», отдельных стихотворений «Комальманаха» Чаренц порой увлекался внешними признаками поэзии раннего Маяковского, то теперь он сумел понять и почувствовать главное качество великого поэта революции — его подлинную народность, большевистскую партийность и страстность.

Сравнивая произведения Чаренца о Ленине — «Ленин» (1924), «Баллада о Владимире Ильиче, мужике и паре сапог» (1924), «Дядя Ленин» (1924), «Ленин и Али» (1925), «Стена коммунаров в Париже» (1925), «Похоронный марш» (1928), «Чугунный человек» (1927—1929), «25—26 октября 1917 года» (1929) — с классической поэмой В. В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин», нельзя не заметить общности эстетических принципов Чаренца и Маяковского, одинаковой идейной направленности их произведений, близости, а порой и сходства отдельных деталей, интонаций, характеристик. Так, на-

пример, мысль о единстве Ленина с массами, об их нерасторжимой связи у Маяковского выражена следующим образом:

Бился
 об Ленина
 темный класс,
тек
 от него
 в просветленье,
и, обданный
 силой
 и мыслями масс,
с классом
 рос
 Ленин.

Эта же мысль выражена Чаренцем в поэме «Стена коммунаров в Париже»:

Ленин —
Нашего класса
Душа и мысль,
Плоть от плоти рабочих масс,
Каждая частица его мышц
Боролась
За дело нашего класса.
... Как мир вобрал в себя жизнь,
Так Ленин
Вобрал в себя,
Смешал с собой
Десятки тысяч
Рабочих поколений.

Подобные примеры можно умножить. В чем же причина совпадений? Разумеется, объяснение будет далеко не полным, если (как это делают некоторые исследователи Чаренца) свести все дело к простому «влиянию» Маяковского на Чаренца. Причина более глубокая и серьезная. Поэты одной и той же эпохи, Маяковский и Чаренц с позиций коммунистической партийности осмысливали тему о величии и силе Ленина и идеи ленинизма, и в их творческом сознании прежде всего складывались именно те понятия и образы, которые жили в народном сознании, в которых наиболее полно воплощалась историческая правда эпохи.

Связанные между собою общей идеей, пронизанные живым ощущением образа Ленина, раскрывающие тему единства партии и народа, произведения Чаренца о великом вожде рисуют образ Ильича во взаимосвязи с другими образами и событиями эпохи. Историческая точность описания сочетается в этих поэмах с яркостью художественного изображения. Обращаясь к теме о Ленине, Чаренц всякий раз создает яркий сюжет, заставляя сверкать новым светом одну из граней этой неисчерпаемой темы.

Первым поэтическим откликом Чаренца на смерть Ильича явилось стихотворение «Ленин», написанное 23 января 1924 года, то есть в тот же день, когда в экстренных выпусках газет «Правда» и «Известия» было помещено обращение ЦК РКП(б) «К партии. Ко всем трудящимся». Каждая строка, каждое слово этого произведения — напряженная и сосредоточенная мысль, возникшая у миллионов людей, знавших и любивших Ильича.

Всем, всем, всем. . .
Радио.
Москва.
Кремль.
. . .Скончался Ленин.

За этими первыми «телеграфными» строками следует поэтическое раскрытие темы бессмертия ленинизма. Оно, это бессмертие, проявляется в том, что несметны ряды ленинцев, неколебима их воля, беспредельна их верность ленинскому делу.

Взволнованность и эмоциональность поэтической речи здесь усиливается непосредственным обращением Чаренца к читателям:

И — что?
Ильич
Скончался?
Или — нем?
Или — в памяти лишь?
Нет, пролетарий!
Ильич в тебе,
В нем,
Во мне.
Есть Ильич!

Ленин в изображении Чаренца — великий вождь трудящихся, организатор и руководитель Октября, любовь и гордость междуна-

родного пролетариата, знамя угнетенного Востока. Ленин — простой человек, сын своей родины, которого понимает и пахарь Сако, и мужик из Сибири, и портовый лодочник Али.

Главной задачей Чаренца явилось создание правдивого, исторически конкретного образа великого вождя трудящихся. С этой целью поэт смело обращается к разнообразным художественным средствам. Если в стихотворении «Ленин» основная идея выражается с помощью афористичных, четких поэтических формул, сильных ритмических образований, интонаций горячей человеческой речи, обращенной ко всем, то в последующем Чаренц уделяет особое внимание изображению реальных исторических обстоятельств, фактов, событий, поискам конкретных деталей, воплощающих в себе ведущую мысль произведения. Чрезвычайно важную роль в поэмах Чаренца о Ленине приобретают сюжет и композиция. Причем в каждом конкретном случае поэт достигает максимальной простоты и ясности. Воскрешая страницы жизни Ильича, он создает целостную, законченную картину, необычайно действенную, запоминающуюся, органически входящую в сознание читателя. И то, что принадлежит авторскому вымыслу, обретает силу и значение достоверного факта. В замечательной «Балладе о Владимире Ильиче, мужике и паре сапог» показан один из напряженнейших периодов истории нашего государства. Гражданская война. Полчища врагов угрожают свободе и независимости советской родины. В Кремле, в своем кабинете, работает Ленин. Сложнейшие задачи стоят перед ним, ожидая безотлагательного решения. И кажется, что обилие вопросов огромной государственной важности, которыми занят Ленин, никак не может предположить последующее развитие сюжета: ведь у Ленина мало, очень мало времени. Но существует органическая связь между великими делами страны и простой беседой Ильича с мужиком. Поэт наполнил этот факт большим историческим содержанием, показал единство Ленина и народа, величайшие изменения, происшедшие в сознании миллионов крестьян, ставших активными строителями новой жизни.

Работая над стихами и поэмами о Ленине, Чаренц искал и находил ясные сюжеты, не осложненные побочными линиями, мешающими полному раскрытию основной идеи произведения. Одна из особенностей этого цикла произведений Чаренца заключается в том, что образ великого вождя выступает в тесной связи с образами рабочих и крестьян. Так, в «Балладе о Владимире Ильиче, мужике и паре сапог» дан образ ходока из Сибири, в поэме «Дядя Ленин» — московского пролетария и его сына Ивана, в поэме «Ленин и Али» — бедного турецкого лодочника. Для Чаренца было принципиально важно

показать Ленина в единстве с народом, так как именно в этом заключалось одно из замечательных качеств Ленина как вождя нового типа. Народ как основная движущая сила истории, как творец Великого Октября и самоотверженный защитник его завоеваний с поистине эпическим размахом выведен в поэме «Дядя Ленин». Сжато, экономно, но вместе с тем емко, с помощью немногих выразительных реалистических деталей обрисованы народная любовь к Ленину и могучая сила революционного пролетариата.

Идеи ленинизма означали величайший поворот в судьбах человечества, стали знаменем борьбы угнетенных трудящихся всего мира. Чаренц воочию убедился в этом во время своей поездки во Францию, Италию, Германию, Турцию в конце 1924 года. В письме к А. Ф. Мясникому из Константинополя 9 января 1925 года он писал: «... напуганный буржуа подобен обалдевшему быку с кровавыми глазами, он во всем видит красный цвет и ревет от страха и бьет тревогу... И эта тревога, олицетворенная в мистере Чемберлене и К^о, желает сколотить «фронт» против большевиков. И вот в такой атмосфере я брожу здесь, наблюдаю за жизнью «вселенской буржуазии», и сердце мое наполняется гордостью, что я большевик, коммунист, член ленинской организации». ¹

Пролетарский интернационализм, присущий творчеству Чаренца в целом, ярко выражен в поэме «Ленин и Али». Глубиной психологического анализа произведение это напоминает раннюю поэму Н. Тихонова об индийском мальчике Сами. Сказочный зачин чаренцевской поэмы непринужденно и естественно вводит нас в духовный мир Али. Его представления о Ленине, образ которого он хранит в своем сердце, наивны и простодушны, как у тихоновского Сами, но, так же как индеец Сами, турок Али благодаря Ленину узнал великую социальную правду, нашел свой путь в жизни. И здесь верность жизненному материалу, глубокое понимание дум и чаяний угнетенных народов создали у этих поэтов столь близкие друг другу художественные образы.

В этой поэме Чаренц почти не дает авторской характеристики образа вождя. Величие Ленина как друга трудящихся, как верного народного заступника раскрывается в процессе правдивого изображения мыслей и чувств лодочника Али. В искренней скорби Али, тяжело переживающего смерть Ленина, выражены сокровенные чувства простого человека. Но сюжет поэмы не исчерпывается рассказом о

¹ См.: «Гракан терт» («Литературная газета»), 1954, 22 сентября.

горе Али. Глубоко оптимистически звучат заключительные шесть строк поэмы, выделенные Чаренцем в отдельную главку:

Что еще?
Ничего. . .
Но над ширью земли
Встанет новое утро в рассветных лучах.
— Привет архадашу Али!
— Победа пути Ильича!

В этих словах — перспектива жизни миллионов Али, устремленных мыслью в завтрашний день, приобщившихся к великим идеям ленинизма. Так повествование о смерти Ильича вырастает в торжественный гимн о бессмертии Ленина и его идей.

Героика революционных боев, величие подвига их участников определили содержание многих произведений Чаренца. Теме международного революционного движения и советского патриотизма посвящены поэмы «Стамбул», «Стена коммунаров в Париже», «Борис Дзnelадзе», баллада «Мой товарищ Липо», «Баллада о полковнике Томсоне, комсомольце и забастовке», «Баллада о двадцати шести», стихотворения, элегии, марши Чаренца. В них встают благородные образы борцов за счастье трудящихся — героя гражданской войны в Армении Липарита Мхчяна и основателя грузинского комсомола Бориса Дзnelадзе, парижских коммунаров и двадцати шести бакинских комиссаров, безыменного комсомольца из Баку и коммунаров Кантона. Поэт не просто отдает должное погибшим бойцам несметной армии революции. Он утверждает их бессмертие, воплощенное в великих делах советских людей. Чувство неизбежного торжества идей революции вдохновило Чаренца на создание прекрасного стихотворения «Похоронный марш» (памяти коммунаров Кантона), написанного в связи с подавлением вооруженного восстания революционных рабочих и солдат в декабре 1927 года объединенными силами гоминдановской реакции и империалистических держав. Глядя в будущее, Чаренц писал:

Придут, придут урочные часы,
Настанет день великой нашей славы,
Тебя мы свергнем, Чан Кай-ши кровавый, —
От ужаса твои завоют псы.

Поэмы и баллады Чаренца о Ленине, о несметной армии революционеров объединены одним глубоким чувством поэта-трибуна, поэта-

борца. В них отразился советский патриотизм, большевистская партийность, пролетарский интернационализм Чаренца. Именно этими произведениями Чаренц заявил о себе как художник, который окончательно преодолел «жалкую химеру национальных самоограниченностей», накрепко связал себя с жизнью революционного народа, открыто и честно поставил свой талант на вооружение рабочего класса.

4

Неспокойная смелая мысль Чаренца, вечно жаждущая знаний, охватывала богатейшую отечественную и мировую культуру. Поэт пробовал свои силы в разных поэтических жанрах и формах, творчески осваивал все значительное в культуре других народов, не утрачивая при этом национального своеобразия.

В 1926 году поэт написал цикл «Рубайат» («Рубаи»).¹ Обращение к одной из распространенных стихотворных форм восточной лирической поэзии не было стремлением к экзотике. Чаренц разрабатывает актуальные для современности темы, касается многих жизненных проблем, поэтически осмысливает ряд основных положений материалистической философии. Жизнь в ее диалектическом движении, история как вечно развивающийся процесс, роль труда в человеческом обществе — таковы главнейшие мотивы этого цикла. Поэт саркастически высмеивает носителей философии индивидуализма и скептицизма, развенчивает «героев», пытающихся поставить себя над историей, над обществом, над народом. Через «Рубайат» красной нитью проходит мысль о народе как о творце всех материальных благ и духовных ценностей на земле. Ратуя за революционное, активное отношение к жизни, поэт говорит о высшем назначении человека — все глубже и шире познавать мир, закономерности его развития, постоянно дерзать, подчинять своей воле, своему разуму безграничные силы природы.

В самом начале 1930 года вышел один из лучших сборников Чаренца «Эпический рассвет», в котором в качестве эпиграфа приведены известные стихи Н. Некрасова:

И музе возвращу я голос,
И вновь блаженные часы

¹ Чаренцем написаны также стихи в форме восточных бейтов (двустуший), газелей, рондо и т. д.

Ты обрешь, собирая колос
С своей несжатой полосы.

Как известно, эти строки были написаны великим поэтом русской революционной демократии незадолго до смерти: жажда большого творческого труда никогда не покидала поэта. Предваряя книгу армянского поэта, некрасовские стихи придают ей особое оптимистическое звучание: безвозвратно прошла пора печальных, больных песен, как и время наивных увлечений бесплодным «железным миром». Поэт вырвался из «тюрьмы вещей», и муза его стала упрямой, бдительной, сильной и зоркой. Чаренц предвидит богатый урожай с «несжатой полосы» своей поэзии. И действительно, в «Эпическом рассвете» Чаренц обращается к темам большого общественно-политического значения, к событиям современной и прошлой истории, он создает образцы высокой политической поэзии — послания и думы, поэмы и стихотворные новеллы, в которых чувствуется подлинное эпическое дыхание.

Большая часть стихов, вошедших в сборник «Эпический рассвет», писалась в Ленинграде, где поэт пробыл около трех месяцев в конце 1929 года. Это обстоятельство в значительной степени определило многие идеи и образы «Эпического рассвета». Ленинград — город замечательных исторических традиций, колыбель революции — произвел неизгладимое впечатление на Чаренца. В «Эпическом рассвете» немало строк, рожденных именно теми раздумьями, которые возникли у поэта при знакомстве со славным городом. Здесь и пейзаж величественной Невы, и штаб революции — Смольный, и мрачные подвалы Зимнего дворца, и застенки Петропавловской крепости. И все это входит в поэзию Чаренца не как декоративный элемент, но как явления жизни, связанные с историей народа, с поколениями самоотверженных борцов за счастье трудящихся. Вот почему Нева воскрешает в памяти Чаренца героическую «Аврору», Смольный встает в сознании поэта в исторический день 25 октября, «В подвале Зимнего дворца» возникают в памяти Рылеев и другие декабристы, а в Петропавловской крепости — русские революционеры и Налбандян.

Слово Чаренца становится особенно сильным и выразительным, эпическое начало его поэзии проявляется с исключительной мощью, когда он обращается к своей излюбленной теме — теме Великого Октября, теме Ленина. Ей посвящены лучшие вещи сборника — «25—26 октября 1917 года», «Похоронный марш» и другие.

Широко представлена в «Эпическом рассвете» политическая лирика Чаренца. Одно из сильнейших стихотворений сборника — сатира

«Дашнакам». Ключом к пониманию идейной направленности стихотворения является эпиграф из Пушкина: «О чем шумите вы?..» Обращая свое гневное слово против заклятых врагов армянского народа, Чаренц беспощадно срывает с них маски. Еще в романе «Страна Напрн» (1920—1923), а также в поэме «Хумбапет Шаварш» (1928) Чаренц нарисовал яркую картину политического и морального разложения буржуазной контрреволюционной партии «дашнакутюн», вскрыл разбойничий характер дашнакской идеологии, показал кровавость, внутреннюю опустошенность, презрение и ненависть дашнаков к народу, их звериный страх перед революционной борьбой трудящихся. Этот обличительный пафос лежит и в основе стихотворения «Дашнакам». С подлинно коммунистической страстностью поэт обнажает корни антинародной политики дашнакских авантюристов, находит точные характеристики, меткие определения, которые показывают неразрывную связь дашнаков с международной реакцией. С большой силой в стихотворении Чаренца звучит тема советского патриотизма, тема гордости освобожденного армянского народа за свою социалистическую отчизну, тема благодарности трудящихся Советской Армении Коммунистической партии.

Чаренц рассматривал искусство как могучее оружие в борьбе за социализм. В книге «Эпический рассвет» дана развернутая эстетическая программа поэта, который стремится осмыслить задачи советского художника на новом этапе жизни страны. Со строгой взыскательностью относится Чаренц к своей работе. Он говорит о возросших требованиях и видит, что о многом он еще не успел написать, что он остается в долгу перед народом и страной. Внимательное изучение мировой поэзии, мудрое осмысление творчества Пушкина, глубокое проникновение в ленинское учение о партийности литературы помогли Чаренцу прийти к правильным выводам о месте поэта в жизни, о значении и роли поэзии. В таких стихотворениях книги «Эпический рассвет», как «Песнь борьбы», «Я теперь не тот», «Послание из Еревана другу-поэту», «Послание Акселю Бакунду, написанное из Ленинграда», «Раздумье», «Музе», «Моему читателю» и других, встает мужественный образ писателя-борца, который смело вторгается в жизнь, говорит от лица эпохи. В замечательном стихотворении «Я теперь не тот» Чаренц, вспоминая свой творческий путь — крутой и тернистый, исполненный больших тревог и больших радостей, — призывает как можно ярче и полнее выразить то новое, что вошло в жизнь, стало явью, завоеванной правдой.

Борясь за большое советское искусство, Чаренц горячо спорил с теми, кто культивировал упрощенные взгляды на жизнь, с пренебре-

женем и безответственностью относился к запросам читателя, пишкая его дешевыми конфетными стихами.

Поэзия и труд — понятия, органически слитые для Чаренца. В ряде стихотворений сборника он стремится выделить основные признаки поэзии, определить ее место в жизни народа. Поэзия — не спокойная и бесстрастная песнь, не рифма и ритм, а синтезированная творческая мысль, рожденная в борьбе. Путь поэта полон испытаний, самопроверки, он ведет к ясным и чистым вершинам, но не каждому суждено достигнуть их. Главное в поэзии — богатство содержания, отражающее все многообразие действительности. Poleмические строки чаренцевских стихотворений направлены против бездумных упростиелей, наивных «оптимистов», для которых творчество — легкая игра, веселое времяпрепровождение. «Каменистые вершины» поэзии покоряются тем, кто питается неиссякаемыми источниками жизни, кто не сворачивает с легкого пути в «поэтическое болото мещанства», кто не боится быть окровавленным и в борьбе преодолевает усталость и сомнения. Чаренц резко ставит вопрос о том, что работа советского писателя потеряет всякий смысл, если не сумеет он слить свою песнь с великими делами и подвигами современников.

Обращаясь к современникам, поэт осуждает тех, кто полагает, будто богатейшее содержание жизни советского народа уже нашло свое достойное воплощение в искусстве, кто сводит разнообразный и красочный мир человеческих дум, страстей и помыслов к грубым схемам. В «Послании из Еревана другу-поэту» Чаренц писал:

Наверно, согласишься сам,
Что в наш великий, грозный век
Просторно чувствам и страстям,
Богаче ими человек.
Подумай, что в огне годов
Он чувствовал, переживал,
Какую он узнал любовь,
Какую радость сиял!

«Эпический рассвет» — одна из тех замечательных книг армянской поэзии, которой Чаренц доказал огромное благотворное значение мировой классики для развития и обогащения национальной литературы. В этой книге особенно сильно чувствуется жизненность пушкинских и Некрасовских традиций. Связь армянского поэта с великими творцами русской литературы сказалась не только в активном использовании их достижений в области формы. Она, эта связь, обнаруживается во всей идейно-художественной системе «Эпическо-

го рассвета», в утверждении Чаренцем общественного значения искусства, в требовании высокой гражданской поэзии большого накала.

Чаренц был пламенным почитателем Пушкина и Некрасова. В дневниковой записи поэта от 23 марта 1934 года сохранилось следующее его признание: «Нет для меня большего наслаждения, чем... читать какого-либо классика. Больше всего я люблю читать Пушкина. Когда мне грустно и, уставший, я хочу вознаградить себя величайшим наслаждением, я закрываю двери своего дома, ложусь и начинаю читать Пушкина — любое его произведение».¹

Что было дорого Чаренцу в пушкинской поэзии? Прежде всего — ее идейное богатство, глубокая народность, естественность и строгая красота формы. В стихотворении «Послание из Еревана другу-поэту» Чаренц раскрывает величие Пушкина, слившегося со своим веком, воплотившего в творчестве особенности своего времени. Пушкин для Чаренца вместе с тем — вечно живое и развивающееся явление. Отношение Чаренца к Пушкину исполнено огромной любви и восторженного преклонения именно потому, что драгоценное наследие гениального поэта — живая сила, помогающая решать большие творческие задачи современности.

Для того чтобы передать все богатство, всю многосложность нашего времени, «лира Пушкина нужна», утверждает Чаренц:

Как сложен многогранный век!
Пройдя сквозь огненную новь,
Живым остался человек,
Пронес и сердце и любовь.
Осмелся — ты, поэт! Воспой,
Проникни в мир его до дна!
Но песни нет еще такой...
Ей лира Пушкина нужна.

Ей лира Пушкина нужна!
И вместе с лирою живой
Его размах и глубина,
Душа высокая его.
И нужен Александра ум,
Чтоб в споре злободневных дел
Презрительно отвергнуть шум,
Чтоб стих, очистившись, звенел.

¹ Е. Чаренц, Собр. соч. (на арм. яз.), т. 6, 1967, с. 483.

Чтоб гула будничного тлен
Грядущее не заслонял,
Чтоб дух не сдался шуму в плен,
Как тот бряцающий кимвал,
Чтоб видела душа сквозь тень,
Что прошлое навек ушло
И что большой грядущий день,
Немеркнувший, горит светло!

Многие произведения «Эпического рассвета» словно овеяны пушкинским дыханием. Под несомненным влиянием «Медного всадника» написана поэма «Чугунный человек». Однако Чаренц, разумеется, не копирует пушкинских стиливых приемов. Он по-новому ставит и решает вопросы, глубоко волновавшие великого русского поэта. «Чугунный человек» — гимн творческой созидательной энергии советских людей, обуздавших стихию, заставивших ее служить человеку. И если в «Медном всаднике» торжество дела Петра сопровождается трагедией «маленького человека» — Евгения, то в поэме Чаренца победа Ленина есть победа трудового народа.

Важной вехой в творческом развитии Чаренца стала «Книга пути», изданная в 1934 году. В новый сборник вошли произведения, разные по идейной направленности и художественной форме: обработка народного эпоса «Давид Сасунский», поэтические размышления об историческом прошлом Армении, повесть о майском восстании 1920 года, небольшая поэма о последних днях жизни Абовяна, новые циклы рубайев, бейтов, дистихов, оригинальные по замыслу и решению гимны и заветы (природе, книгам, художникам-миниатюристам, отважным путникам, песнопевцам, сеятелям грядущего и т. д.), многочисленные стихотворения об искусстве, любовная и философская лирика. «Книга пути» свидетельствовала о подъеме творческих сил автора, который активно осваивал новые жанры и темы, расширяя круг своей поэзии.

Это книга о пути, пройденном народом и поэтом, это книга о борьбе и труде, об истории и современности. Эти большие извечные проблемы искусства Чаренц решает подчас с полемическим пафосом, в споре со своими литературными оппонентами, но всегда ярко и самобытно.

Вот поэма о последних днях Абовяна — «К горе Масису». Сквозь бытовые детали и подробности, рисующие в самом начале поэмы как будто личное настроение великого армянского просветителя, властно пробивается главная мысль произведения: подвиг художника, отдавшего родному народу весь жар своей души, воплотившего в своих

творениях его чаяния и стремления, никогда не померкнет в памяти поколений.

На первый взгляд трудно усмотреть какую-либо связь между поэмой об Абовяне и поэмой «Бронепоезд „Вардан Зоравар“», посвященной одному из эпизодов майского восстания 1920 года в Армении: разные времена, разные герои. Но в том-то и дело, что путь революционной борьбы, на который встал командир бронепоезда «Вардан Зоравар» капитан Мусаелян, был подготовлен исторически и выстрадан деятельностью многих поколений, мечтавших о счастье и свободе своего народа. Таково глубокое убеждение Чаренца, с бесспорной очевидностью проявившееся в этих поэмах. И, конечно, эта идейная позиция автора внутренне органически связала поэму «К горе Массису» и «Бронепоезд „Вардан Зоравар“», обусловила любопытные параллели в их композиционной структуре, архитектонике, в выборе отдельных характерных деталей.

Человек и природа, искусство и действительность, поэзия и труд — таковы важнейшие темы многих произведений, вошедших в «Книгу пути». Здесь и философские раздумья о бесконечном постижении человеком тайн природы («Гимн природе»), и мудрое наставление искать в неустанном труде источник движения и развития («Приветственный гимн пришельцам»), и совет поэтам будущих времен помнить, что переживает века только такая песня, которая рождена страной и народом («Семь заветов песнопевцам грядущего»), и строго классические октавы о бессмертии народного творчества («Хвала винограду, вину и изящному искусству»).

Одна из центральных тем «Книги пути» — это тема народа. Герои Чаренца — будь то легендарный Давид Сасунский или Хачатур Абовян, командир мятежного бронепоезда Мусаелян или немецкий поэт Гейне — думают и размышляют о народе, живут его радостями и горестями, без остатка отдают ему свои силы, талант и энергию. Чаренц славит творческую мощь народа — создателя всего прекрасного и высокого на земле, поет восторженный гимн советскому человеку.

«Книга пути» пронизана пафосом большого, жизнерадостного труда, и не случайно ее завершает перевод пушкинского стихотворения «Труд» («Мир вожделенный настал: окончен мой труд многолетний. . .»), блестяще выполненный Чаренцем.

«Книга пути» была последней книгой поэта. Жизнь Чаренца трагически оборвалась в ноябре 1937 года.

Чаренц был «одним из самых талантливых, выдающихся поэтов, рожденных Октябрем, был певцом революционной героики, бури и натиска. Он и сегодня молод, как его вдохновенная, огненная поэ-

зия. Он был рожден для того, чтобы в стране великих поэтов — в древней, славной Наири — воскресить голос самой высокой песни во славу Родины, свободного человека, за победу над силами угнетения и векового рабства».¹

Овеянный ветром революции, Чаренц всегда был в пути. Он не знал покоя и умиротворенности, как не знает их истинная поэзия, всегда живущая на великих дорогах истории и современности.

Акоп Салахян, Эдвард Топчян

¹ Ник. Тихонов. Рожденный бурей Октября (К 70-летию со дня рождения Егише Чаренца). — «Литературная газета», 1967, 27 сентября.

СТИХОТВОРЕНИЯ

ТРИ ПЕСНИ БЛЕДНОПЕЧАЛЬНОЙ ДЕВУШКЕ

Астхик Кондахчян

Et c'était le dernier
amour du soir
antique. . .

*Albert Samain*¹

1. В ДОРОГЕ

Качаясь, коляска тащилась по полю,
По лужам, размывшим дорогу,
И дождь моросил, монотонный до боли,
И день угасал понемногу.

Тащилась коляска. . . Возница с тоскою
Пел песню свою заунывно,
И хмурилась женщина рядом со мною,
И кашляла долго, надрывно.

А дождь моросил, без конца, без начала,
И с криком взлетали вороны,
И женщина рядом беззвучно рыдала
Под ветра напев похоронный.

И долго возница, на козлах качаясь,
Пел дней своих песню уныло. . .
Мы ехали молча. Куда? Я не знаю.
Мы ехали. Ночь наступила.

¹ И это была последняя любовь античной ночи. . . *Альбер Самен* (франц.). — *Ред.*

2. БЕССОННОЙ НОЧЬЮ

Не спится. . .

О, как хочется уснуть,
Всё выбросить из головы, забытья!
Блуждает в темноте мой тусклый взор,
И мысли бродят по полям печальным,
Стремясь в ночной простор.

Как умирающей предсмертный трепет,
То ярче, то слабее свет лампы
В объятьях темноты.
В дверь прошлого ко мне стучится кто-то. . .
И снова предо мною ты.

И как мотив давно забытой песни,
Душа дрожит, и выплывают в ней
Поодиночке образы и лица,
Которые давным-давно исчезли
Из памяти моей.

Передо мной неясное виденье,
Печальное, как лунный свет, —
Твой лик, всплывающий из затемнения
Далеких прошлых лет. . .

Вновь мучает меня воспоминанье:
Дождливый вечер,
Освещенный дом. . .
И свадебного хора ликование. . .
Один в тоскливом призрачном тумане
Стою я под дождем. . .

Уснуть, уснуть!
Покончить с этой мукой,
Не думать ни о чем!
Дремать. . .
— Но разве не были мы вместе?
— Хочу заснуть. . . баюкай же, баюкай!
Ночь на исходе, светел небосклон. . .
Что это было — боль?
Иль бред и сон?

Да, боль, она в груди моей жила!
Ты никогда не улыбалась мне,
Твоя улыбка мне казалась болью,
Моей душе, истерзанной тобою...
Я звал тебя, с самим собой в борьбе...
Ты не пришла.
Я был твоим рабом — любовь раба
Наскучила тебе!

Моя душа была тебе чужда,
Как присланный букет с чужого поля —
Страдания розы, лилии надежды,
Цветы мечты, туманной, как звезда,
И красные, как ранки, маки боли, —
Украшенную этими цветами
Тебе в подарок душу я принес,
Чтоб чистая душа твоя, скорбя,
Делила боль ее беззвучных слез...
И я не помню, как однажды,
В один туманный день,
В преддверье жизни новой,
Я потерял тебя...

Нет, ты ушла. Куда — не знаю.
Ушел и я...
И мог ли я остаться,
Жить там, где ты жила, и видеть всё —
Ваш освещенный дом, знакомый двор,
И улицу, чей каждый пыльный камень
Я помню до сих пор...

Оставим это и не будем вновь
Тот пепел ворошить.
Никто на свете
Не объяснит мне, отчего случилось так...
Для нас любовь — страдание и кровь,
Для нас любовь имеет цену смерти,
Для женщины она — вино веселья...

Бессонной этой ночью в тишине
Я от себя гоню воспоминанья,
Сомнения и горечь тех ночей...

Зачем же вновь
Приходишь ты ко мне
И душу слабую мою тревожишь
До утренних лучей?

Уж не затем ли, чтобы капать яд
На рану старую,
Вонзая жало
В больную душу, чей несметный клад
Когда-то ты
Принять не пожелала?

О женщина коварная! Увы,
Твоей душе был нужен лишь порок,
Ты надо всем смеялась и глумилась...
А хочешь, расскажу, как для меня
Однажды всё переменилось
И путь мечты внезапно затерялся
Среди других дорог?

.....
Была глухая ночь.
Шел нудный дождь.
В душе был мрак — ни дрожи, ни тревоги,
Ни давних грез — один крошечный мрак.
Я выбежал и долго под дождем
Бродил во тьме по грязной мостовой,
Один, не видя больше пред собой
Ни цели, ни дороги...

Я долго шел.
Передо мной вдали
Маячили неясные огни,
И, помню, я пошел на них... Они
Несли мне весть о чем-то очень давнем,
О том, чей след
В душе печатью лег...
И тихо я переступил порог...

И... вот что помню —
Старая кровать,
В углу, во мраке,

И нагое тело...
И горькое рыдание мое...
Я выбежал... мне стало жутко...
Я чувствовал, как ветер бьет в лицо...
И в ту минуту понял, что отныне
Жизнь для меня — пустая шутка...

В тот день я потерял свою святыню.
Ступай же, милая, счастливый путь!
Пусть жизнь обрушит на меня стихии,
Пусть посыпает пеплом — никакие
Слова раскаянья
Не смогут мне вернуть
Мои мечты, желания былые...
Так уходи.
Хочу забыться хоть на миг.
Хочу заснуть... О, если бы заснуть!

3. ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ

Был вечер хмурый и дождливый,
Молчали улицы пустые,
И ветра мокрого порывы
Ломали струи дождевые.

Спускалась ночь. Вдали тонули,
Чуть затушеваны туманом,
Огни далеких темных улиц
Миражем города обманным...

Я шел и повторял без счета
Твое возлюбленное имя,
А там вдали смеялся кто-то
Под брызгами дождя косыми...

И я благословлял, тоскуя,
Твою могилу в тьме кромешной...
И кто-то мне сказал, что лгу я...
И кто-то плакал, безутешный...

1913

СТРАНА ОГНЯ

4

И в тумане стелящемся
Вспоминаю я
Древние, затерянные
Твои края.

Вспоминаю синие
Зámки твои вечные,
Вспоминаю лживый
Синий вечер.

Помню шелестение
Листьев и колосьев
В час, когда блестили
Золотые звезды.

Жертвоприношения
Радостное празднество...
Что ж среди веселья
Был я столь безрадостен?..

5

Но ты приближалась, твое приближенье
Опять возвращало объятья твои.
И кто-то кричал: «Проходи, женщина!
По лунным полянам уснувшей земли!..»

«Проходи, проходи, проходи, ледяная!..»
И выла собака в лицо луне.
И чувствовал я, как восходит, пылая,
Белоснежный венчик твой в кровавой мгле...

6

И ты приблизилась, и огненные, жаркие
 Ладони к сердцу моему прижала.
 Оно, тоскуя по огню твоих пожаров,
 От холода кричало!

.

И вспоминаю я, что долго, долго
 Я звал тебя, крича во тьму дорог.
 Ты у меня была. Бездомный,
 Безумный, — был я одинок. . .

7

О, не той была, не той
 Та страна огня и света. . .
 Смертью пахнет полночь эта,
 Пахнет кровью пролитой.

О, не той была, не той. . .
 Холод всем владел в округе. . .
 Истекали кровью руки. . .
 Зов отчаянный, глухой. . .

В лживой дали, сквозь туман
 Я страну огня представил
 Той легендою, где правил
 Окровавленный обман!

8

. . . И выплакалась ты, и сразу стало легче,
 И села так, не поднимая глаз.
 И подле нас спустился лживый вечер,
 И утра лживый луч упал на нас.

Когда ж ты мертвым взглядом посмотрела
На душу грустную мою, вдруг понял я,
Что в мире нет ни темноты, ни света,
Они лишь суета, мечта моя. . .

Ни света и ни тьмы. Ни снега, ни пожара.
И лишь в тумане, души нам прикрыв,
Незримо птица крылья распластала,
И мы почувствовали трепет их. . .

1913—1916

ЧАСЫ ВИДЕНИЙ

9

Бульвар безлюден был. В закатный час
Я синеву из чаши пил небесной,
Душой заслушивался, как лилась
Колоколов задумчивая песня.

Всё всматривался, взгляд направив свой
В глубины без предела и без края, —
На синих нивах вечности немой
Угадывал тебя я, прозревая.

Когда же вечер умирал в огне,
Спускалась ночь ясна и звездюка,
Всё в звоне вод из синего далека
Мерещился твой сладкий шепот мне.

10

И опускался в сердце мне покой,
Исполненный какой-то светлой скорби.
И вот затих я, примирен с тоской,
Безмолвным стал, безмолвным и покорным.

Но чей-то смех в ночи взорвался вдруг
За дверью, где-то там, в пустынном поле,
И нарастал тревожный где-то звук.
И в темном доме сна не знал я боле.

И хохотал в полях безумный ветер,
Душа кричала, муки не терпя.
Качались тени. Я молчал. На свете,
Нигде на свете не было тебя.

11. НА РОДИНЕ

Лед вершин и синие озера,
Небеса, как сны души родной,
С чистотой ребяческого взора.
Я — один, но ты была со мной.

Слушал ропот я волны озерной
И глядел в таинственную даль —
Пробуждалась с силой необорной
Вековая звездная печаль.

Звал меня на горные вершины
Кто-то громко на исходе дня,
Но уже спускалась ночь в долины,
К звездной грусти приобщив меня. . .

РАДУГА

(1916 — 1917)

*Карине Котанчян, моей последней,
вечерней, звездной сестре*

12

*Я — звездный поэт, в голубом лабиринте плутаю твоим,
И душа моя — отблеск звезды побледневшей, усталой —
Грустна, но твоей — улыбается в небе ночном,
Чтоб дорога мечты вдруг дорогой Голгофы не стала.*

13—14. РАДУГА

1

Девушка, как абажур, голубая, с глазами мадонны,
Хрупко-прозрачная, точно мечты моей тело!
Девушка, словно агат притягательна, с взглядом
бездонным,
Как абажур ты, — о только бы не улетела! . .

Что же мне делать, о, что же мне делать, чтоб вдруг
не угасла,
Чтоб не угасла душа моя в этих агатах?
Чтобы осталась трехцветная радуга ясной,
Чтобы души моей даль не исчезла куда-то. . .

Девушка, как абажур, голубая, с глазами мадонны,
Хрупко-прозрачная, точно мечты моей тело!
Девушка, словно агат притягательна, с взглядом
бездонным,
Как абажур ты, — о только бы не улетела! . .

Три цвета есть в стране твоей мечты —
 Три цвета есть — в тиши. . .
 Прозрачные цвета — взглядишь же ты
 В страну своей души.

Ты улыбнулась. . . В глаз твоих огне
 Три искры, три луча.
 И даль твоя вдруг приоткрылась мне,
 Светла и горяча.

И вижу замки, шпили, купола —
 Как посмотрю кругом. . .
 В глазах твоих комета поплыла
 В даль золотым цветком.

И слушаю я звон после дождя. . .
 И опустилась мгла. . .
 Плывет туман вечерний, и, гудя,
 Зовут колокола.

И вижу: голубеет небосклон,
 Заметная едва,
 На светлый край твой, чистая, как сон,
 Спустилась синева.

И замирая, слышу наяву:
 Горит, влечет, как зов,
 Всё золото плывущих в синеву
 Крестов и куполов.

И светлый край твой растворится вмиг
 В моей душе — мечтой. . .
 Твой светлый край горит в глазах твоих —
 Вечерний мрак густой. . .

15—17. ГОЛУБОЕ

1

Голубое — молитва души и мольба,
И печаль, о сестра.
Голубое — тоска, что грядет, как судьба,
И чиста, и остра. . .

Голубое — твоих беспредельность очей,
Утро влажное, соннее. . .
И душа в голубом полумраке ночей
Разрыдалась, бессильная. . .

Голубое — к молитве зовут голоса
На заре колокольные.
Голубое — роса, голубое — слеза
Сердца, неба, невольная. . .

И течет в голубом к небесам не спеша
Безобманное слово,
В голубом лабиринте блуждает душа,
Возвращается снова.

То, чего не бывало, но то, что должно
В детском сердце забиться,
Как прозрачное, как голубое вино —
В моем сердце струится. . .

2

До золота солнца, до света —
Так грустно! . . Почти не дыша,
Пьет грусти таинственной этой
Блаженную чашу душа.

До солнца с его позолотой
Так бледен небесный простор,
Так робок, мечтателен, кроток,
Как страждущей девушки взор.

Зажглась на небесной палитре
Звезда, что была не видна.
Вселенная — как на молитве:
В молчанье застыла она.

И звук исчезает и признак
Движения — всё как во сне. . .
И ты еще дремлешь, как призрак,
В мерцающей голубизне.

8

Чувствую ранним утром — пока
Солнце не встало,
Как мне душа голубая близка
Девы усталой!

Слушаю, слушаю мир в тишине —
В грустном молчанье. . .
И улыбаюсь я голубизне
Светлой печали.

Чувствую я этой ранней порой
На бестелесных
Бледных устах — поцелуй голубой,
Легкий, небесный.

18—24. **ЗОЛОТОЕ**

1

На заре тонет золото солнца — в голубизне.
Спи, моя голубая сестра, не тревожься во сне.

Еще лебеди спят на озерах, что светят, лучась. . .
Еще спят. Еще дремлют. Наверно, проснутся сейчас.

Льется звон колокольный, журчит, и зовет, и звенит:
Стаю звезд испугает — и золото прынет в зенит.

Но ты не хочешь солнца золотого,
Не веришь в колос поля налитого. . .

Взгляни, взгляни, пойми — о, что за прелесть!
Как лес и поле в золото оделись. . .

И горная небесная дорога
Прощается с туманом понемногу. . .

И всюду, как над той дорогой зыбкой,
Улыбка солнца — как твоя улыбка. . .

4

Волны перед тишью мироздания
Золотыми кольцами легли. . .
В сини неизменно ожиданье:
Жду вестей от солнца и земли.

Вспыхнул, как невеста, белый парус,
Застыдившись солнца в вышине.
За одним — другие, в даль направляясь,
Закачались в золотой волне.

Золотом сверкает в водах чистых
Солнца лик — чеканный лик царя,
И улыбок золотые листья
Сыплет в синь, в волне огнем горя.

Шхуны в золотистых покрывалах,
Как в фатах невесты, там и тут
К золотому краю, в дымках алых,
Крылья распростерши, вдаль плывут.

5

Золотым мотыльком — солнце над головою.
Небо видно еще, и оно — голубое.

Твои крылья красны, золотой мотылек,
Ты пылаешь. . . Зачем? Для кого? — невдомек. . .

И горит в синеве, что не знает конца,
Пламя огненных крыльев и пламя венца.

Золотым мотыльком — солнце над головою.
Небо видно еще, и оно — голубое.

6

И слабеет оно, догорая. . .
Скоро золото солнца угаснет,
Напоследок у самого края
Вспыхнув пламенем огненно-красным.

Раскалившись под солнечной сенью,
Синева розовеет безбрежная
И бросает румянец смущенья,
О сестра, на лицо твое нежное.

Синева эта с золотом смешана
В беспредельном небесном просторе. . .
И угаснет она неизбежно
В небе, в сердце всем, в твоём взоре. . .

7

Спускается туман — предвестник холода —
Лиловый, разреженный,
Вспоминанье синевы и золота —
В душе моей сожженной. . .

Смеялось солнце, когда даль нетронутой
Была, — лучи светили. . .
Угасло солнце — бабочка из золота
Сложила крылья.

Синь, обжигаясь в золоте, горела,
А солнце в синем поле
Угасло — в синем поле без предела
Мгновенной вспышкой боли.

Спускается туман — предвестник холода —
Лиловый, разреженный,
Вспоминанье синевы и золота —
В душе моей сожженной. . .

25—28. ЛИЛОВОЕ

1

После золота, брызжущего в синеве,
О сестра моя, снова и снова
В моей грустной душе, словно вечер во мне,
Плыл увядший туман лиловый.

Плыл туман, вспоминаю, в лиловом венце,
Обнялась с тишиной золотистая цепь
В синем сумраке света ночного. . .
В моей грустной душе, на твоём лице
Расстился туман лиловый. . .

2

Во влажной синеве твоих прозрачных глаз
Улыбка золотая,
Туман закатный, грустный — не угас,
Лежит на лбу, не тая.
Как шепот колоса несжатого, сейчас
В сердцах у нас струится
Надежда — что минует холод нас,
Что ветер прочь умчится. . .

Снисходят тени, кутают в тиши
Твой лик и мою душу.
Темнеет даль обугленной души,
Как вечер тот потухший. . .
Сестра, мечтанья блекли в полумгле
Вечернего покровы;
Оттенки угасали на земле
Закатной и лиловой. . .

3

Был вечер. Сплетались с вечерней печалью
Заката мечты — память грусти минувшей.
Была ты родной мне — такой, как вначале,
С глазами, глядящими в самую душу.

Как в небе высоком, в глазах твоих ясных
Лучи отражались, парили, блистали,
Рождались лучи, оживали и гасли
И радуги светлой касались устами.

И те огоньки, что умчались мгновенно
В последней улыбке — вечерней, безвольной, —
В мечту превратились и стали священны,
Как лик твой, душа моя, полная боли.

4

Мечты обожглись, пролетели... Но над пустотой
В глазах у тебя и в душе у меня разгоралась
Священная радуга, ставшая светлой мечтой,
Последней любви утоление и светлая радость.

И помню я бледное утро и блеклую тишь,
И синь беспредельную, синь без конца и без края...
И помню я лебедя зов... Ты не слышишь, ты спишь...
Но вот и проснулась ты в замке зари, дорогая...

И помню я розовый купол небес над собой
И розы из золота, что расцвели и увяли.
И в небе вечернем я пламени помню прибор —
Прощание золота с красным, улыбку печали.

И помню я солнца огонь — как гигант-мотылек,
Порхал, полыхал, пролетел и исчез в отдаленье.
От светлой души моей был еще сумрак далек,
Она улыбалась, как девушка в полдень весенний.

Мечты обожглись, пролетели... Но над пустотой
В глазах у тебя и в душе у меня разгоралась
Священная радуга, ставшая светлой мечтой,
Последней любви утоление и светлая радость!

29—30. ВЕЧЕР ПРОЩАНИЯ

1

Ты пришла, ты была мне сестры родней,
И вот — уходишь.
Ты молитвой всегдашней была моей,
И вот — уходишь.
Не затем приходила ты, чтоб теперь
В сон превратиться.
Поцелуй на прощание у дверей —
И вот — уходишь.
Это, может быть, и не любовь, а так. .
Лишь сон мне снится?
Превратилась ты в память минувших дней,
И вот — уходишь.

2

Ты уходишь, но сердце тебя зовет
Из дальней дали.
Ты была мне подругой, была сестрой.
Ты не вернешься?
Улыбаюсь, чтобы тебе в пути
Не знать печалей.
Как мне с сердцем управиться, с сиротой?
Ты не вернешься?
Ты уходишь, но кажется: я тебя
Жду на вокзале,
Будто встретиться должен я вновь с тобой.
Ты не вернешься?

ЖЕРТВЕННЫЙ ОГОНЬ

31—45. ВЕЧЕР

1

Та же тоска безутешная, то же сиротство,
Тот же пылающий мир и горящее солнце.

То же прозрачное небо и пламя заката,
Всё то же самое в сердце, что было когда-то.

Та же любовь в моем сердце сгорающем бьется,
Та же тоска безутешная — смертью зовется.

2

Огонь пожирает сейчас твое тело священное.
Вокруг тебя — тлеющий сумрак, смерть, темень
вечерняя.

Под нежными веками в рыжем пыланье неистовом,
В огне беспощадном сгорает душа твоя чистая.

Огонь в вожделении лижет тугими устами
И сердца дорогу и глаз твоих синее пламя.

Огонь пожирает сейчас твое девичье сердце,
Вокруг тебя — сумрак и гибель. И некуда деться...

Путь один в небеса — путь привычный и старый...
В этой песне опять я пою твои чары.

Твои девичьи чары, твой облик далекий, —
Ты душе улыбнулась моей одинокой.

В солнца нежных лучах твою вижу улыбку,
Видю розы ее в мгле вечерней и зыбкой.

Суждено той улыбке огнем загореться —
Ей бросаю свое воспаленное сердце:

Пусть оно пламенеет в безжалостном, в страстном,
В окровавленном пламени — в пламени красном.

О сестра, твоё тело — как вечер весенний,
Росных, радужных, огненных роз дуновенье.

Словно вечер весенний, когда раскаленный
Шар кровавый светила плывет по наклону.

И летит, как из мира другого, нездешний
Аромат твоих кос, как гашиш догоревший...

Ветер сгинул. Кромешная ночь опустилась...
Твое тело в гроб огненных роз обратилось...

Вот очи твои — без мечты, без ответа.
Они — небеса, где ни солнца, ни света.

Они — небеса без огня и без ночи,
Ушедшей сестры моей синие очи...

Твои — словно лилии — руки поникли,
Лежат, как цветы, что от солнца отвыкли.

В глазах твоих синих улыбка погасла.
Сестра, ты в гробу... Я взываю напрасно...

Голубая тоска умерла. Растворилась в огне.
Солнца луч на вершину упал. Не пропал в вышине.

Снежный купол — взгляни, о, взгляни! — как огромный
алмаз,
Вспыхнул в сини вечерней, во тьме засверкал, не угас.

Драгоценным металлом вершине над миром блистать!
Нет мечты на вершинах, чтоб воспоминанием стать.

Знаю, воспоминаньем не станут снега этих гор...
Мое сердце — снега. Мое сердце — пылающий горн...

Голубая тоска ничего, ничего не дала.
Тайна жизни — огромная и беспредельная мгла.

Тайна жизни — темна, но в огромной и темной тиши
Живы тысячи радостей, сотни пожаров души.

Понял, знаю теперь я, что мир беспредельный,
сквозной —
Это звонкая песня и ветра прохлада и зной.

С жаром он прикасается к ждущим губам наших душ, —
Есть закрытые двери в душе, непроглядная глушь...

Есть в душе небеса — синевы, чистоты торжество...
Но, увы, — голубая тоска не дала ничего!

На синеющем озере в синей дали
Белый лебедь качнулся у края земли...

Будто небо — колышется озера гладь.
Будто озеру — небу конца не видать...

Ни границ, ни небес, ни земли, ни пути...
Расстели свою душу — весь мир охвати...

Как мечта, ты в границах вселенной живи,
Как без отзыва песня, как лебедь, плыви...

9

Веселье в грудь вошло, не умаляя боли,
Веселием полно пылающее поле.

Мечтой озарено, в огне далеком алом
Поспевшее, оно качается устало.

А ветер — как сестра, без тела и без тени,
Поет, и песня та полна тоски, смятенья...

И песня поплыла к тугим колосьям мглистым
Так тихо, так легко, так нежно, звучно, чисто...

А поле — как во сне — виденьем небывалым...
Поспевшее, оно колышется устало.

10

Коснулась нивы, словно жгучая печать,
Кроваво-красная небесная печаль,

Как ветер, красный ветер в вихре огневом,
Что с жарким шепотом сжигает всё кругом.

Кровавый горцзонт прижался к облакам,
И кто-то огненный приносит жертву там.

На горизонте он в разрывах бурых гор,
Сжигая всё, раздул кроваво-красный горн,

И алым пламенем, как света торжество,
Стекает солнечная радость из него...

Краснеет на поле, окрашивая даль,
Далекой радости горящая печаль...

В дальнем поле меня ждет бессонно мой дом...
Смерть и красная мгла и туманы — кругом...

Дом, усталость, любовь — всё оставив вдали,
В ночь и смерть я иду по дорогам земли.

Но тоска, словно роза, восстав из огня,
Загорелась во мгле, опалая меня.

И страданием сладким горю, как огнем,
Дом оставив, как память, как знак о былом.

Еще не растворился в облаках
Шар солнца красный и кровавый.
Еще в душе не превратился в прах
Закат твой — огненная лава.

Огонь и кровь — закат еще горит,
Пыль, пахнущую кровью, стелет.
Еще горит — и быстро вниз скользит,
И землю меж другими делит.

Он угасает, но опять придет
С улыбкою и песней новой...
Он угасает, но опять придет
С другим, с другим огнем багровым.

Хоть я стал молчаливым, смиренным, покорным,
Знает сердце — заря вспыхнет огненным горном.

Знает сердце — сейчас ночь опустится властно.
И любовь, и тоска, и томленье угаснут.

Тьма опустится властно, и мир этот старый
Станет бредом, постигнутый смертною карой.

Испарится, угаснет, как воспоминанье,
Но зажжется заря лучезарною ранью,

Запыляет в тумане могучее солнце,
Новым блеском искрясь, горизонт улыбнется.

И сейчас знает сердце, что солнца пыланье —
Отблеск жизни иной, жизни новой мечтанье.

И угаснет оно, растворясь в алых тучах,
Чтобы снова очнуться живым и могучим.

14

В этой огненно-красной, священной, пылающей мгле,
В сердце солнца, сгорающего, словно жертва земле,
Как мечта безвозвратная, в мгле без конца,
без предела

Превращается в пепел прекрасное девичье тело.
Словно горн раскаленный, как красная рана, пылая,
Разгорается на горизонте, не знающем края.
Как вечерняя жаркая страсть, ни о чем не пророча,
И уходит к закату, уходит к закату и к ночи...

Словно сердце дымится мое наяву,
Мое жаркое сердце усталое,
Озарившее жаром небес синеву —
Словно роза расцветшая, алая.
Пламенеет оно и сгорает — не тронь!
Торопясь, к горизонту спускается...
Мое сердце — невиданный красный огонь —
Разгорается, разгорается.

Сердце — солнце, весеннего света полно,
Сердце — чаша любви и свечения,
В этом мире вечернем, как жертва, оно
Пламенеет, как жертва священная!..

.....
Выпей огненный яд, мое сердце, до дна,
Выпей, выпей, мое безутешное, —
Пусть над миром плывет, глубока и темна,
Справедливая ночь неизбежная!

Сердце, ты закатись, поглотишься темнотою,
Ощущай темноты лишь касание.
Жизнь — лишь память, лишь пепел она золотой —
Угасание, угасание. . .

Закатись, мое сердце, и жаркой мечтой
Растворись в пустоте поднебесья,
Чтобы завтра восстать над землей молодой
С солнцем, с солнцем пылающим вместе.

15

Погружается солнце во тьму. . .
Раскаленному — слава ему!

Солнце — жертва, дотла сожжено,
И не знает ущерба оно.

Солнце — чудо, спалившее нас,
Сердце в пламени, огненный глаз, —

И безумец. . . Держи его, твердь! . .
Солнце — жизнь. Солнце — красная смерть.

Солнце — яд, и печаль, и чума,
Солнце — жизнь. . . Солнце — гибель сама.

Солнце — жертва: дотла сожжено,
И не знает ущерба оно. . .

46. ВОЗВРАЩЕНИЕ

1

И последняя в небе погасла звезда,
И покинул свой дом, и пошел он туда,
Где лежала, дыша плодородьем земным,
Пашня, влажным угодьем светясь перед ним.
А над ним, голубые подняв паруса,
Солнца красный корабль уходил в небеса.
Было в утреннем поле прохладно еще,
Не тревожил, не властвовал зной горячо.

70

Легким шагом он шел, но глядел нелегко;
Горизонт перед ним голубел далеко.
Безвозвратно шагал, безутешно глядел,
Шел и пел он печально, печально он пел;
Горизонт перед ним далеко голубел.
И безмолвно в ответ ему голос летел
Из дали голубой, от полей, от лесов
Отдаленного друга тоскующий зов, —
Звал в небесную даль, в синеву, в тишину
И забвенью сулил, обещая весну.

2

И прохлады отрада касалась лица,
Целовала, как любящая, без конца,
И ласкала, невидимая, и звала,
Осеняла и в синие дали вела.
Так легко и беспечно он шел, будто был
Привидением, призраком. . . Путь уводил,
Извиваясь полями, как песня, чей след
Остается лишь в сердце, а в памяти — нет,
Что, оставив поля, и долины, и лес,
Удаляется в тайные сферы небес
И сливается с ними. . . А голос парил
Рядом с путником, тихо ему говорил:
«. . . Все заботы и смуты оставь на земле,
Следуй только тоске, ее свету и мгле.
Вся душа твоя — грусть, блеск далекой звезды,
Следуй ей, лишь в ее заступая следы.
Всходит красное солнце на синюю твердь
Сеять красные в долах тревогу и смерть,
Скоро мерзко оно рассмеется вверх,
Насылая дурман, призывая к греху.
Ты к вершинам иди, ты долинам оставь
Все тревоги, всю память, всю горькую явь,
Чтобы, красной объята долинною мглой,
Не смешалась душа твоя с пылью земной. . . »
И быстрее он шел, и иначе глядел.
Уходя без возврата, без радости пел,
А лицо его ветер легко оведал
И, как любящая, целовал, целовал. . .

Уж и вечер вокруг опуститься успел,
 Когда он у дороги заснеженной сел.
 Та дорога, синяя, вилась перед ним
 По застывшим, по горным, по чистым, крутым,
 По скалистым изгибам. Темна и полна
 Некой тайны, под небом терялась она.
 А вокруг. . . Ни один не шелохнется звук,
 Только холод да тишь, только вечер вокруг.
 Свежесть свеяла дольний со щек его прах
 И рассказ повела о седьмых небесах. . .
 Только странник не слышал уже ничего —
 Опускалась усталость на душу его.
 Прошагал он, казалось ему, целый век. . .
 Только тишь! Ни души. Только вечер да снег.
 И представилась жизнь обратившимся в дым
 И растаявшим воспоминаньем одним. . .
 Только холод да тишь, только ветер да снег —
 И рассеянно вниз поглядел человек.
 Там, как воспоминанье о том, что ушло,
 Только дымка тумана лежала бело.
 Да багровое мощное солнце вдали,
 Заходя, улыбалось над краем земли.
 Из горящего красного сердца его
 Кровь на доли стекала, пылая светло,
 Ниспадала на мир, что дремотно лежал, —
 И как будто взлетал над полями пожар.
 Ниспадала она и мешалась во мгле
 С пылью дальних дорог на печальной земле.

Он смотрел на огонь, уходящий во тьму,
 И безмолвно рыдал, и не знал почему.
 Сердце глухо томилось, тоской сведено,
 Как надтреснутый колокол, билось оно,
 И пронзил его грудь огнедышащий ток,
 Как горящего сердца горячий цветок,
 Заходило светило, чтоб после взойти
 Розой жаркой, огромной, светясь на пути,
 Чтобы, самосжигаясь в своем же огне,

Снова встать, отпылать в голубой вышине,
Чтобы ржавым болотам и влажным полям
Дать души своей злато последнее — там! . .
Он беспомощно плакал, когда, сокрушен,
В сердце искру-кровинку почувствовал он.
И вскочил, озираясь, он на ноги вдруг —
Только мертвая тишь холодела вокруг.
Вновь прохлада погладила по волосам,
Прошептала, к седьмым позвала небесам.
Но ее не услышал он. Вытер слезу,
И на солнце взглянул, что горело внизу.
И сжигаем тоской, озаряем лучом,
Улыбаясь, пошел он обратным путем
Шел он быстро, из горной пустыни спеша;
Умирающим лебедем пела душа.
Покидая небесную синюю мглу,
Горы гордые те, смерти пел он хвалу.
Заходило горящее солнце вдали,
Он спускался в обычные доли земли,
Чтобы поцеловать золотящийся след —
Отгоревшего солнца последний привесг. . .

47—65. У Т Р О

1

Как мои былые дни,
Как промчавшиеся дни,
Я остался позади:
В прошлом я, в тени.
Я погасший прошлый миг,
Я сейчас уже — старик,
Ухожу, как дни мои,
Стар стал, как они.
Но в пожаре этих дней,
Когда буря всё сильнеей,
Сердце с песней рвется к ней,
Просит: захлестни!
Словно снова я не стар
И опять, во власти чар,

Я храню в груди, как дар,
Прежние огни.

Ах, я знаю, это ты,
Ты чаруешь, как мечты,
Ты чаруешь и глядишь
В огненную даль.
Тихо, сладко, как вода,
Ты журчишь мне иногда,
Ты журчишь мне и зовешь,
Манишь, но куда?

И храню я песню ту,
Как последнюю мечту,
И томит твоя тоска
Душу мне века. . .
И мне кажется в тот миг,
Словно я опять старик
И мечтаю о любви,
Сладкой, как тоска. . .

2

Всё звонче речи, рифмы, слоги,
Твоя тоска в моей крови
Рождает сладкие тревоги
И песни новые любви.

Огонь твой в сердце чист и светел,
В груди — тоски твоей ожог,
А там, за дверью, дни как ветер
Несутся в ритме этих строк. . .

Дни — волны, пена, что дымится
На них, то в солнце, то в тени,
Как ветер Будущее мчится,
И алые трепещут дни.

Дни вдаль летят, как эти строки,
Когда твой зов в моей крови
Рождает сладкие тревоги
И песни новые любви.

Звучат дни, зовут,
 Дни — алый водопад,
 Дни — звон и звук,
 Огненно горят.

И сердце звенит, как горн,
 Летит за ними вслед.
 Ты слышишь этот звон?
 Ты слышишь или нет?

Есть пламя в моей груди,
 Пожара алый свет,
 Грядущее, о приди,
 Тоске возврата нет.

Хочу, чтоб в грядущие дни
 Летели песни мои,
 Несли в грядущие дни
 Сегодняшние огни.

Я новою тоской объят, она — огонь и жар,
 Да, околдован я тобой, я весь во власти чар.

Ты — пена алая, ты — свет, ты — красный блеск огней,
 Как эта алость, как пожар горячих этих дней.

Они горят вокруг тебя, сменяются, летят,
 Они светлы и горячи, как твой горящий взгляд.

Как мне воспеть свет красных чар, воспеть твои черты,
 Как крикнуть мне на целый мир, что существуешь ты?

«Вернись», — манят меня
 Дни прошлые голубизной,
 Но новый, полный огня,
 Бескрайний мир предо мной.

Труба звучит как судьба,
Как огненной песни новь. . .
Каждая смерть — труба,
Каждая рана — любовь.

Напрасно манят меня
Дни прошлые голубизной,
Мир новый, полный огня,
Бескрайний мир предо мной.

6

Ты — огненный призрак, сирена,
Ты так далека и близка,
О дева, ты — алая пена,
Ты так далека и близка.

Страна твоим блеском объята,
Твоею тоской зажжена,
Тоску твою пел я когда-то,
Пел славы былой времена.

Журчишь ты, зовешь в эту алость,
Качаясь в огнях высоко. . .
Ты — красного марша начало,
Звучишь и зовешь далеко. . .

7

Ты — как бронза,
Меч из солнца,
Бронза славы,
Бронзы звон,
Но зачем ты
Тупишь меч мой,
Тот, что солнцем
Обожжен?

Как живые
Наши песни,
Наши раны —
След костра,

Ты осталась
Вечно алой,
Вечно новой,
О сестра...

Ты — как бронза,
Меч из солнца,
Бронза славы,
Бронзы гром...
Но, увы, —
Ты только греза,
Призрак,
Выжженный огнем...

8

О невеста, бронзоликая сестра,
Та, чьи волосы как отблески костра,
О невеста, бронзоликая сестра.

Ты зажглась от этих сумрачных огней,
Ты зажглась в сиянье красных этих дней.
Даль грядущего в огне твоём светлей.

Та, чье сердце как пылающий костер,
Ты в огне своем сгораешь с этих пор,
Осветив своими искрами простор.

Но туман тебя окутал искони,
Сиротливые изранили огни,
О сестра моя, скорбящая в тени.

Ты одна, вокруг отчаянье и мрак,
Окровавлен негасимый твой очаг,
Ты одна, вокруг отчаянье и мрак.

О страна, тебя распяли на кресте,
И в лицо тебе плевали в торжестве,
О сестра моя по вере и мечте!

О сестра, тебя распяли те скоты,
И глумились над тобой до темноты,
Бронзоликая сестра моей мечты.

Багровели раны свежие твои,
Никли лилии мечты твоей в крови,
Но услышит крик Спаситель — позови.

И опять засвищут ветры, закричат,
И оружие забряцает буре в лад,
И мечты твои, как прежде, воспарят.

И в огне, в ветрах мечтаний навсегда
Палачи твои исчезнут без следа,
Сгинет недругов кровавая орда.

Те, кто мучил, кто в лицо плевал твоё,
Будут в муках, проклиная бытие,
Ждать могилы, точно трупов — воронье.

Все, кто ждал твоих падений, точно благ,
Каждый твой поработитель, каждый враг,
Обретет во искупленье смерть и мрак.

Огнекудрая, дождешься ты утра,
Загоришься светом счастья и добра,
О невеста, бронзоликая сестра.

9

Душа, как жертва на костре, горит в потоке дней,
Я вижу твой горящий лик средь вихря и огней.

Ты расстилала свой огонь, чтоб расточилась мгла,
Ты солнечным журчаньем слов мне сердце обожгла.

Ты красных вихревых коней пустила во всю прыть,
Чтоб рушить мрамор городов, жизнь старую спалить. . .

И кони красные летят, дорога далека. . .
И сладок сердцу этот мир, и жизнь — как смерть
сладка. . .

Красные кони несутся, летят,
 Пенные гривы, как пламя, багровы,
 Искры роняя, подковы горят,
 Блеск и огонь рассыпают подковы.

Красные кони всю землю зажгли,
 Красное зарево шире и шире,
 Мчатся как вихрь, не касаясь земли,
 Сея восторг и волнение в мире.

Искры взметаются из-под копыт,
 Будущий день пробивают навывлет,
 Рушится зданий надежный гранит,
 Благо — огонь, если тьму он осилит.

Кони несутся, не зная преград,
 Пенные гривы играют с ветрами,
 Огненным блеском следы их горят,
 Красные кони — пыланье и пламя.

II

На дорогу я вышел один,
 Столетия ходил напролет,
 Зданья рухнули грудой руин —
 Мое детское сердце поет!

Далек, далек мой дом!
 Где он? Зачем он теперь?
 Вокруг огонь и гром,
 Вокруг гроза и смерть.

Ветер воеет, упряма,
 Летит как быстрый конь...
 Сердце я отдал огням,
 В сердце — тоска и огонь...

Иду. Куда? Зачем?
 Вокруг огонь и гром.
 И марш гремит над всем...
 Далек, далек мой дом!

Нить памяти связала нас,
 Страна моя, с тобой я вместе.
 Ты чувствуешь ли в этот час
 Огонь моей нелегкой песни?

Ты слышишь дрожь души моей?
 От красных мук не задремать ей,
 Ожоги новых песен в ней,
 Страна моя, сестра и мать...

Я — далеко, вокруг туман...
 Напев мой из огня и боли.
 Вся эта жизнь, как ураган,
 Летит быстрее ветра в поле.

Как родина моя в слезах, как родина моя во мгле,
 Как родина, на чьих плечах кнут палача,
 Так сердце сирое мое чадит без пламени во мгле,
 Так сердце скорбное чадит, кровотока.

И песни красные мои, ах, песни красные мои,
 Что сердце скорбное поет, мечась в огне,
 Как прозвучат они во тьме, ах, песни красные мои,
 В моей разрушенной стране, в моей стране...

Как родина моя в слезах, как родина в дыму огней,
 Так сердце плачет и грустит о ней одной,
 В нем, точно рана в глубине, — кровавый отблеск
 этих дней,
 Ах, сердце сирое мое — мой край родной!

Горишь ты медленным огнем,
 Став в сердце пламенем лучистым,
 Горишь ты медленным огнем,
 Твоим огнем большим и чистым.





Я — жалкий сирота, как ты,
Страна моя, что затерялась
Средь вечной мира суеты,
Ничью не вызывая жалость. . .

Скажи, как звать тебя теперь,
Чтоб ты уста дала как милость,
Ах, как мне звать тебя теперь,
Чтоб ты на голос мой явилась?

15

Я вижу дали пред лицом твоим
В днѣй веренице, пламенной и зыбкой. . .
Вселенная открылась перед ним
И золотится пред твоей улыбкой.

Ведь от тебя, смеющейся, огни —
Для всех на свете радость зарева.
Ты огненные очи оберни —
Там темная страна моя родная.

В развалинах лежит моя страна, —
Зажги ее, повитую туманом.
О Сома, дай, сестра моя, жена,
Багряную улыбку этим ранам. . .

16

Ты — смерть, ты — мгла небытия,
Ты — доброе дитя огня,
Тебя зову всем сердцем я,
Зову — приди, услышь меня.

Уж знает о тебе весь свет,
Индокитай, Тунис, Тибет. . .
Тебе по-братски в этот миг
Бросаю свой последний крик. . .

И пусть мне сердце ранит в кровь
Твой взор, как огненосный смерч,
Чтоб в смерти я узрел любовь
И чтоб в любви узрел я смерть.

Горит далекая любовь,
 Всё стало пеплом и золою.
 Не возродится чувство вновь —
 Сейчас я опьянен землею.

Я сжег те песни, что в крови
 Рождали в грусти беспредельной
 Усталость призрачной любви,
 Дремоту песни колыбельной.

Есть муки творчества во мне,
 Поджег я крыши зданий синих,
 И всё, что в пепле и огне,
 Благословляю я отныне.

Есть в сердце звонкая струна
 И песни, точно свежий ветер.
 Я вижу: новая страна
 Уже встает из тьмы столетий.

Вот встали вновь...
 Ты слышишь звуки звонких строф?
 Мир красен от огня как кровь.
 А ты готов ли встать на зов?

Мир, там вдали труба слышна,
 Над шумом улиц, рек и роц...
 Бессонница раскалена,
 И сердце вновь — огонь и мощь.

Я чувствую, как бьется в нем,
 Кипит, колышется, поет
 Кровь тех, что, встав впотьмах с огнем,
 Идут к Грядущему, вперед.

О песнь моя, родясь на свет,
 Летишь ты вдаль, но знаю я,

С тобой получают мой привет
Товарищ мой, сестра моя...

О песня, о сестра огня!

19

О, сколько гор, лугов,
Лесов, полей, вершин,
О, сколько есть долин,
И сел, и городов —
Хочу, чтоб столько раз
Мой стих прославил вас,
Чтоб трепет всех тревог
Мне грудь огнем обжег...

Хочу, чтобы мой дух
Ракетой взвился ввысь,
Вознесся выше гор,
Чтоб этой песни звук
Открыл моей души
Безумство и восторг...

Чтоб, слыша песнь мою,
Прохожий ощутил
Безумный мой огонь,
Неугасимый пыл...

1918—1920

ВАШ ЭМАЛЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

(Галантные песни)

Арменуи Тигранян

66. СОНЕТ

Могу ль Вас не любить, ведь Вы — источник света,
Искусство, дух, — могу ль не петь его черты?
Кто поклоняется величию красоты,
Тот не посмеет Вам не посвятить сонета.

Вот Вы читаете стихи, — почти пропета
Мелодия... Уста, как лилия, чисты.
Глаза таким огнем горят из темноты,
Что ярче всех камней из Вашего браслета.

А Ваши легкие шаги, они тихи,
И я их слушаю, как чудные стихи,
И, очарованный их музыкой незвонкой,

В молчанье я грущу... И в сердце, полном мук,
Я слышу скрипки трель, щемящей песни звук,
Когда губами я руки касаюсь тонкой.

67

Этот профиль, как с эмали,
И сапфиры Ваших глаз —
Как де Лиль безвестный, Вас
Я воспеть смогу едва ли.
Чей божественный резец
Выточил Ваш лик небесный?
И какой придал творец
Взору этот свет чудесный?
Если б мне две жизни дали,
Воспевал бы вечно Вас —
Этот профиль, как с эмали,
И сапфиры Ваших глаз.

68

Как певец своей печали,
Я хочу воспеть сейчас
Этот профиль, как с эмали,
Быть хоть в песне подле Вас.
В голубом, как поднебесье,
Вашем взоре угадать
Нерожденных Ваших песен,
Синих песен благодать.

Вашим пламенем зажженный,
Сердцем я внимать готов
Музыке незавершенной
Ненаписанных стихов.
Как поэт, дитя стихи,
Я хотел бы пить сейчас
Ваши песни голубые,
Быть хоть в песне подле Вас!

69

Я юн, почти дитя,
Но мой покой смущен, —
Жду Ваших песен я,
Я в голос Ваш влюблен.

Меня пугает взор,
Сверкающий огнем,
Когда свой приговор
Я вдруг читаю в нем.

Есть в Ваших песнях грусть,
Любви угасший жар. . .
О, я боюсь, боюсь
Волшебных Ваших чар!

70

Точно в сладостной дремоте
Вижу, как прекрасны Вы
В каждом легком повороте
Вашей светлой головы.
Из-под бархатного фона
Вашей шляпки, в тишине,
Вы улыбки утомленно,
Чуть небрежно, шлете мне.

Стихи текут, конца им нет. . .
 Отдавшись Вашему огню,
 Я полюбил Ваш тихий свет
 И грусть негорькую мою.

Ее родник не замутнен,
 Не знает он ни бурь, ни мук,
 Она чиста, как детский сон,
 Как колыбельной песни звук.

Так, сердцем овладев моим,
 Живет в нем кроткая печаль,
 Она легка, легка, как дым,
 Как Ваша синяя вуаль.

Тоска по Вас родит во мне
 Голубоватое свечение,
 Я вижу нежный Ваш овал —
 Как будто бы на полотне
 Мне четко Ваше отраженье
 Фонарь волшебный показал.

Как этот синий луч, меня
 Тревожит памяти скольженье. . .
 Среди полночной темноты,
 Я, пленник Вашего огня,
 На полотне воображенья
 Рисую милые черты.

Вы мне стихи читали,
 И странный голос Ваш
 Был женственно-печален.

Я встал. Смолк низкий голос.
Но много дней, недель
Всё слышал я, как в сердце
Поет виолончель.

74

Когда я вижу лик Ваш нежный,
Стеклянных пальцев Ваших свет
И взор ваш светлый, чуть небрежный,
Как солнца дальнего привет,
Внезапно боль мне сердце жалит —
О, эта тихая печаль,
Что дремлет в складках Вашей шали,
О ней без слов сказал рояль,
Грусть стынувшего в чашках чая,
Томящая усталость чувств
И горечь скрытая, живая,
Украшенная светом люстр.

75

Как старые бумажные цветы,
Чохоточные клавиши рояля,
Как зеркало умершей красоты,
Как пыльный натюрморт, который сняли,
Моя душа грустит и ждет ответа —
О, почему там утро гонит мрак,
Но ни единый луч дневного света
Не утолит тоску ее никак?

76

Я сейчас благословляю
Грусть, чей сладостный покой
Душу умиротворяет
Вашей новою тоской.

В песне Вы всегда со мною —
И во сне, и наяву.
Я — поэт, дитя больное, —
Помогите, Вас зову!

1920

77—83. ТРИОЛЕТЫ

1

Ваши пальцы в этот вечер
Точно дней далеких былъ,
Голубую сеют пыль
Ваши пальцы в этот вечер.
Возвратили мне не вы ль
Запах лет, ушедших в вечность?
Ваши пальцы в этот вечер
Точно дней далеких былъ.

2

Вы знаете, что там уже весна
И вышли все на улицу из дома,
И этот гул — далекий отзвук грома?
Вы знаете, что там уже весна?
Уста ее манят, зовет она,
Сердца тревожит сладкая истома...
Вы знаете, что там уже весна
И вышли все на улицу из дома?

3

Шуршит, шуршит вокруг меня
Одежда женщин, складки платья,
Шаги уж начал ускорять я,
Но всё шуршит вокруг меня...
Как будто лес шумит, маня,
Весенней полон благодатью, —
Шуршит, шуршит вокруг меня
Одежда женщин, складки платья...

Поют равнина, ветер, море,
 Всё стало песнею вокруг.
 Когда зажгутся в сердце зори,
 Поют равнина, ветер, море,
 Ведь сердце — ветер на просторе.
 Когда любовь проснется вдруг,
 Поют равнина, ветер, море,
 Всё стало песнею вокруг.

ИНТИМНЫЙ ТРИОЛЕТ

Всё смысл внезапно потеряло,
 Напрасно покраснела ты.
 Что жизнь тебе, коль нет причала?
 Всё смысл внезапно потеряло,
 Весло и лодку прочь умчало,
 А море — бездна темноты.
 Всё смысл внезапно потеряло,
 Напрасно покраснела ты!

Я молча Вас любил, и грудь горела, —
 Пусть мой огонь рассеет Вашу грусть.
 Грусть — яд, клинок, от крови заржавелый...
 Я молча Вас любил, и грудь горела,
 О, пусть, сестра, огонь тот вспыхнет смело,
 Надеждой новой озарится пусть!
 Я молча Вас любил, и грудь горела, —
 Пусть мой огонь рассеет Вашу грусть.

Звонят просторы звездной ночи,
 Воспоминаний громче хор.
 Я снова вспомнил Ваши очи...
 Звонят просторы звездной ночи.

И пусть, насмешку скрыв, Ваш взор
Скользнет по боли этих строчек, —
Звенят просторы звездной ночи,
Воспоминаний громче хор.

1920

УЛИЧНОЙ ЩЕГОЛИХЕ

84. В УЖАСЕ ПЕРЕД ПАДЕНИЕМ

Вот я поэт, и я говорю: имя мое — Чаренц —
Будет гореть высоко в веках, как пламенный венец.

Оставил я века за собой, шел дорогой побед,
К векам грядущего напрямик я пролагаю след.

О чем ты спрашиваешь меня, печальная синь огня?
Ты, древняя душа Наирі, зачем томишь меня?

Зачем расстилаешь предо мной благоухания плат?
И отчего мой страждущий дух твоей тоской объят?

Зеленые очи, бледный лик... Как я могу помочь?
Зачем ты стоишь на моем пути, тысячелетий дочь?

Хочешь ты, чтобы, и слаб и наг, я поник наконец,
Как потерявшееся дитя, как на костре мертвец.

В ужасе перед паденьем — я, не выпустив стрелы,
Вновь отступаю, назад бегу, прячусь в пределах мглы.

Глаза мои, в которых еще брезжут синие сны,
К обезумевшим толпам людским снова устремлены.

Они воспламенены, их — тьмы, они встают стеной,
Они должны смести города, спящие под луной,

Очарованья ваш мир лишить, чтоб на месте его
Оставить разруху, пепел, смерть — и больше ничего.

Сети очарованья плела любовь у вас в дому, —
Они придут, разрушат ваш дом, снова не встать ему.

Больше не будут ваши глаза гореть огнем страстей,
Запорошит их седая зола ваших сгоревших дней.

И больше не вспомнить никому, что раз один в веках
Живое сердце мое в плену держал паденья страх,

Что знал я женщину в веках, — душу мою губя,
Она швырнула ее, как звезду, — дальше от себя.

Толпы неистовые придут, а им ничего не жаль,
Они разрушат ваш рай и ад, и чары, и печаль.

И женщинам больше не услышать о паденье моем,
Не угадать, что стала душа раной и гнойником.

Не выдам ни словом, когда огнем новой песни дохну,
Что был я несчастен и сердцем слаб, и что я был
в плену.

Вот я — поэт, вереницей стрел летите, песни мои,
К новым столетьям, закалены в пламенном бытии.

Оставил я века за собой, шел дорогой побед,
К векам, горящим красным огнем, я пролагаю след.

85. ВОЛШЕБСТВО В ПАРИКМАХЕРСКОЙ

Она в парикмахерской молча сидит, и пред ней
Зеркальная плоскость блестит серебра холодной.

В глазах ее — скорбь, и в глазах — забытье, и в упор
В зрачки отраженью устала женщина взор.

На лоб ее падают желтые пряди волос.
Глядит, как во тьму, и в глазах безответный вопрос.

Она в отчужденье, она нелюбима, она
Бледна, некрасива, она никому не нужна.

И зеркало сумрачно в пропасть печали зовет...
Но приборы волосы, — рдеет смеющийся рот.

Он здесь, он вблизи, как любовь, столь знакомая
ей, —
Неведомый друг, утешитель и маг-чародей.

Улыбка фальшивая, пудра, граненый флакон,
Заемные запахи, чар трехкопеечных сон

И звяканье ножниц — друзей поредевшей косы...
А что говорят со стены эти злые часы?

Секунды — в засаде; звенят — и ни шагу назад,
Про старость и смерть говорят, говорят, говорят.

Но маг побеждает и зелье волшебное льет,
И преображенная женщина с места встает.

Пусть не узнает себя в новой своей красоте —
Идет очаровывать и распинать на кресте.

Поэт я — и знаю: пока ты на свете живешь,
Что истина сердцу, когда утешительна ложь?

Священна неправда на жгучем костре бытия:
Ты грезам поэта поверь, щеголиха моя!

86. СОБАЧЬЯ ТОСКА

По-сиротски заскулил под моим окошком пес.
Без тебя и этот день я, тоскуя, перенес.

Пес тоскует, у него нет на свете никого,
Никого и ничего, — что луне тоска его?

В облака луна ушла, ни звезды, тоска одна,
Гёс без ласки прожил день, и не спится допоздна.

Тускло газовый фонарь светится из-за угла.
Быстро к нашему двору ночь сегодня подошла.

Быстро шум дневной затих. Равнодушна эта ночь,
И не хочет эта ночь ни утешить, ни помочь.

А куда как днем была наша улица светла, —
Подошла ночная мгла и веселье прогнала;

Днем — у булочной народ, в ресторане — шум и гам,
Сколько встреч, тревог, надежд — по обеим
сторонам.

Днем и пес не заскулит, днем — живи себе, спеши,
В суете да на свету неприметна боль души.

Пес не может рассказать о своей ночной тоске,
Сердце рвется на куски — слова нет на языке.

Нет, я больше не могу слышать твой тоскливый вой,
Будь послушен, замолчи, спи, мой пес сторожевой,

Спи! Ни света, ни вестей нам не будет от луны.
Слишком, брат мой по тоске, ночи осенью длинны.

87. СКОМОРОХ

..И душу, как вино, прольешь
Туда, им под ноги, в ту темень,
Где запах смерти, черствость, ложь.

«Пир»

Хотите — спою
Для одних для вас?
Скомороху от песни
Какая прибыль?
Но вы почувствуете
В этот час
Хотите — любовь,
Хотите — гибель.

Без песни прожить
Не могу ни минутки,
Песню дарю
Любой проститутке.
Разве моя вам
Медвежья нежность
Не нравится?
Песня — моя принадлежность.

О чем бы ни пел —
О любви, о смерти —
Не лгу никогда,
Уж вы мне поверьте.
Песни мои — это я,
Я весь с ними,
Но не опьяняйтесь
Моими песнями.
Нехорошо,
Между нами говоря,
Когда тоска превращается в ветер...
Не понимаете? Зря, зря,
Попытайтесь понять,
Сумейте.

Хочу, чтобы песня моя, —
Это важно, —
Была бы для вас
Лишь чернильна и бумажна.
Не понимаете?
Пребываю в надежде,
Что всё же поймете.
А сейчас, как и прежде,
Взволную вас песней,
Хорош ли, плох,
Хотите — о любви,
Хотите — о смерти,
О чем хотите, —
Я скоморох.

1920

ПЕСЕННИК

Арпик

Не будь же злой, скажи со мной хоть
слово,
Мой челн, как море, гонишь ты сурово...
Умру — найдешь Саят-Нову другого?

Саят-Нова

88. ПЕРВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ АРПИК

О, весь огонь души моей — одной тебе,
Пыл радости и жар страстей — одной тебе,
Пусть не останется огня ни капли в сердце у меня, —
Всё, от чего тебе теплей, — одной тебе!

89. ВТОРОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ АРПИК

Ты словно летний знойный сад, жизнь моя,
Ты как граната аромат, жизнь моя,
Когда сурово на меня ты глядишь,
В душе моей тоска и ад, жизнь моя!

90

Я видел сон: Саят-Нова явился с кьяманчой в руках,
Вином наполнен до краев был кубок золотой в руках,
Запел — и старой кьяманчи смычок стал как живой
в руках,
Так пел, как будто нес алмаз небесный и земной
в руках.

И, подпевая песне той, вошла красавица ко мне,
Одетая в атлас и шелк, она казалась сном во сне,
Вошла, покачиваясь в такт, напомнив сердцу о весне,
И встала так, держа платок, сверкающий парчой,
в руках

Взглянул-взглянул Саят-Нова и облака темнее стал,
Сказал: «Чаренц, от этих глаз когда-то я грустнее
стал,

Мне сердце в пепел превратив, ее огонь светлее
стал, —
Ее воспой, чтобы пришла с атласною косой в руках».

Так мне сказал Саят-Нова и головой в тоске поник,
Ушел печальный, унося желанье разбудивший миг,
Мой сон прошел, осталась ты, остался твой прекрасный
лик,
Я кяманчу Саят-Новы держал перед собой в руках.

91

Как наш ашуг Саят-Нова, за тагом таг я буду петь,
И днем, и ночью, без конца, про боль в сердцах
я буду петь,
И сердце, где на самом дне таятся песни и любовь,
Садами рая назову, о тех садах я буду петь.

Одежды звездные надев, как дивный сон явилась ты,
Любовь твоя — огонь, и всё ж для сердца — божья
милость ты,
Я запах роз ношу в груди с тех пор, как появилась ты,
Как ни казнит твоя любовь, твой каждый шаг я буду
петь.

Весь мир наш — сад, и в том саду ты всё затмила
красотой,
Ты как раскрывшийся бутон в росе, от солнца золотой,
Ты — древний авлабарский храм, где нас врачует лик
святой,
Не слезы, а росу небес в моих глазах я буду петь.

Хоть раз бы на тебя взглянуть, как ты цветешь, пылая,
джан,
В сей жизни брэнной для меня ты как подарок рал,
джан,
Так сделай, чтобы не сказал, что ты, как все, земная,
джан,
Оставь на сердце мне ожог — тот алый знак я буду
петь!

Красавицу среди подруг увидел в Гюрджистане я,
И родинку у алых губ увидел в Гюрджистане я.

Она стояла на углу, одетая в парчу и шелк,
И шаль как облако вокруг увидел в Гюрджистане я.

Луч солнца падал на нее подобно золотой фате,
И кожу матовую рук увидел в Гюрджистане я.

Я незаметно подмигнул, хотел сказать: «Душа моя!»
Но тут утес высокий вдруг увидел в Гюрджистане я.

С тех пор печально я пою, любовь сжигает грудь мою,
Бессмертную причину мук увидел в Гюрджистане я.

Хочу, чтоб пела мне зурна, чтоб пил вино я до утра,
Пусть буду другом всех людей, себя открою до утра.

На фаэтоне прокачусь, а ты посмотришь из окна,
Мне в сердце западет любовь с ее тоскою до утра.

Я ветру голову отдам, пройду по лавкам и садам,
Я буду хлебом и вином — пируйте мною до утра!

Найду к чужим красоткам путь, склоню к ним голову
на грудь,
И, вспомнив лик твой, буду пьян одной тобою до утра.

Духанщик пьяный, вот кто я, да в бочках ни стакана
нет,
С кем за столом я ни сидел — ни хана, ни султана нет.
Я всюду пел тебе хвалу, я песни райские слагал,
С чем только ни сравнил тебя — нет розы той, тюльпана
нет.

Всё, что имел я, — растерял, и в жизни всё мне трын-
травка,
Любовь мне преградила путь, стеснив, как море острова,
Теперь любимец общий я, как наш ашуг Саят-Нова.
Я жду приказа твоего — иного мне фирмана нет.

Духанщик пьяный, вот кто я, да в бочках ни стакана
нет...
С чем только ни сравнил тебя — нет розы той, тюльпана
нет!

95

В одной руке вино, в другой арак,
Пью за тебя, ведь я не злой, красавица,
Тоскую по любви, на сердце мрак,
Душа моя полна тобой, красавица.

Для сердца словно сон желанный ты,
Во сне мой край обетованный ты,
Шираз, от роз благоуханный, ты,
Любовь — ожог в груди больной, красавица.

В одной руке вино, в другой арак,
Пью за тебя, ведь я не злой, красавица,
Пусть в сердце эта боль оставит знак,
Пусть будет счастлив милый твой, красавица!

96

Мне звон колоколов приносит образ твой,
Как колокола звон, неповторима ты,
Весна с цветком в окно мне бросит образ твой,
Как паводок весной, спешешь всё мимо ты!

Паломник всем чужой сегодня в мире я,
Клянусь тобой одной сегодня в мире я,
Бумаги лист простой сегодня в мире я —
Как ветер гонишь вдаль его незримо ты!

98

Опять придет весна и роза расцветет,
Звук милых двух имен останется навек.
Изменятся года и люди, в свой черед,
Но соловьиный стон останется навек.

Другому соловью будить в саду бутон,
Другой ашуг придет прославить небосклон,
Что я не досказал, то завтра скажет он,
Дни — дым, но ход времен останется навек.

И тысячи цветов раскроются весной,
И тысячи очей омоются слезой,
И тысячи сердец изранятся тоской,
Ожог любви рубцом останется навек.

И для других сердец ночь ладан принесет,
Раскроется бутон, свой источая мед,
Из милых глаз слеза неволью упадет,
На камне гробовом останется навек.

Я книг до тысячи прочел, но сокровенной не нашел,
Я женщин тысячу любил, но вожделенной не нашел.

До Франгистана я дошел, каких там песен ни слышал —
Подобного Саят-Нове во всей вселенной не нашел.

Я с господами пиروвал, и с бедняками пил вино,
Но в человеческих словах я правды ценной не нашел.

Красавиц тысячу встречал и женщин тысячу любил,
Но страсти жарче, чем твоя, любви блаженней —
не нашел.

И отвернулся я от всех, пресытившись, ушел в сады,
Плода прекраснее, чем ты, я в жизни брэнной
не нашел.

Я много разных песен пел, нет песни лучше тага, брат,
Бессмертный саз Саят-Новы — ему моя присяга, брат.

И сколько б на лотках плодов купцы ни разложили,
На свете лучшие плоды из сада шахиншаха, брат.
знай —

Как ты цветы ни поливай водою чистой, ключевой,
Цветам нужней всего роса, небес рассветных влага,
брат.

Ты хоть во Франгистан иди, по главным улицам
Квартал любимой лучше всех, не делай дальше шага,
брат.
пройдись,

Увы, Чаренц, ты это знай: словам любимой ты внимай,
Нет слаще боли, чем любовь, она для сердца благо,
брат.

Довольно, хватит песни петь, тебе не надоело, брат?
И без красавицы твоей на свете много дела, брат.

Как ни рядись она в шелка, как ни румянься, всё ж она
Лишь курица, что петухов свести с ума сумела, брат.

И как бы ни был ты умен, хитер и опытен в любви,
Но сердце любящее — челн, а морю нет предела, брат.

И как бы ни был ты любим, хоть в клетку ты ее запри,
Нас женская любовь томит, сжигает дух и тело, брат.

Увы, Чаренц, ты это знай, запомни раз и навсегда:
Все клятвы женщины — капкан, что б нам она ни пела,
брат!

Певцов полно, да песен тех, чтоб сердце укололи, нет.
 Кругом веселье, но игры желанной средь застолья нет.
 Ищу я шахиншаха сад, мне без него раздолья нет,
 Ищу возлюбленной квартал, да мне счастливой доли нет.

Кому мне песню рассказать? Ни ты не хочешь, ни другой,
 Хотя не отвернулся бог от кяманчи моей живой,
 Никто не внял моей тоске и не услышал ропот мой,
 Омыть бы скорбь росой слез, да той росы на поле нет.

Эх, думаю, оставлю саз, как люди стать давно пора,
 Коль роза я — так где шипы? Им отрастать давно пора.
 С врагами надо быть врагом, зло не прощать давно
 пора,
 Чтоб, без меня садясь за стол, сказали: к хлебу соли
 нет!

Жесток и мелок человек, а мир необозрим, Чаренц,
 Пусть слово человека — яд, для сердца горький дым,
 Чаренц,
 Послушай, говорю тебе, не будешь ты любим, Чаренц,
 Пока от сердца твоего ожогов нет и боли нет!

Когда я в этот мир пришел с моей любимой кяманчой,
 «А ты, бездельник, здесь зачем? И кем ты зван?» —
 сказали мне.

Но песни пел я на пирах, желанным гостем всюду
 став, —
 «Твои слова как летний плод — мед и шафран!» —
 сказали мне.

Мне стало скучно на пирах среди бездушных и чужих,
 И я ушел. «Ты горд и зол! Ты грубиян!» — сказали мне.

Чтоб успокоить в сердце боль, я осушил вина стакан, —
 «Глядите-ка, сдурел Чаренц! Опять он пьян!» — сказали
 мне.

Зимою в стужу и метель я брел бездомный и босой, —
«Зато в душе твоей тепло в снег и буран!» — сказали
мне.

Я крикнул: «Люди вы иль нет? Вы ран не видите моих?»
— «Чаренца стойкая душа сильнее ран!» — сказали мне.

Все потешались надо мной, над тем, что беден я и гол, —
«Восторг веков тебе за то наградой дан!» — сказали
мне.

105

Сад обошли, но розы роз красы вы не заметили,
Прельстившись внешностью пустой, души вы
не заметили.

Я песней вас созвал на пир, но равнодушно вы прошли,
Из сердца в сердце бросил сеть — порыва не заметили.

Я был как нива в летний день, пока огонь мне сердце
грел,
Но, на колосья заглядысь, вы нивы не заметили.

Сестра, любимая моя, чужие люди и друзья,
Под песней человека боль в груди вы не заметили!

106

Теперь бездомный я брожу, пою, желанную зову,
Я имя позабыл любви, кто спросит — ранюю зову.

Любовь твоя, как старый шрам, в груди моей горит
огнем,
Но руку, ранившую грудь, рукой султана я зову.

Нет жалобы в моей душе, и пепел сердца моего
Бессмертной жатвою любви, мне небом данной, я зову.

103

И я покину этот мир без промедленья — и уйду.
 Не оглянись, не попрошу вознагражденья — и уйду.

Я, как ашуг Саят-Нова, давно уж понял и скажу,
 Что в мире всё — мечта и тлен, пустые тени, — и уйду.

И всё, что на земле моей горячим сердцем я любил,
 Шальному ветру я отдам без сожаленья — и уйду.

Забуду образ дорогой, любимый голос и лицо,
 С одной подушкой земляной окончу бденье — и уйду.

Вам, незнакомые друзья, далекие, как жизнь моя,
 Оставляю эти песни я, мечты, стремленья, — и уйду.

108. АРМЕНИИ

Тысячи ран видала ты — увидишь опять,
 Плен и обман видала ты — увидишь опять.

Как сжатый смертью урожай, тысячи тел
 Однополчан видала ты — увидишь опять.

Как пилигрим, ветром гоним, пашню свою
 Тысячи раз видала ты — увидишь опять.

Нарекаци и Шнорали, Нагаш Овнатан —
 Мудрых армян видала ты — увидишь опять.

Чаренцу давшая язык, сколько певцов,
 Родина-джан, видала ты — увидишь опять.

Я привкус солнца в языке Армении родной люблю,
 И саза нашего напев, его печальный строй люблю.
 Люблю кроваво-красных роз огнеподобный аромат,
 И в танце наирянок стан, колеблемый зурной, люблю.

Люблю родных небес лазурь, сиянье рек и блеск озер,
 И летний зной, и зимних бурь глухой многоголосый хор,
 И хижин неприятных мрак, затерянных в ущельях гор,
 И камни древних городов в дремоте вековой люблю.

Где б ни был, не забуду грусть напевов наших ни
на миг,
 Молитвой ставшие листы железописных наших книг,
 И как бы наших ран ожог глубоко в грудь мне
ни проник,
 Мою отчизну, край отцов, скорбящий и святой, люблю.

Для сердца, полного тоски, милей мечты на свете нет,
 Кучака и Нарекаци умов светлей на свете нет,
 Горы древней, чем Арарат, вершин белей на свете нет,
 Как славы недоступной путь, Масис суровый мой люблю!

1920—1921

ВОСЬМИСТНИЦА СОЛНЦУ

Арпик

Забросила железная рука
 Диск золотой на небо утром ранним,
 И разгорелся он подобно ране,
 Он раскаленной кровью истекал,
 Лучился, вправлен в небо голубое,
 Свой неумный расточая пыл,
 Отдачей жертвенною исходил.
 Как сладко расточительство такое!

111

Пылающее, спелое светило
Висит на небе, точно яркий плод.
Оно желаньем плоть земную жжет,
Страсть и его пожаром охватила.
Горячих уст и бедер жгуч соблазн.
Оно, вовек лишённое покоя,
Кровавых жаждет, воспалённых ласк.
Как сладко расточительство такое!

112

Как бедра девичьи, горяч и спел
Диск яркий солнца в вышине нетленной.
Мечтой со всею связан он вселенной, —
Ее мечте высокой где предел?
С горячим ржаньем чудо-кони мчат
Зелеными лугами что есть мочи.
И девушки в словах скрывают яд,
И солнце сумасшедшее хохочет...

113

Прекрасное горит, сжигая.
Горит, живому жизнь дая,
Твоя вселенная живая.
Пока ты жив — сжигай, горя.
Сгорев, остынь, зола седая.
И лучше душу сжечь не зря,
Чем тлеть, чадая и не сгорая.
Пока ты жив — сжигай, горя!

Звенят подковы золотые,
 Табун коней на солнце ржет.
 Бесстыдно девушки нагие
 Целуют солнца рдяный рот.
 Уже воспалены их губы —
 Целуют, словно, жизнь губя,
 Погаснет жар, святой и грубый.
 Приди, я так хочу тебя! ..

Я ржавчину и раны различаю
 На плоти солнца, ведь и свет раним.
 Поток самоотдачи нескончаем,
 Горячий солнца горн неистошим.
 Чем медленней горит, тем он багровей, —
 Кровавы на груди моей лучи.
 Что б ты ни делал, делай только кровью,
 Да будет с болью смех неразлучим!

Я острым, окровавленным копьём
 В твой ярко-алый щит ударил с силой.
 Теперь к чему душе моей кадила,
 К чему венки и славословий гром?
 Ты — солнце, светозарная мишень,
 Прибитая навечно к сердцу мета.
 Ты — лилия, живой источник света,
 Иного света нет в моей душе.

117

Как будто путь держу лучистым днем
По голубым полянам поднебесья,
Иду бездумен, невесом и весел,
И светлый друг со мной в просторе том.
Тот друг — возлюбленная и сестра...
Сжигает и сгорает в исступленья.
Я судьбы всех в свою судьбу вобрал.
Вся жизнь моя и чудо и смятенье.

118

Взгляни — штыки блистают золотые
На златоликом солнце, что, как щит,
Переливаясь золотом, горит.
Взгляни — штыки блистают золотые.
Как сладко кровью, солнечной стихией
Вооружаться и вооружать!
На златоликом наготове рать:
Взгляни — штыки блистают золотые.

119

Вновь восходящее светило
В тюрьме бегущих синих дней
Весь мир алмазами огней
И жарким смехом расцветило.
Тот, кто без крова, кто гоним,
Уныл и нищ, чей жребий солон,
Пусть будет ныне голубым,
Нетерпеливым и веселым!

По бедрам пламенным своим ударила, смеясь,
Рассыпался девичий смех, как золото звеня,
Раскрылись тысячи цветов, и радуга зажглась,
Сверкнули тысячи лучей в весеннем блеске дня.
В истоме колыхался зной, храня желаний яд,
И алых маков рдел ковер, как яркое пятно.
Оранжевый и красный мир горячечных услад.
Всё — ликование и восторг, что солнцем рождено.

1921

121

В то время
Как вы,
Окровавив уста,
Могли только жалобно выть,
Я солнца принес пылающий диск,
Чтоб в зурну ликованья
Его превратить. . .

122

Вы
Когда-нибудь
Видели,
Скажите,
Своими глазами, слепыми и сонными,
Зурну золоченую солнца,
Виющую летом в зените?

Внимали ли вы
Ее голосу
Очами вашими злыми, незрячими,
Когда она,
Может быть, именно вас
Звала своим звоном горячим?

Вы,
Люди,
Любовью копеечной
Сердца свои плавящие весь свой век, —
Вы слышали солнца огненную песню,
Когда солнце — зурнач Алек?
Слышали?
О, вы не слышали,
Нет!

А я —
Ваш покорный поэт,
Я —
Ваш солнцетворный поэт,
Поющий для вас,
Слышал песнь златозвучную эту
Столько раз!

Да,
Я слышал,
Я слышал. . .
Она манила меня
Из солнечных далей. . .
А вы,
Люди,
Вы понимали эту песню огня?

В знойном августе душном
Я —
Ваш покорный поэт,
Я —
Ваш солнцетворный поэт,
Видел
Вашу мычащую душу!

О, я видел,
Я видел —
Ваша душа
Была темным духаном,
Была вывеской торгаша!
Она гнулась под властью гроша.

Чтобы зной вашу голову не опалил,
Чтобы ваших сердец не коснулось пламя,
Вы скрывали лучшее из светил
Вашими
Старческими руками. . .

Горе,
Горе вам,
Слышите?
Горе всем вам!
Вам, что нежите
Мякоть сердец ваших черных!
Голове, что пуста, как пустой барабан,
Что за польза от песен моих
Солнцетворных?

Ваше черное сердце не знает, что мир
Может вдруг превратиться в бурлящую реку
Ликования,
Если хоть раз, хоть на миг,
Вы услышите высшую песню
Алека!

123. АРМЯНСКАЯ ССР

До вчерашнего дня
Ной сидел
На вершине
Снежного Арарата.

Сегодня мы спустили его,
Чтоб отныне,
Засучив рукава, чистил он хижины
Пролетариата.

Сегодня
Я стою,
Со мной
Ваш пыл,





Аго,
Мко,
Абет!
Стою на площади.
Вот я,
И ты,
И ты.
Кричу,
Кричу: давай!
И вот...
Глухие хижины,
Грязные улицы,
Солнцем выжженные...
В красной земле
Затерянные
Черные линии трасс
Разливаются бурно,
Как в наводнение,
Омывают улицы,
Вливаются через двери
Моих глаз...

Оглядываюсь вокруг —
Здесь
Пашет землю плуг.
Лемех,
На сердце мое напорясь,
Перепахивает его...
Там ткут бязь.
Он.
Она.
Он...
Где?
Передо мной
Площадь. Чайная.
Здесь женщины еще красят волосы хной.

Вот ишак —
Тук-тук —
По Астафян,
Гремят копытца.

Автомобиль
Толкает его,
Воет багрово.
Железная птица
В наирском зное
Плавно плывет.
Гудят,
Гудят
Железные крылья.
Железные крылья тянут к высотам.
Что это —
Дни ли
Кипят,
Или
Грядущее
Песням моим
Дает самолеты?

Страна моя,
Мой Аястан,
Я свои песни,
Что окрасил
Наирского солнца шафран,
И еще
Пыль грязных улиц,
И зной —
Расстилал
На просторах полей твоих
Трудовых,
Сердце свое
Превращая в зурну,
В грядущих дней барабан...

.
Страна моя,
Край солнца и пыли,
Сегодня
Я,
Идя
Со всеми вместе,
Захочешь — стану псом на цепи,
Захочешь — ничтожной мошкой в степи,
Захочешь — светлую песней...

На оранжевом
 Диске солнца —
 Вы видели? —
 Профиль мой
 Ныне
 Выбили.

Эй, вы,
 Что привыкли
 На тусклых монетах
 Видеть профили царские!
 Теперь это я —
 «Сын пролетарский»,
 Теперь мой лик
 Лучистый
 Высечен
 На солнечном диске.

Ну что,
 В гробах ваших
 Темных, заброшенных,
 Истлела душа ваша заживо,
 Когда вы увидели
 Лик мой бронзовый
 На диске солнца
 Оранжевом?

125. ГЮМРИ

*Дорогому
 Арташесу Тер-Мартirosяну,
 гюмрийскому поэту*

1

Здесь еще стенает зурна,
 Гулкий бубен по сердцу бьет,
 А душа твоя — как ни вой она,
 Всё равно безъязыкой умрет.

Ах, зурна, зурна, ах, зурна,
Желтая тоска
День за днем.
Станет жизнь твоя подобием сна,
Мир — безвыходным тупиком.

Расточись в непроглядной тени, как свет,
Жизнь в тени загуби, умри, —
Исподлобья насмешливо глянет вслед
Гюмри.

2

Обойди переулки, тоскуй, гори, —
От зурны избавленья нет, —
Желто-серый старый Гюмри
Исподлобья посмотрит вслед.

Обойди весь Гюмри, утомлен и пьян,
Пусть шатает тебя, всё равно,
На бульваре деревья канут в туман,
Усмехнется «Аполло» — кино.

Вот гюмриец Ваго, он ленив и сонлив,
Даже он потешается над твоей
Отсиявшей мечтой, что, веки смежив,
Спит в гробу на погосте дней.

Упадешь под забором, и сердце вдруг
Перестанет в груди стучать,
А Гюмри не уронит стакана из рук, —
Пей, гуляй, наливай опять!

Будут выть над тобой только песни твои,
Как бездомные псы,
И — пьяна,
Отпоет панихиду, как в забытьи,
Зурна.

126. СВИРЕЛЬ

Свирель
По улице шла,
Старая и слепая,
Песней была свирель,
Вверх взлетала
И на панель
Падала, замолкая...

И снова взлетала на миг
К звездам дорогой крутой,
И снова,
Как ростовщик,
Искала в мире... но что?

По улице Астафян
Проходила песня свирели,
Она подходила к домам,
Стучалась в глухие двери.
И люди за дверями
На миг замедляли шаги,
Но двери не открывали —
Люди хотели «ранги».

И стояла свирель сиротливо,
Опечалась, что в дом не зовут.
И снова
Косо и криво
Прыгала вверх,
Как шут...

Этот жалкий старик из Вана,
И куда он песню понес,
Долетевшую как из тумана,
Одинокую песню звезд?

О поэт, вот печальный урок —
Чтоб ненужным не было пенье,
Никогда не пой ты не в срок,
Лучше желтая смерть и забвенье.

Лучше выбрось свирель, сломай,
Как крылья, пока не поздно,
Но от жизни не улетай,
Как свирель,
С земли твоей к звездам!

127

Витрина
Дней
И событий, —
В ней
Сердце мое
Под стеклом.
Хотите —
Отдам!
Берите!

На что мне
Кровавый ком,
Как шут Кико,
Беззащитный?
Теперь у меня
В груди —
Греми,
Барабан гранитный,
Зурна из железа,
Гуди!

Не ранить вам
Сердца такого
Всей злобой своей,
Как ножом,
Когда
Вы придете
Снова
Плясать
На сердце моем.

118

1

Ни один поэт звездоглазый
 Не мечтал еще о таком:
 Солнце мира вместо алмаза
 В галстук свой мне вколоть бы днем,
 К ночи —
 Синее небо взять бы, —
 Я бы над головой понес
 Гроздь звезд,
 Как несут на свадьбу
 Винограда полный поднос.
 Властен я над ходом событий,
 Стих поэта — всего сильней.
 Я в Чека превращу —
 Хотите? —
 Паутинку души моей.

2

Ничего, ничего не знаю...
 Но дана мне сила певца,
 Страстной песни рука стальная
 Нежно гладит ваши сердца.
 Захочу — и быстрее ветра
 Стих наточенный прынет к вам,
 Чтоб, косой скосив километры,
 Полоснуть по вашим сердцам.
 Я могу оперенную словом
 Снять стрелу
 С тетивы поэм,
 Бросить наземь лук
 И в лицо вам
 Плюнуть в гнев.
 Только зачем?
 Что изменится?
 Разве не ляжет
 Камень скуки на сердце мне?
 Разве пути тоски развяжет
 Гнев мой праведный хоть во сне?

Вспыхнуть ярко сердце желало б,
Но, сломясь,
Как старый Терсит,
Смертоносной стрелою жалоб
И себя и всех вас пронзит.

3

Ну, что хочешь, что тебе надо,
Сердце песенное мое?
Вьючный скот,
Ереван-громада,
Тяжко мне твое забытье.
Канакерский склон — в изголовье,
А в ногах у тебя — Арарат.
Я люблю тебя верной любовью,
Я домам глинобитным брат,
Сонный, вьючный город мечтаний,
Я — твой раб, Ереван,
Ты — мой хан.
Словно перс правоверный — баню,
Я люблю тебя, Ереван.
Я такого чуда не помню,
Чтобы негр белокожим стал.
Как тебя похвалить еще мне,
Чтоб не ждал ты других похвал?

4

Снова, снова, снова мне снится:
Потому Ереван притих,
Что повис,
Как самоубийца,
На веревке нервов моих.
Он висит,
Он просит забвенья,
Говорит:
«Я к смерти готов».
Шар земной опоясали звенья
Звонкой цепи больших городов.

Там начищены, как гуталином,
Тротуары,
И вместо телег
Там моторы на радость витринам
Ускоряют свой плавный бег.
Светят зарева издалека мне,
Фонари унижали мосты.
У других — драгоценные камни,
Ничего у меня, сироты.
Мой Чаренц, умереть мне слаще,
Чем дремать другим не под стать.
Если ты поэт настоящий,
Помоги страну подымать.
Пусть мостами протянутся строки,
И под арками их на бегу
Прогремят столетий потоки,
Чередой впадая в Зангу.
Если можешь —
Неведомый, новый,
Полный света город построй.
Почему же без сна и без слова
Ты сидишь под беспутной луной?

Ах, луна!
А луна-гулена
В круглой шапочке с серебром
«Энзели» на площадке наклонной
Пляшет,
Ходит павой кругом.
Длится звездный пир.
Арарату
Снится сладкий сон про меня.

Ереван, грядущим чреватый,
Я люблю тебя верно и свято.
Так тянулось к Давиду когда-то
В старой песне
Сердце коня.

129. ПРИХОД ПАРА

*Снова
Арташесу Тер-Мартirosяну,
гюмрийскому поэту*

1

Слышит ли сердце ваше
Песню железа вдали
О красном грядущем марше
Завтрашних дней земли?

Повсюду, по всей вселенной
Летит она как поток,
Ее, как завет священный,
Солнце трубит в свой рог.

И вот из страны суровой
Я, старых времен поэт,
Как Роберт Оуэн новый,
Вижу грядущий свет.

По железным путям, по шпалам
Бурных дней, не сказка, не миф, —
Приближается в пламени алом
Грядущего локомотив.

Приближается, долгожданный...
А здесь ту же песню одну
Алек, гюмриец пьяный,
Еще дует в свою зурну.

2

Еще дует с обычным пылом
В зурну от зари до зари,
И внимает песням унылым
Серокаменный хмурый Гюмри.

И заслышав напев гнусавый,
С шиком, как в старину,
Из лавки Ваго величавый
Выходит послушать зурну.

Зажав серебряный пояс
Своим кулаком большим,
Он идет, и желтой тоскою
Стелет путь Гюмри перед ним.

3

Желтых
Улиц
Зевота...
И нудный
Дождь, морозящий века...
В тупик глухой и безлюдный
Зазывающая тоска.

А из мрака станция слепо
Уставилась вдаль, как бред...
И зурна поет так нелепо,
И конца ее муке нет...

Разве это — страна Наири?
Или, глупое сердце мое,
Ты не чувствуешь сегодня в мире
Тот огонь, что зажег ее?

То дыхание дней и пламя,
И машины победный гром,
Что, железными взяв руками,
Эти хижины бросит на слом?

И увязнут, как тина в болоте,
Исчезая за стройкой страны,
И Алек в его пьяной дремоте,
И напев его желтой зурны...

4

И зачем он дует всё пуще —
Иль не видит ослепший взор,
Что в пламени бурь грядущих
Победит горячий мотор?

И что вместо его нетрезвой
Жалкой песни, как с похорон,
Завтра всюду песня железа
Свой суровый рассыплет звон. . .

Завтра вместо зурны непотребной
Пар придет, чтоб огни зажглись,
Электричества блеск волшебный,
Как душа его, прынет ввысь. . .

Он придет, он придет непременно,
И ударит железа звон
В эти серые крыши и стены,
Вековой прогоняя сон.

Уж он подал рукою властной
Пробуждения первый знак, —
Вижу лик его светлый и ясный,
Вижу взор, как горящий флаг. . .

5

Ну, а ты, певец тьмы и боли,
Хмурой осени — что ты поник?
Почему туману позволил
Замутить себе сердце и лик?

Или сердце твое остыло?
Или, точно сорняк с полей,
И тебя сегодня скосила
Коса невозвратных дней?

Ты к земле, точно плод перезрелый,
Прижался горячим лбом
И позволил, чтоб вихрь оголтелый
Плевал на тебя дождем.

Почему? Или, полный печали,
Нынче ты — наш Алек-зурнач,
Что мечтаешь о прошлой дали,
Исторгая из сердца плач?

Жалкий шут! Или ты в бессилье
Позабыл, что грусть — это снег,
Что она на холодных крыльях
Не домчит тебя в прошлый век. . .

Нас Грядущее ждать не заставит,
Знаю я, и тебя в свой срок,
Хохоча, как Алека, раздавит
Тот железный глухой поток.

130. ВСЕМ ПОЭТАМ

Вам легко,
Любовь любить вас зовет.
О любви,
Превратив свои легкие в трубы,
Вы трубите.
Представится повод — полюбите и завод,
Представится повод — и борьбу полюбите.
А я — трибун,
А я — мятежный —
Плевал
На весь этот лепет нежный.

Вы пели о любви
Еще вчера.
О том, как прекрасны и луг и речка.
Но... Октября пришла пора,
И высохла ваша «речка».

Наступил Октябрь.
Чтоб разлиться непобедимо,
Ему воля и мускулы
Необходимы.
Октябрь
Фронт масс
Противопоставляет старью,
Берет нас за горло,
Гонит на стройку свою.

Слышишь ли,
Эй,
Ты!
Шины производн
Или мости мосты,
Или тори пути.
Бесполезно
Девушек воспевать,
Лучше продукцию
Выдавать.

Те простые люди,
Что Октябрь открыли,
Очень правильно говорили:
Сперва дай хлеба —
Без пищи невмочь,
А потом дойдем до звездного неба,
До того,
Как прекрасны
Розы,
Речки
И лунная ночь.

Обыкновенно?
Давно знакомо?
Стерто, как пятак?
Да, знакомо, как аксиома:
Так было,
Так есть,
И будет так.

Вы понимаете это?
Никакого Парнаса.
Даже пролетпарнаса.
Никаких поэтов,
Даже пролетпоэтов.
Это так.
Это так.
Песня — это песня
И ничего кроме,

Даже если поешь
О машинном громе.

Хоть сочини пролетсонет,
Толку в этом особого нет.
Лучше блоху пасти,
Чем рифмы трясти.
Нет ничего бесполезней,
Чем кормить заводы песней.

Нас родили
Не небо,
Не ветер,
Не птица.
На обычной земле нам пришлось родиться.
Завод,
Земля,
Улица,
Поля.

Динамит Октября
Не в песне взрывается.
В поле,
В жизнь,
Во двор
Настежь дверь открывается.

Эй, вы,
Певцы разномастные,
Слышите?
Когда же ваши песни
Утишите?
Отбросьте прочь ваши свирели!
Прекратите трели!

А для меня —
Солдата,
Трибуна,
Большевика —
Лучше пойти в агитпункт,
В Чека.

131. III ИНТЕРНАЦИОНАЛ — РКП

Вставай!
Пойдем
Из Армении в Тагил,
В Лондон,
В Тунис,
На Дунай, на Дон.
Наша сила — миллионы сил.
Наш тоннаж — миллиарды тонн.

Наш пароход — из воли и стали.
Наш пароход — это мы.
Наше динамо — миллиарды встали,
Лучатся среди тьмы.
Кто на пароходе — всегда готовы!
Кто на пароходе — не спит никогда!
Еще буря ломает швартовы.
Еще берег — далек,
Близка — беда.
Вот он, берег Лозанны и Рура,
Но, буря, прислушайся, угомонись:
Имя парохода — диктатура.
Рейс: отсюда в коммунизм.

Ничто не устоит пред нами.
Бог одних старух

обманом напитал.

А религия пройдет

божественными снами.

Веруем мы только в «Капитал».

Марксом вычисленный рай —

Коммуна!

Мы дождались твоего кануна.

Электрификация плюс власть советская —

Коммунизма формула

отчетливая, веская.

Нас нашел Октябрь и окрылил,

Выковал

Оружье наше он.

Наша сила — миллионы сил.
Наша масса — миллиарды тонн.
Он связал Дунай с Индокитаем!
С Октябрем
Ширился, мужаем, вырастаем —
С каждым днем.

Волей, тараном,
Мышцей тугою
Был Октябрь.
Бомбой, барабаном
И призывом к бою
Был Октябрь.
Октябрь — шрапнель.
Октябрь — пулемет.
Октябрь прозвенел:
В поход —
Там крови бастионы,
Мороза цитадель.
Вперед же, миллионы
Трудящихся людей!

Встал
За рядом ряд.
Пошел,
Победил
Пролетариат.
Противится кто нам
До сих пор?
Любым Керзонам
Дадим отпор.
Шелест крыл Москвы
Слышен в Ереване.
Слышен в Тегеране
Шелест крыл Москвы.

В Перу,
В Руре
Слышен шелест крыл.
В Сингапуре!
Гималаи он покрыл!

Держи свой порох сухим,
товарищ.
И мы победим!
Победим, товарищ.

Третий Интернационал — наше знамя —
С нами.
РКП — наше единство —
С нами.

132. ЛЕНИН

Всем, всем, всем... Радио. Москва. Кремль. ...Скончался Ленин.
--

И — за сообщением вслед:
— Что?
Телеграммы?
Скорь?
Траурное оцепенение?
— Нет, нет!

Траур уперся в горло —
Окаменелый ком.
Вместо него — наружу —
Только вот этот гром:
— Не подходите!..
— Не верьте!..
Тысячи, тьмы,
Нет, больше —
Нас, презирающих тление,
Славящих ленинское бессмертье —

-Lennin!

— Lenin!
— Ленин!

Сколько великих, вышедших
Из человеческих глубин?
Сколько? Не счесть!
Кромвелей сколько и Ганди
Было, есть
И родится на свет? . .

Между тем как
Ильич — один.
Другой Ильич — вряд ли. . .
Другого — нет!

Класс
Из века в век
Творил Ильича.
Класс из века в век
Создавал ткань
Из нитей, живших вразброс.
Внес крупицу свою
В мозг Ильича
Даже и тибетский водовоз.

За нервом нерв,
За волокном волокно
Классу в дар приносили
И мы, и вы.
Класс брал
У меня — нить,
У тебя — волоконце одно
И отдавал Ильичу:
Творил ткань
Наисложнейшей канвы.

И — что?
Ильич
Скончался?
Или — нем?
Или — в памяти лишь?
Нет, пролетарий!
Ильич в тебе,

В нем,
Во мне.
Есть Ильич!

Есть класс!
Класс простер Ильича, как девиз.
Противопоставил старому
Ленинизм!

Эй, вы!
Рокфеллер, Морган и К^о,
Слышите шаг поколений?
Мы придем еще, слышите!
Придет еще Ленин,
Чтоб войти во Всемирный
Совнарком!

РУБАЙАТ

133

Ты есть, ты дышишь, ты живешь: промчится миг — и ты
другой.
В былое канет явь — и что ж? Промчится миг — и ты
другой.
Пусть, как зерно, твой день умрет: родит ведь завтрашний
он день.
Вот так по жизни ты идешь. Промчится миг — и ты
другой.

134

И жизнь, и смерть — всего одно мгновенье,
Неистошимо пламя истощенья,
Мир вековечный не мигнет, мигая,
И неизменно только измененье.

135

О, пей, пей жадно, до изнеможенья,
Пей непрерывно это истощенье,
Потерянное вновь себя находит
И, находя, свои теряет звенья.

134

Смотри: перед тобой река, она течет и течет.
 Хоть неизменен для тебя поток струящихся вод,
 Она другая что ни миг. А слава твоя, чудак,
 О вечном памятнике сны лелеет из года в год.

Прошел по городу один прохожий,
 Ушел, не возвратился... Ну и что же?
 Не он, а я смотрю на этот город,
 По-прежнему красивый и пригожий.

И улыбаешься себе ты в миг любой,
 И утверждаешь сам себя улыбкой той,
 И терпишь поражение, побеждаешь,
 Но остаешься ты всегда самим собой.

Ты пишешь золотым пером, твое премудро слово,
 С собой прощаешься, потом себя встречаешь снова.
 Как этот дом ни разорь, добра не исчерпать,
 Твоя душа всегда полна веселья огневого.

Был гением, титаном Искандер,
 Смешал народы, страны Искандер.
 Но если б в мире не было движенья,
 Не поднял бы стакана Искандер.

Идет по улице богатый. Ах, до чего самодоволен!
 Презренья полон рот разжатый. Ах, до чего
самодоволен!
 Глупец, понять он разве может, что смерть его повсюду
рядом
 И он падет, внезапно смятый?.. Ах, до чего
самодоволен!

В парадную входили дверь — и раем считали дом.
 Мы думали: сам бог воздвиг из камня и стали дом.
 Вошли мы через черный ход и поняли: это мы
 Тюрьму воздвигли для себя, и вот — разметали дом.

Сказал богатый дервиш, что сон мгновенный — жизнь,
 Бессмысленная греза, игра вселенной — жизнь.
 А ты руками двигал? Работал ли в поту?
 Тогда ты, верно, знаешь, как драгоценна жизнь.

Богатым не был никогда — всю жизнь трудился ты.
 Твоя рука сильна, тверда, — всю жизнь трудился ты.
 Преображаешь землю, мир, чтоб жизни урожай
 Собрать, как подойдет страда, — всю жизнь трудился ты.

ЭПИЧЕСКИЙ РАССВЕТ

(1926 — 1930)

И музе возвращу я голос,
И вновь блаженные часы
Ты обретешь, собирая колос
С своей несжатой полосы.

Н. Некрасов

Памяти Ареник Чаренц

148. К МОЕЙ МУЗЕ

Ты девушкой простой была сначала,
Придя к закату сумрачного дня.
Дождь беспросветный моросил устало,
Луна свой свет порою источала, —
И жил я без священного огня.

И нежила меня ты лаской нежной
Сомнамбулы, вступившей в лунный круг.
О грезах спела сердцу безутешно,
Из лиры, гибкой, как тростник прибрежный,
Больной и слабый исторгая звук.

Была ты бледной, — луч зари прощальный, —
Твои уста не опаляла кровь.
И ласки наши были так печальны;
Как страсть сомнамбулы, сентиментальна
Была твоя бесстрастная любовь.

Откуда мог я знать тогда, что в венах
Твоих, таких безжизненных, бурлят
Потоки крови женщин вдохновенных,
Сражающихся в бурях неизменных,
В огнях неугасимых баррикад?

Что ты раскроешься иному миру,
Как солнцу раскрывается цветок,
Что каждый звук твоей печальной лиры
Прошедший век, жестокий, злой и сирый,
Одной тоскою лишь наполнить мог?

И, может быть, ты умерла б со мною,
О пламени тоскуя под дождем,
Когда б тебя не сотрясло грозою,
Когда б тебя дыханье буревое
Не обожгло живительным огнем.

И вдруг навстречу утру, в гулах грома,
Воспрянула ты, мощных сил полна;
Эпохи знойной вихрями влекома,
С трубой борьбы ты встала — незнакомой,
Обновлена и преображена.

Дни прежние проклятью предавая,
Столь мертвые, покорные судьбе,
Идя в рядах на приступ, — молодая,
Как амазонка, новая, иная,
Ты затрубила к бою и борьбе.

Ты, как борьба, была тогда прекрасна
И, как борьба, ужасна и грозна.
Во мне твоя звучала песня страстно, —
Она гремела в даях полновластно,
Как песня, что победой рождена.

В тебе, чудесной, страсть ветров кипела,
Ты юною, ты молодой была;
И весело, и радостно ты пела,
И в завтрашнее вера без предела
На бой гремящим голосом звала.

И юною и бодрой ты сквозь дымы
И сквозь огонь везде прошла со мной.
Твой голос пел и звал неутомимо, —
С энергией, ничем не угасимой,
Он пел, пока не прекратился бой.

В тумане дней, мне преданная вечно,
Родная лира, песнь, жена моя!
Ты, как сестра, была со мной сердечна,
Чиста и лучезарна бесконечно, —
Но в чистый лик однажды плюнул я. . .

Я изменил однажды в ночь с холодной
Любовницей, которая, пленя
Мой слух мечтой железной, мне угодной,
Без страсти и любви, — в другой, бесплодный,
Железный мир умчала бы меня.

Твое дыханье чистое, живое
Бетоном захотел я заменить,
Чтоб вместо сердца — колесо стальное. . .
И, распроставшись навсегда с тобою,
Певцом вещей в бесстрастном мире быть.

Исполненный ребяческого пыла,
Я вещь избрал невестою своей.
И песнь моя лишилась чар и силы,
И голову окутал мрак унылый,
И заблудился я в тюрьме вещей.

Я сердцем оторвался от земного,
По жилам тек, смешавшись с кровью, хмель.
И я блуждал, лишенный сна и крова,
И, падая всё ниже, падал снова,
Утратив и энергию и цель.

Не смог твое пронести я имя с честью —
Его, как знамя гордое, храня.
Вокруг сомкнулось черное беззвездье,
И понял я: то ты с мечом возмездья,
Суровая, преследуешь меня.

И выл я так, как в ужасе и муке
Предсмертно воеет обреченный зверь.
И простираю к тебе я в страхе руки,

По твоему дыханию, в разлуке,
По твоему огню томясь теперь.

И так, как ловят воздух, умирая,
Грызая подушку, на которой кровь, —
Так при смерти, терзаемый без края,
Свой дух огнем страданий очищая,
Я ждал, что ты ко мне вернешься вновь.

И ты пришла, мои услышав зовы, —
Тягчайший путь преодолела ты.
И с тяжело литою лирой снова
Стоишь ты рядом, — но теперь суровы
Упрямые и строгие черты.

И нет в тебе той легкости беспечной,
Как в прежней амазонке молодой.
Хоть не остыл еще твой жар сердечный, —
Стоит свирепо, словно призрак вечный,
Забота над твоею головой.

Кипит вокруг опять борьба с врагами, —
И надо быть еще упорней в ней.
И новое оружие, вздувши пламя,
Ковать для этих беспощадных дней,
И надо стать тебе еще упрямей,
И бдительней, и зорче, и сильней.

Ты будешь петь, служа, как прежде, верно,
Обильным потом оросив чело, —
И, словно плуг простор полей безмерный,
Сегодняшнюю мысль ты вспашешь мерно,
Покуда время бури не пришло.

Наступит час — ты вновь без размышленья,
Как коммунарки прежнюю порой,
Грозогремящей лиры вторя пенью,
С величественной песней наступленья,
Со мной бесстрашно рядом станешь в строй!

И лишь паду я, в сердце пораженный,
Умрешь и ты с улыбкой близ меня.
Погасшая, замолкнет лира сонно,
В последний раз победно и влюбленно
Приветом жизни будущей звеня!

1930
Ленинград

ОДЫ И РАЗДУМЬЯ

149. ПЕСНЯ БОРЬБЫ

Это была моя душа, певшая
песню своего восхождения, а я
смешной рыцарь думал, что
это пел я...

Эдгар По

Вперед, мечта, мой верный вол!

Валерий Брюсов

1

Словно путник, что подъем опасный
Совершает узкою тропой,
Ты однажды, в зимний день ненастный,
Начал путь свой, грозный и прекрасный,
Трудный путь, бесстрашный подвиг свой.

И повел тебя к орлиной круче
Этот тяжкий, каменистый путь.
Над тобою извергались тучи,
Снег хлестал в лицо тебе и в грудь.
Сколько раз ты падал, истощенный,
Камни скреб, и все-таки опять,
Весь в крови, вставал непобежденный,
Чтобы снова падать и вставать.

Много, много было их — падений,
Взлетов, завоеванных высот,
Но святое пламя восхожденья
Всё звало, звало тебя вперед.

Это пламя сердце согревало,
И, его огнем озарена,
Мелких чувств душа твоя не знала, —
Свет, любовь несла в себе она.

А когда со дна ее порою
Поднималась ненависти муть,
И сомнение черное, глухое
Тяжким камнем падало на грудь, —
Мужеством стальным, горячей верой,
Волей ты умел их побеждать,
Чтобы малодушие пылью серой
На сердце не смело оседать!

Так, в борьбе суровой, ежечасной,
Внутренним сжигаемым огнем,
Совершал ты подвиг свой опасный,
Свой крутой, неслыханный подъем.
И, беря вершину за вершиной,
Вечной жаждой поисков ведом,
Не давал себе на миг единый
Отступить, помыслить о другом.

И когда, вконец путем измучен,
Чуть живой, израненный подчас,
Отдыхал ты где-нибудь на круче,
Опустив глаза, не шевелясь, —
Люди, те, которые не знали
Ни подъемов, ни больших страстей,
Мертвецом тогда тебя считали,
Втайне смерти радуясь твоей.

Вот и нынче: больно ноют ноги,
Тяжело, неровно дышит грудь.
Ты на камни острые дороги
Опустился, чтоб передохнуть, —
А они твоей нелегкой славе,
Что тревожит пошлый их уют,
Вновь заупокойную гнусавят,
«Аллилуйя», злобствуя, поют.

Но страдать от злобы их не станет
Тот, кто сердцем истинно велик.

Ты спокоен: пусть себе шаманят, —
Новых круч сегодня ты достиг.
Вскоре ты опять расправишь плечи
И, готовый к мукам и борьбе,
Окрыленный, двинешься навстречу
Тяжкой, но святой своей судьбе.

2

И опять подъемы пред тобою,
И опять вокруг поют века,
И опять дыхание земное
Нежит и пьянит тебя слегка;
И опять ты одинок; и снова
Тишина в ушах твоих звенит,
И, как щит, расплавиться готовый,
Солнце поднимается в зенит.

Солнце, небывало золотое,
Огненной пылая красотой,
Радостно всплывает над тобою,
Над твоей последней высотой.
Вот она: заснежена, вихраста,
Словно крепость из камней и льдин. . .
Взяв ее, вкусишь в последний раз ты
Сладость покорения вершин.

Встань же! Отряхни с души усталость,
Вниз с улыбкой светлой посмотри,
Где земля родная распласталась
В первых бликах брезжущей зари, —
И вперед! Пусть трудностям нет счета,
Пусть в крови душа твоя опять,
Но по теплой сытости болота
Не дано ей в жизни тосковать!

Видишь, там, на склонах, у подножий,
Где костры виднеются, вдали,
С помыслами мелочными схожи,
Узенькие тропки пролегли.
Бродят там на пастбищах отлогих
Люди и ленивые стада. . .

Но на узость троп своей дороги
Ты не променяешь никогда.
Пусть иной окольную тропинкой
Пошлых благ и почестей достиг, —
Ты, как воин в честном поединке,
Отступать и трусить не привык.
Так иди ж бесстрашно, непрестанно
Раз тобою избранным путем!
Пусть кровоточат и ноют раны,
Пусть неодолимо крут подъем,
Пусть чревато гибелью паденье,
Пусть порой сомненье в плен берет, —
Пой упорно песню восхожденья:
Твой удел — идти всегда вперед!
Если ж в этой схватке величавой
Упадешь ничком на скользкий наст, —
Как бойцу, погибшему со славой,
Почести метель тебе воздаст.

17 сентября 1929

**150. Я ТЕПЕРЬ НЕ ТОТ
ОТВЕТ МОИМ НЕДРУГАМ**

(Лирическая ода)

Может, песни были неплохие, —
Но не улеглась еще тогда
Песенная пылкая стихия
В русло повседневного труда.

Е. Ч.

О чем шипите за моей спиной
Вы, подлостей и козней мастера?
Не совладать, пожалуй, вам со мною:
Мой дух сегодня тверже, чем вчера.
И если, твердость эту разумея,
Я говорю, что я теперь не тот, —
Так, значит, стало глубже и прямее
То русло, в коем жизнь моя течет.

Была река из песен буйной, пенной,
Неслась, плеща, — кто сколько хочет, пей!..
И хоть душа осталась неизменной,
Теченье нынче — медленней, скупей.

Не измелъчал и не ослаб мой голос,
Но прежней расточительности нет.
Так тяжелеет в поле спелый колос,
В себя вобрав по капле сок и свет.

А ветер чувств моих, тот звонкий ветер,
Который с ног валил меня порой?
Он, так же молод, но спокоен, светел,
Теперь не полетит на зов любой.
Уж сердце вдаль, дорог не разбирая,
Не мчится с буйством дикого коня:
В моей руке — рука, навек родная,
Любовь и мудрость в сердце у меня.
Постиг я, что в потоке дней бурливом
Никчемным может стать певучий пыл:
Одним лишь вдохновением, порывом
Никто, наверно, всходов не взрастил.
Не захлебнусь в бесформенной пучине
Страстей и чувств: смирил их навсегда!
Озарено лицо мое отныне
Спасительным огнем — огнем труда.

И вот я к полю, к шелестящей шири,
Иду, как жнец, — страда моя пришла!
Трезвона не слышать уж в медной лире:
Она от мыслей стала тяжела.
А солнце высоко уже — в зените. . .
И столько предо мной несжатых дум,
Полузабытых замыслов, открытий,
Что я и в этой радости угрюм:
О, сколько порастрачено задаром
Весенних дней, бесценных зерен, сил!
С каким же мне теперь работать жаром,
Чтоб наверстать всё то, что упустил?
Не сеял, а сорил я семенами;
И все-таки — как много проросло. . .
Так пусть теперь труда святое пламя
До поздней ночи жжет мое чело!

Работа есть, — для всех найдется дело
У возрожденной родины моей:

По ней эпоха вихрем пролетела —
И стать железной повелела ей.
Родной земли иссохшие морщины
Дыханьем Ленина распрямлены, —
И вот уже гудят, гудят машины
Из пепла вставшей молодой страны.
Рассвет неокровавленный, лучистый
Я первый возвестил в родном краю, —
Я в небосклон, торжественный и чистый,
Как ласточку, вздымаю песнь мою.
Она в цепи веков и поколений —
Как некое звенящее звено,
Которым чудо будущих свершений
Вот с этим утром добрым скреплено.

Но, будущему песней салютуя,
Я нынче не о нем готовлюсь петь:
Другие думы, как полки, веду я, —
Дрожит, гудит под ними лиры медь.
Хочу я в настоящее всмотреться,
Вбежать в него сквозь заревой туман —
Чтобы хлестнул, бушуя, прямо в сердце
Тысячецветный этот океан.
Он, только он мне нужен для распева —
Чтоб клокотал, ревел вокруг меня,
Терзаясь от любви, кипя от гнева,
Колоколами всех страстей звеня!..

Веди меня, дорога, вверх, по кручам!
Я не один — с поэзией вдвоем.
Плечо к плечу, в содружестве певучем,
Мы с ней с дороги этой не свернем.
И если даже будет слишком круто,
И выси будут слишком далеки,
И вздумается средь пути кому-то
Вонзить в меня змеинные клыки, —
Не сможет никакая сила в мире
Меня из века вырвать моего!
Ему отдам — ему и светлой лире —
Всю жизнь мою, всю суть, всё естество.

1929

151. ДАШНАКАМ
(Политическая ода)

О чем шумите вы?..

А. Пушкин

О блюдолизы жалкие!.. А ну,
Порадуйте-ка вновь своих хозяев —
Охрипните, еще разок облаяв
Мою неколебимую страну!
Еще разок нам гибель предскажите
В холуйском ослеплении своем;
Еще разок от злобы подрожите,
Узнав, как хорошо без вас живем...
Вам не понять нас. Мы вас — понимаем.
Вы здесь кормились кровью и золой —
И как теперь не захлебнуться лаем
Всей вашей желтой своре, алчной, злой!
Вы, рыцари насилья и наживы,
Поклонники пожаров и свинца,
Пожалуй, лишь одним сегодня живы:
Непониманьем своего конца.
А ведь еще вчера с упорством рьяным
Кровавили вы грудь родной земли,
Вы край мой чуть в ярмо не запрягли,
Служа своим — да и чужим! — тиранам.
Оружье ваше — ложь, жестокость, грязь.
Вы подняли его, царям в угоду,
Когда еще едва-едва зажглась
Заря великой битвы за свободу.
Еще не морем было — лишь рекой
Народное восстанье... Но не вы ли
Взялись его душить своей рукой,
В резне и в розни черной потопили?
И разве в пушечный голодный вой,
Который крови требовал солдатской,
В окопы, в бравый марш к могиле братской
Не вы народ погнали трудовой?..
О, да! — и впрямь достоин удивленья
Борьбы упорной вашей долгий путь —
Борьбы за то, чтоб деспотам вернуть
Потерянные вдруг бразды правленья.
Заслуг былых у вас не отберем:

Любой ваш план, и ход, и шаг ваш каждый
Проникнут был заботою о том,
Чтобы народ мой, будучи рабом,
Был оным не единожды, а дважды!

Так кто же — уж не сам ли сатана —
Вас держит в заблужденье смехотворном,
Что кланяться с раскаяньем покорным
Должна вам гордая моя страна?!

Неужто говорите вы всерьез,
Что вам доверить должен бы по праву
Свое наследство, и судьбу, и славу
Народ, который в щепки трон разнес? . . .
О, вы и впрямь вопрос решали сложный,
Когда народ взрывался, не стерпев:
Как бы направить по дороге ложной
Его бунтарский благородный гнев?
Армянских ли, иных ли — всех на свете
Господ, владык мы сбрасывали с плеч, —
А вы в свой темный замысел, как в сети,
Величественные порывы эти
Всегда старались хитростью вовлечь.
Мы через грозовую шли стремнину,
Сердца и думы очищая в ней, —
А вы нас к бездне, к тьме прошедших дней
Толкали, что ни шаг, ножами в спину.
Однако не смогли столкнуть. . . И вот
К венку победы нашей лучезарной
Вы тянетесь теперь рукой коварной.
Нет! Он к шакалей морде не идет!
И не смешны ль сегодня ваши вопли
О независимости, о борьбе?
Ведь вы увязли, вы почти утопли
В грязи, в своей предательской судьбе.
А нам дорога — к чистым, светлым высям;
Дышать легко в Армении сейчас!
Мы старое крушим. Мы не зависим
Ни от царей всех марок, ни от вас.

Моей земле, издревле знавшей рабство,
Как и рабам любой другой земли,

Впервые солнце правды, воли, братства
Октябрьские вихри принесли.
И в тех лучах — прямых, открытых, ясных —
Нам стало и понятней и видней:
Таких, как вы, заклётых и опасных
Нет ворогов у родины моей!
Но наш ответ вам тверд и неизменен:
Ни крики, ни штыки не преградят
Дороги нашей, по которой Ленин
Повел к победе пролетариат.
Шумите, войте, сколько вам угодно, —
На нашу землю бед вам не навлечь:
Навек мое отечество свободно,
Навек пред ним бессилён ржавый меч.
Сегодня движет время наша сила,
Весь мир рабочий с нами заодно!
Впервые землю светом озарило, —
И ваша в нём забудется могила,
Как темное, бесславное пятно. . .
Мы здание такое воздвигаем,
Чтоб от него лучи — на все края!
И, в будущее веря, песнь моя
Со звоном вьётся над родимым краем. . .

Май 1929

152. ПОСЛАНИЕ ИЗ БРЕВАНА ДРУГУ-ПОЭТУ

Тебе пишу я вновь, мой друг,
Большой, неведомый поэт, —
Пускай стиха размерный звук
Вдвойне мой выразит привет!
Я рифмой пользуюсь простой,
И в ямбе ритм прозрачен стал.
Пишу с внезапною тоской,
Как Пушкин Дельвигу писал. . .

Теперь спокоен я душой,
И мысли ясные чисты,
И удивительный покой
Сошел во все мои мечты.

Но всё же разум не поймет,
В чем изменился облик мой, —
Души ль геройской это взлет
Иль просто возраста ярмо?

Я тверже, собраннее стал,
Расставшись с грузом мелочей. . .
Я снова Пушкина читал
В рабочей комнате своей.
Читал я. . . и лучи стиха
Мне в душу радостью лились. . .
Непревзойденный великан,
Как солнце, он поднялся ввысь!

И Александра прочитав,
Я снова понял, почему
Как памятник в людских сердцах
Стоять предрешено ему.
В туманный горизонт веков
Не погружаясь никогда,
Он блещет, бесконечно нов,
Лучист и ярк навсегда.

И раз мне отвечать пришлось,
Каков до сердца песни путь, —
Мой стар ответ, как стар вопрос:
Дыханьем времени ты будь!
И каждым нервом привяжись
К эпохе, к веку, к нашим дням,
*Люби всегда живую жизнь
И лире сам не изменяй!*

С эпохой слиться — в этом суть.
Среди бесчисленных путей
Едва ли есть труднее путь
В его сложнейшей простоте.
Но есть других поэтов род:
Горланят эти напоказ, —
Мол, век во мне тревогу бьет
И страстью закипает класс!

К стыду, — о том не умолчу, —
Я так же думал, но сейчас,

Взяв лиру ясную, хочу
Воспеть тебя, рабочий класс,
А не болтать, как те... хотя...
И не вздохнуть я не могу —
Жилось без горечи, шутя,
Легко я добывал деньги!

Да что там! Посмотри вокруг,
Те — трубачи — на всех углах,
Стихами раздирая слух,
Кричат о доблестных делах.
Они кричат и день и ночь,
Поэтов армии сошлись.
Но где же песни? Сбились с ног,
А перед нами — серый лист!

Да, наше войско велико —
Бойцами всех бы сделать нас,
Мы брали б города легко, —
Но песни пишем мы сейчас...
Поем любовь мы горячо,
Предчувствуем полет стиха...
Но в песнях не звучат еще
Ни страсть, ни мысль, ни жизнь пока!

Мы пред тобой, великий век,
Косноязычьем сражены...
Мы создали свой новый свет,
Но мы не песнями сильны
И написали до сих пор
Всего прелюдию, поэт,
К поэмам, к тем вершинам гор,
Которым удивится свет.

Не верь самодовольным ты
Поэтам, пусть им нет числа, —
Они собой лишь заняты,
Всегда взаимна их хвала...
Ничтожным кажется совсем
Грядущее, но не суди
О нем сквозь призму их поэм,
Геройский век, поэта жди!

Поэт великий к нам придет,
Его мы не напрасно ждем,
Героев наших воспоем
Высоким, пламенным стихом.
В его поэмах зазвучит
Дыханье века, мощный звон;
В сердцах огни воспламенит
И лире не изменит он.

Наш век, огромный, буревой,
В грозе родился и гремит,
И Ленина перед собой
Несет, как исполинский щит.
Где тюрьмы высились вчера,
Где были кладбища рабов,
Там веют вольности ветра,
И людям новый путь готов.

Бескрайна новой жизни ширь, —
Над ней проходит ураган.
В бою, который всё решит,
Шумит житейский океан.
Друг против друга поднялись
Два класса, словно две горы,
И, троны сбрасывая вниз,
Возникли новые миры.

Как океан, вздымает грудь
Наш век — век пламенных идей,
И люди новые живут
В заботах, в радостях, в труде.
Здесь каждый ныне жизни рад,
Весенних вод бурлит поток.
И страсти шумные не спят,
И в сердце тысячи тревог.

Но пламя этих чувств живых,
Поэты, не пылает в вас!
Герой бескрылый ваш поник,
Он одноног и одноглаз.
В его груди, между костей,
Орган как будто укреплен,

И крики радости, страстей
Бездушно изрыгает он.

Наверно, согласишься сам,
Что в наш великий, грозный век
Просторно чувствам и страстям,
Богаче ими человек.
Подумай, что в огне годов
Он чувствовал, переживал,
Какую он узнал любовь,
Какою радостью сиял!

Октябрьские он видел дни,
Уничтожение врага,
Восстаний годы перед ним
Промчались, словно ураган.
Он видел шествие побед,
Монархии он видел крах,
Он видел Ленина завет
В незабываемых делах.

Как сложен многогранный век!
Пройдя сквозь огненную новь,
Живым остался человек,
Пронес и сердце и любовь.
Осмелся — ты, поэт! Воспой,
Проникни в мир его до дна!
Но песни нет еще такой. . .
Ей лира Пушкина нужна.

Ей лира Пушкина нужна!
И вместе с лирою живой
Его размах и глубина,
Душа высокая его.
И нужен Александра ум,
Чтоб в споре злободневных дел
Презрительно отвергнуть шум,
Чтоб стих, очистившись, звенел.

Чтоб гула будничного тлен
Грядущее не заслонял,
Чтоб дух не сдался шуму в плен,
Как тот бряцающий кимвал,

Чтоб видела душа сквозь тень,
Что прошлое навек ушло
И что большой грядущий день,
Немеркнувший, горит светло!

И скоро наш поэт придет,
Его мы не напрасно ждем!
Героев новых воспоеет
Высоким, пламенным стихом.
В его поэмах зазвонит
Дыханья века мощный звон.
В сердцах огни воспламенит
И лире не изменит он...

.

Окончил. Тьма стоит в окне,
И ночь берет свои права.
Летит на голову ко мне
Минервы мудрая сова.
Спокоен в сердце крови ток,
Во мне сомнений больше нет.
Прими звучащих слов венки,
Мой друг, и с ними мой привет!

1929
Ереван

153. ПОСЛАНИЕ ИЗ ЛЕНИНГРАДА АКСЕЛЮ БАКУНЦУ

..Наперебой

Поэты читают и пишут,
Что, дескать, кто умер — заменим того,
Напрасно, мол, тучи нависли,
Что близко рабочее торжество...
Какие богатые мысли!
Оставив невыгодность прочих дорог,
На светлом пути коммунизма
Они получают копейку за вздох
И рубль за строку оптимизма...

Михаил Светлов, «Клопы»

Мой милый друг, поверь, к тебе я не остыл,
Блуждаю вдалеке и вспоминаю снова,
И, вдохновясь, пишу: перед тобой листы
Лирических стихов. На берегах суровых,

Холодных, северных, где небеса свинцовы,
Жизнь беспримерная кипуча и нова.
Лишь в русле вековом безбрежная Нева
Громады серых вод в неведомые страны,
Величественная, относит неустанно.

Развратникам-царям был этот город дан,
Свистели здесь кнуты, обычный дар холопам
Из рук всевышнего. Князья блудливым скопом
Коснели, сонные, как северный туман,
Беспутные дворцы в притоны превращали;
Тут сотни виселиц в кромешной тьме торчали...
Теперь в его стенах кипит иная жизнь, —
Чудеснейшая жизнь! Иными стали нравы.
С единой волею, со всех концов державы
В одушевлении рабочие сошлись.
Нет городов других, ему подобных в мире,
Нет бодрости такой, и нет размаха шире!
Ты лица строгие увидишь здесь вокруг:
Обычные черты преобразились вдруг,
Возвышеннее стал и уровень стремлений,
Прямой императив растущих поколений.

.
Здесь множество людей, простых и настоящих,
С чеканным профилем, уверенно хранящих
Несокрушимого решения подъем,
Увидел я в труде, над голубым огнем
Пылающих печей. Я убедился в том,
Как свой энтузиазм — настойчиво, любовно —
Под равномерный шум, в решительной борьбе
С инертным веществом проносят неуклошно
Они сквозь день и ночь, идя путем побед.
Я очарован был тревогой жаркой. Сразу
Я понял: человек не только гнул металл, —
Горячую любовь горячий плуг внушал,
Крепя в огне труда и силу мышц, и разум.
В театрах радужных, на митингах живых
Или на отдыхе я наблюдал их часто, —
И снова дух борьбы и строгость воли страстной
Я обнаруживал во всех поступках их.
Я в их глазах читал, что сам великий мастер,
С заботливым лицом, ведет их за собой,

Тот непреклонный вождь, кто волей боевой
Из пролетарских толп стальные создал части
И эру выковал рабочей новой власти.

Итак, я наблюдал, как в пламени труда
Людей ковался дух под мерный гул металла.
Пылающая мысль прожгла мой мозг тогда,
Неотвратимая, в душе моей восстала:
Найдется ли у нас в обыденных делах,
Средь песен и стихов, в исписанных листах,
И даже в помыслах, таящихся в покое,
Рабочей строгости величие простое?
Да, ворохи бумаг и груды пестрых книг!
Красивые труды, а в глубине их пусто, —
Линяло-желтые потоки болтовни
Среди лирических хитросплетений чувства.
Как щеголяем мы беспечностью своей
И легкомыслием, увы, больших детей!
Подумать бы хоть раз, что слово, как чугун,
Сопrotивляется час от часу упорней,
Пока не раскалит его сознание в горне
Возвышенных идей и в формы на бегу
Не разольет. Чуть-чуть промедлишь — утечет,
Остынет, сморщится, как пораженный плод, —
Пустоты, пузыри рябые, цвета крови,
На исковерканном при обработке слове.

И необъятный дар свободной песни нам,
И сила — всё дано, и мысли взлет, и крылья:
А мы еще скользим, порхаем по верхам,
По пыльным колеям влачимся без усилья,
По руслам общих мест, шаблонов и чужих
Двух небогатых рифм и жалких рассуждений
Кастрированных. Пусть была основа их
Когда-то хороша, и в этом нет сомнений, —
Но их живая суть исчерпана до дна,
И желтизна костей наших окроплена
Восторга пошлого обильною слюною.
Так может превратить раб с низкою душою
В звучанье праздное, в пустопорожний вздор
Мысль даже гения. Так властелинов гор,

Обрезав крылья им, во тьме томят, в неволе,
Чтоб им скорей забыть о прежней вольной доле.
У мыслей и теперь бывает высота
Орлиная, но есть причисленные к славным
Певцы, которые считают перья главным
И знай их дергают из крыльев и хвоста.
Священнейшая мысль у них, конечно, — труд!
Труд! Только о труде кричит любой писака.
Чистосердечно мне, мой друг, ответь, однако:
Трудились ли они хоть несколько минут?
Могли ль они понять, что слово — как металл,
И требует оно, чтоб пот на лбу блистал,
Тревоги требует и горечи, боренья,
Дыханья жаркого, работы, утомленья?

.
.
Чрезмерно были мы небрежны к нашим дням,
И к музе, и к перу. Прекрасных мыслей груды
Беспечно брошены. Не подобает нам
Свои сокровища держать в земле, под спудом,
Как делал некогда нерасторопный раб.
Писали песни мы, но помнили едва ли,
Что песнь увяла бы и замерла, когда б
Не мысли, что умом певца повелевали.
Нельзя их превращать в бряцанье, в тонкий звон, —
Нет, в поколениях, встающих вслед за нами,
В их душах и сердцах пускай живут как знамя,
Как возмущенья клич, свергающий закон, —
Лишь песнь, в которую живая мысль вольется,
Над поколениями грядущими взовьется, —
Иль, жалкая, она, лишь ослабеешь ты,
Развесит на ветру гнилые лоскуты,
Чтоб перед толпами, бредущими дорогой,
Прикрыть всю нищету твоей мечты убогой,
Чтоб черный меч стыда не мог нас проколоть,
Чтоб яростная мысль не растерзала плоть.
Да, слово — вещество, как то, что здесь куют
Нагие силачи привычными руками.
Народу надобны: любовь, старанье, труд,
Стремительная мощь усилья. . . И пока мы
Не научились быть признательны мечте,
Крепить сознательно родное наше слово,

Оно не озарит простора мирового,
Исчезнет, жалкое, в навечной темноте.

Дошли мы и стоим над самым рубежом
Начала нового и трудного подъема.
Пыль тщетных чаяний с себя мы отряхнем,
Очистим мысль — и в путь великий, незнакомый!
Но мне в дали годов уж виден горизонт
Бесчисленных помех, — их победит не каждый.
Без отступленья путь, в борьбе, в геройстве — он
На всю большую жизнь дается нам однажды.
Не знать усталости, не потерять следа
На трудном том пути мы сможем лишь тогда,
Когда удержимся средь новых поколений
И будем вдаль смотреть глазами их стремлений...

Так мысли улеглись в моем сознание стройно,
Внушенные людьми прекрасного труда;
Движеньем сверенным они куют спокойно
Невиданную жизнь — надолго, навсегда.
Простые кузнецы и знать, и мыслить стали,
Суровы, как Нева, с душою тверже стали,
Сосредоточенны, упорны, как всегда,
Возвышеннее стал и уровень стремлений,
Прямой императив растущих поколений.

1929

Ленинград

154. РАЗДУМЬЕ

Любовь — вот его единственный грех.

Овидий Назон

Слишком полна была душа моя,
о господи,
обилием этих излиятий, меня
о окружающих.
Мисак Мецаренц

О да, человек я, поэт-гражданин;
Живу я в эпоху великого Ленина,
В труде, в созиданье идут мои дни,
Живу, как когда-то людей поколения
На этой земле до меня еще жили;
Волнуется кровь и кипит в моих жилах.

Люблю я природу, и солнце, весь мир,
Любви я не знаю ни меры, ни грани.
Я полон желаний безмерных и грез,
С собою на землю я эту принес
Обилие чувств моих, мыслей, мечтаний.

Подобно тому, как в былые столетья
Был связан с эпохой своей человек,
Огнем неустанной борьбы пламенеть я
Обязан сегодня, в наш ленинский век.
Как раб не садился в распутном Риме
С патрицием рядом за стол, так сейчас
И я не могу быть с врагами моими,
С врагами, идущими против нас.
Несметными узами, плотью и кровью
С гигантскою этою связан борьбой,
Я шествовал гордо дорогой прямой,
Снося все страданья, все беды с любовью.
И в грозные дни боевых испытаний
Не только стихи, как поэт, я слагал, —
Сражался я насмерть на поле брани.
И вновь со штыком я пойду на врага,
Коль снова страда боевая настанет.
Влечет настоящее меня в водоем,
В пучину борьбы своей неизбывной,
И тысячью нитей и всем существом
Я связан с эпохой своей неразрывно.

И вот никогда забыть не могу я,
Что мне человека сердце дано,
Что страстью, любовью во мне всё полно,
Что для влюбленных луна существует;
Что чувство есть в сердце, и запах цветов,
И множество книг, и томов изобилье,
И горы созревших под солнцем плодов...
Пока существую и полон я силы,
Всем сердцем, в котором вся страстность моя,
И чувств водопадом, любовью согретым,
Могу ль не любить я восторг бытия
И целостность жизни великую эту?
Сегодняшний день поражает мой ум
И сердце большим урожаем волнений...

Привет вам, борьба и обилие дум,
И к жизни грядущей мои устремленья!
С улыбкой счастливой на жизнь я смотрю,
И в сердце я мудрость ее ощущаю:
Я — в поле, подобен тому косарю,
Который за каждый свой колос страдает...
Не сталь, не свинец — с головы и до пят
Другой я, — мне «завтра», я верю, по силам.
Таким, как я есть, я приемлю себя, —
Со всем своим жаром, со всем своим пылом.

Ты, друг мой грядущий, хозяин вселенной,
Ты слышишь? — ведь прежде, чем стал я борцом,
Я был человеком, как ты, неизменно
Я чувствовал сердцем и всем существом
Тоску и волненья, — я жил вдохновенно,
Боролся, работал, как ты, уставал,
Рыдал, ощущая то горе, то радость,
Людей ненавидел, обиды прощал,
Любил, был любимым, измученный падал
И вновь поднимался, и песни писал,
Дышавшие пылом борьбы и волнений.
Когда пронесутся года над землей
И станет великий наш век сновиденьем,
И ты, друг грядущий, мой друг дорогой,
Прочтешь повесть жизни моей вдохновенной,
Знай: в нашу эпоху, в глуби сокровенной,
Я так же в плену был и чувств и страстей, —
Пойми ты порывы души моей
И в облик взгляни мой проникновенно...

1929

155. ПОСЛАНИЕ КРИТИКУ Н. Н.

Решил Фиглярин вдохновенный,
Что я в дворянстве мещанин.

А. Пушкин

О ты, рядящийся
В марксистские одежды,
О ты, кретин,
Ты, жалкий раб зубрежки,

Филистер и ханжа,
Услышь поэта глас,
Которого облаешь много раз. . .
Ты удивлен — тебе ль понять, рабу,
Что и сегодня пламенно я славлю
Стремленье к высоте, дерзание и борьбу,
Что не предам мечту и не оставлю.
Не по дороге, милый, нам с тобой,
К таким, как ты, себя мы не причислим,
Пустых словес душе не быть рабой,
Заученным не подчиниться мыслям.
Ее дыханье — это ураган,
Пока жива, ей суждено стремиться
К недостижимым, дальним берегам,
Хоть ты сегодня и твердишь, тупица,
Что всё и вся наш дух преодолел,
Что время наконец пришло такое,
Когда желанного достигли мы покоя
В век ленинских величественных дел.
Проблем перед тобою больше нет,
Любовь — и та отныне не проблема,
На все вопросы дан тобой ответ,
Всё решено, и стало быть, всё немо.
Нет области такой, где б не был ты
В своих суждениях столь же непреложен:
Они прямолинейны и просты. . .
А я. . . Мир для меня довольно сложен.
Своей вины не стану я скрывать,
Есть у меня тревоги и заботы,
Восторженные клики испускать
Я не умею. Да и нет охоты. . .
Наш трудный путь подошвы нам не жег.
Он, как сказал один поэт хваленый,
Не бой, не труд, а радостный «прыжок»
В блаженный мир, счастливый и зеленый.
Наш трудный путь —
Прогулка он для вас.
Он свадебному шествию подобен.
Под барабаны не пора ли в пляс? . .
Наш трудный путь —
Он так для вас удобен.

Не потому ли собственное пенье
Слащавое — у века на виду —
Таких, как вы, приводит в восхищенье? ..
Нет, я другой дорогою пойду!
Я жить привык и мыслить по-иному,
Привык, чтоб ветер бил наотмашь в грудь,
И вашему пути — доступному такому —
Предпочитаю каменистый путь.
Он не прогулка,
Не устроит вас он,
Путь не игры, а битвы. Путь борьбы.
Он избран был
Самим рабочим классом,
Неотделимый от его судьбы.
Я ваших ласк не домогаюсь.
К счастью,
Не вам питать
Души моей родник...
Хочу — поэт, —
Чтоб ржавчина бесстрашья
На душу не осела ни на миг.
Хочу, чтоб с битвой несня побраталась,
Высокою отвагою дыша.
Хочу, чтоб в горе стойкой оставалась,
Как пламя в горне, гордая душа.
Жизнь — не «прыжок»,
Не шум веселой свадьбы,
Нам до таких идиллий далеко,
А вот иной душе — ей лишь порхать бы,
Как ласточке, бездумно и легко.
Глядишь, душа не только запылилась —
Заржавела. . . Да, велика цена
За то, чтоб, как железо, закалилась,
Чтоб кованую сделалась она.
Ведь существуют, знаю, и поныне
Гнетущих дум отверженность и глушь,
И черствость, и не гордость, а гордыня,
И подлая ничтожность рабских душ.
И человек, что мог отважно биться,
Опасность презирая, как солдат,
Вдруг может сдаться, может надломиться

От горестной любви и от утрат —
Лишь потому, что в этих битвах были
Рассудочны его порыв и пыл,
Что он души в недремлющем горниле
Страдания — еще не закалил. . .
Чреват потерями мой каждый перевал,
Но, отставать себе не позволяя,
Я шел, срывался, падал и вставал,
Страданиями душу закаляя.
Ее огонь с годами не померк,
И чтоб врагам победа не досталась,
В борьбе я снова устремляюсь вверх,
Внизу дремоту сбросив и усталость.
Борьба других мне силы придает,
Я вместе с ними — в их шеренгах тесных,
Я с теми, чей победоносный взлет,
Чей трудный взлет воспел в крылатых песнях.
От этого меня не отучить,
Лишь этот путь я вечно буду славить.
И с Лениным меня не разлучить,
Как с лирою расстаться не заставить.

*22 октября 1929
Ленинград*

ЭЛЕГИИ И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

156. ЭПИЧЕСКОЕ УТРО

Строго мрак глядит мне в очи,
Скоро радостный восход,
Скоро минет сумрак ночи,
Утро двери распахнет.
Хорошо подняться рано
И глядеть, как над трубой,
Разрывая мглу тумана,
Дым струится голубой.
Знать, что ждет тебя забота,
Путь и тяжек и далек, —

У меня идти охота
По труднейшей из дорог.

И взглянул в глаза мне строго
Юности моей предел! ..
Я иду своей дорогой,
Но теперь я бодр и смел.
Пусть порой душа мутнела,
Я борюсь, отбросив страх,
Чтоб мое сияло дело,
Словно солнце в небесах.
Голос многих поколений
Твердо мне велит идти,
И одна из милых теней
Помогает мне в пути.
Расстаюсь я с вами нежно,
Бестолковые мои,
Ночи юности мятежной,
Юности беспечной дни.
И улыбкой встречу мудрой,
А не горьким вздохом... нет! —
Я эпическое утро
И последний мой рассвет.

1929

157. МОЕЙ МУЗЕ

Вот снова, Муза, ты со мной,
Соратник, друг мой неизменный.
Я слушаю тебя с тоской
И радостью одновременно.

Как задушевна, как проста
Теперь беседа наша стала,
Как удивительно чиста
Печаль, что в песне зазвучала.

Ты знаешь, я люблю ее —
Печаль, похожую на радость,
Не ноет сердце от нее, —
В ней возвышающая сладость.

Так путник с высоты глядит
На пройденные им просторы.
Он утомлен, но мирен вид,
И слезы не туманят зора.

Как много он успел пройти, —
Когда же полднем утро стало?
Он оттирает пот в пути,
Но даль туманом не застлало.

Нам далеко идти. . . Но пусть,
Соратник мой, товарищ верный,
Прозрачной будет наша грусть,
Любовь — безбрежной и безмерной!

1929

158. СОЖЖЕННЫЕ ПЕСНИ

Когда для смертного умолкнет
шумный день
И на немые стогны града. . .

А. Пушкин

Когда, как путник, что спустился в дол,
На кровлях пыльный вечер задремал, —
Дорогой дум я в комнату вошел,
Достал стихи, что некогда писал.
Достал стихи и вновь прочел я в них
Историю надломленной души.
Я отвернулся от стихов своих,
И горький стыд объял меня в тиши,
Когда сквозь строки, писанные мной,
Я женское лицо увидел вдруг.
Задумчиво, с улыбкою скупой
Приветствовал меня умерший друг.
И женский голос мне сказал: «Крепись,
Очисти сердце от тоски пустой,
Чтоб совесть не могла сказать: стыдись,
Былого не затмило чернотой.
И если я всё дорога тебе
И прошлые не омрачишь ты дни —
Подвижником будь в праведной борьбе,
Поэта имя светлым сохрани».

...Товарищ мой, сестра моя, жена,
Ты, героиня гордая моя,
Вновь ярким солнцем жизнь озарена,
Измученный, вновь улыбаюсь я.
Когда ты смолкла, я зажег огонь,
Провел рукой по лбу и волосам,
И, отдаваясь воле дорогой,
Сжег песни, что когда-то написал. . .

1929

159. ПЕСНЯ ОКЕАНА

Пой песню, пой, поэт! Пой ветра грозный шум,
Пой песню о любви и о борьбе,
Греми, как летний гром, свисти, как злой самум,
Пусть песня пламенем горит в тебе!

Я помню грозный бурный океан,
Безбрежное качанье темных вод,
Ревела бездна, дикий ураган
Взвивался буйной песней в небосвод.
Звучала песня страстною тоской,
Как будто тосковал гигантский дух
И с нарастающею темнотой
Всё горше плакал, плакал, плакал вслух.
Он, обезумев, с песней слил печаль,
Возлюбленной коварной вслед стремясь,
А та бежала, уплывая вдаль,
Сквозь брызги волн язвительно смеясь.
Сквозь ветер с гулом унеслась она,
И дикий ветер загрустил, запел. . .
Она ушла, надменна, холодна,
А всё ж он был, как победитель, смел.
То волн и ветра поединок был,
Врагов ревнивых бешеная страсть,
Самум любви, неутомимый пыл,
И песню родила той бури власть.
И песня та победною была,
Гремела героическая песнь, —
Отдавшись ей, всё разрушал дотла
Вихрь, бешеный, как дьявольская спесь.

Пой песню, пой, поэт! Пой ветра грозный шум,
Пой песню о любви и о борьбе,
Греми, как летний гром, свисти, как злой самум,
Пусть песня пламенем горит в тебе!

Ведь и тебя однажды в смутный час
Такой же гулкий ветер обдувал,
Обжег тебя и до глубин потряс
Любви-тоски неукротимый шквал.
Она тебя встряхнула — та любовь,
Как ветер сотрясает волны вод,
Прошла сквозь сердце, взбунтовала кровь,
Был гневным шествием ее приход.
Над головою грянула гроза
И молниями разум твой прожгла,
И мысли закипели, и в глаза
Взглянула ночи океанской мгла.

Пой песню, пой, поэт! Пой ветра грозный шум,
Пой песню о любви и о борьбе,
Греми, как летний гром, свисти, как злой самум,
Пусть песня пламенем горит в тебе!

В огне любви, что в сердце задрожал,
В жестокой битве, в яростном бою
Да закалится дух твой, как кинжал,
И да пронизет гений мысль твою.
Забьется жизнь в тебе ключом живым,
Возвышенною будет страсть твоя,
Велик ты будешь и непобедим,
И крепок духом в битве бытия.
И пусть тогда, из глубины души
Поднявшись, песнь любви летит в эфир
И, ей внимая, ты на штурм спеша
И победы высокой песней мир!

Пой песню, пой, поэт! Пой ветра грозный шум,
Пой песню о любви и о борьбе,
Греми, как летний гром, свисти, как злой самум,
Пусть песня пламенем горит в тебе!

1929

160. УМЕРШЕМУ ПОЭТУ

Говорит кое-кто, не секрет:
«Ты прошел — и тебя больше нет,
Ты успел устареть как поэт,
Волны дней над тобою сошлись».
... В сердце вслушайся. Вот оно, вот.
Слышишь? — любит оно и зовет:
— О, вернись к нам, вернись! ..

Все огни для тебя мы зажжем,
Всё тепло мы тебе отдадим.
Возвратись, милый странник, в свой дом,
Ты нам попросту необходим!
К тебе кинется ветер с полей
Так влюбленно, что — слезы из глаз!
Наши дни всё просторней, светлей,
Черпать песни из них — в самый раз.
О, вернись к нам, вернись! ..

Ждет земля, где искал ты пути
С сокрушенной душою, впотьмах,
Чтоб сегодня лучам расцвести
В наших душах и в наших домах.
Ждет страна, где в былые года
Пламя черное песнь твою жгло,
Где сегодня, под солнцем труда,
Ликовать бы, греметь ей светло.
О, вернись к нам, вернись! ..

1928

161—162. ДВА СОНЕТА ПАМЯТИ АРЦИК

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.

Ф. Тютчев

1

Мой друг, любовь моя, товарищ смелый мой!
Ты на земле жила, и вот ушла ты ныне.
Но жизнь вокруг кипит, и мир не стал пустыней,
И ни одной звезды не пало голубой.

Опять цветут цветы в родной твоей долине,
Весенние цветы, столь схожие с тобой,
И снова человек живет трудом, борьбой
И новые творит бессмертные твердыни.

Бессонный океан, меняя цвет, течет.
И наших чувств язык подобен океану,
Подобен шуму тех величественных вод.

И я живу, борюсь и век бороться стану,
Гул будней гонит прочь сердечную печаль,
И крылья мне дает, и увлекает вдаль.

2

В гигантском веке жигь нам довелось.
Людской любовью вознесен тот век,
Как щит, зарей пронизанный насквозь.
В наш век рожден великий человек.

Сжав губы, горе затаив в сердцах,
Мы провожали гроб. Ты помнишь, друг?
Застыли мы, как стража на часах,
А толпы шли. Стояла тишь вокруг.

То был не погребенья горький день —
Рассвет вставал над сыростью земли,
Рассвет встречали тысячи людей.

И мертвый не был мертв: живой, вдали,
Сверкал он нам грядущего огнем,
Победным — цвета алой крови — днем.

1928

163. В ПОДВАЛЕ ЗИМНЕГО ДВОРЦА

Под этим мрачным сводом, тут,
Когда хрустел мороз,
Всю ночь сам царь — венчаный шут —
Вел праведным допрос.

Он им с улыбкой ледяной
Жал руки в страшный час,
Казалось, счастье волной
Лилось из царских глаз,
И Пестеля просил присесть
С такой улыбкой он,
С какой всегда порочил честь
Чужих красавиц жен.
Он, ужас сердца затаив,
Смотрел на главаря.
Был и с Рылеевым учтив
Царь, яростью горя.
Как в сказке некий государь,
Великодушен был,
И милость обещал им царь
И душу им открыл.
Нетрудно было злость таить
От жертв своих ему,
И их на плаху проводить,
В изгнанье и в тюрьму.

*Октябрь 1929
Ленинград*

ЭПИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ

164. ЧУГУННЫЙ ЧЕЛОВЕК

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн.

А. Пушкин

Там, где, сливаясь, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струн Арагвы и Куры, —
Был монастырь.

М. Лермонтов

В ущелье, в глубине, почти у дна
Встал человек, литой из чугуна.

Напротив островерхая скала,
Ее вершина голая мрачна.

Как горный гриф, раскинувший крыла,
Над нею монастырь Горда, вольна,
Внизу течет широкая река.
Вдоль берега ползет издалека
Дорога серой лентой земляной.
С начала лет и в холода и в зной
Ничто здесь не менялось, и вода
Своим путем текла бог весть куда.
Текла река, и отражались в ней
Нагроможденья рухнувших камней,
Да скалы, да в теснинах кое-где
Домишки, робко льнущие к воде.
Дорогой, где теперь машин полно,
Скорей всего пешком, давным-давно,
Прошел поэт курчавый, о друзья,
Его стихом пою сегодня я.
Пускай звеня взлетает до небес
Мой гимн крылатый, славящий ЗАГЭС.
Недаром здесь в ущелии, у дна,
Встал человек, литой из чугуна.

Высок он и сложением могуч,
Над быстриною руку поднял он,
Он — как колонна от земли до туч.
Под ним река, вгрызаясь в горный склон,
Ревет грознее хриплых ратных труб
И клочья пены стряхивает с губ.
Не хочет верить гордая река,
Что человечья властная рука
Не разрешит ей дальше течь, как встарь, —
Река преград не знала; словно царь,
Торжественна, горда и тяжела,
Она текла, она всегда текла
Куда хотела. Испокон веков
Она была сильнее берегов
И человека. Трудно ли снести
Мост или камень, вставший на пути?!
Она на мир косила глазом зло,
И мир дрожал. Но что произошло?
Откуда здесь, на диких берегах,
Возникли люди с планами в руках?

Сначала карандаш, а после лом. . .
И вот уже народ валит валом.
В руках людей надежны и остры
Кирки, лопаты, пилы, топоры. . .
Весь день кипят работой берега,
А ночью телом чувствует река,
Как полыхает, отражаясь в ней,
Цепочка бесконечная огней.
Огни как звезды. С раннего утра,
Пока не спрячет за спину гора
Лучей закатных, торжествует труд, —
Несутся по ущелью звон и гуд,
Рогами рвет землю бык стальной,
Мыча с натуги; за его спиной
Куда-то вскачь летит железный конь
И рассыпает из ноздрей огонь.
Вначале дряхлый каменный орел —
Тот храм, что на скале приют обрел, —
Лишь хохотал, случайно бросив взор
На муравейник у подножья гор.
Жесток был смех, но проходили дни,
И ужас, незнакомый искони,
В нем зазвучал. Когда ж глаза бойниц,
Сошуренные среди кустов — ресниц,
Увидели, что древняя река,
Одной дорогой текшая века,
Свернула в русло новое, когда
Разлилась тихим озером вода
И усмирила норов свой шальной
Пред гладкою бетонною стеной,
Когда сперва затлели огоньки
Подобно звездам в глубине реки,
А после солнц mirьяды над водой
Красою заблестали молодой,
И, оседлав тугие провода,
Избыток света хлынул в города, —
Из камня-сердца выжал страх слезу, —
Храм умирал, а жизнь была внизу.
Ах, если б небывалые крыла,
Ах, если б очи юного орла,
Чтоб прочертить под самым солнцем круг
И посмотреть на новый мир вокруг!

Но со скалою храм старинный слит,
Он часть ее, и плоть его — гранит.
Бедняге поздно рваться из оков,
Он простоят еще пять-шесть веков,
А там, — всеильны ветер и вода, —
Падет, уйдет в преданья навсегда.
В глазах туман, надежды не сбылись,
Косится храм вокруг себя и вниз,
Туда, где с воем яростным вода
Рождает ток, идущий в провода,
Где в глубине, внизу, почти у дна —
Тот человек, литой из чугуна.

Кто он? Зачем он в край явился наш?
Зачем в ущелье этом встал как страж?
И почему в ночи вокруг него
Сто солнц взамен дневного одного?
Кто он? Как он сумел сюда дойти?
Какие чувства у него в груди?
Какие мысли врезала судьба.
В морщины полированного лба?
Чего он хочет от реки и гор?
Зачем пришел? Зачем ладонь протер?

А храм ветшает, трудно жить в горах,
Когда на плечи навалился страх,
Когда сквозь камень сердца страх проник...
Роптать не смея, вдаль глядит старик.
Он видит смерть, пусты ее глаза,
Как жизнь его, как даль, как небеса.
Тоскует храм, он мира не обрел, —
Он тень, он умирающий орел,
В скалу вцепившись, еле дышит он...
Ему конец... Но ниже плоский склон,
И там навеки, если жизнь вечна,
Встал человек, литой из чугуна.

1927—1929

Фрагмент

Где над возвышенным крыльцом,
С поднятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые. . .

А. Пушкин

Хмур небосвод. Нева, мутна,
О берега устала биться.
Как дым, тумана пелена
Густеет над водой. И мнится —
Во мгле незримая рука
Дворцы расшатывает трудно.
Доносится издалека
Каких-то шествий гул неясный,
Еще подспудный, но уже
Неотвратимый и опасный.

Хмур небосвод. Там, вдалеке,
Где волны катит по реке
Сердцебиенье непогоды,
Осела, раздвигая воды,
«Аврора».
Как гигантский пес,
Раскинулся дворец унылый,
Магической лишенный силы.
И ужас нарастает. Страх
Ожесточается, густеет
И тяжелеет на глазах.

И ужас нарастает. Там
За Зимним, где недвижимым львам
Стоять империя судила,
Тем львам, которых с дивной силой
Воспел поэт, столь милый нам,
Темнеют пушки. Пред одной,
С винтовкою, в руке зажатой,
Застыла женщина, объята
Тревогой. Тонкая рука
Сжимает из последней силы

Винтовки скользкое цевье.
Но кто поставил здесь ее?

Дыханье севера сырое
Пронизывает до костей.
Она глядит перед собою,
Но враг еще не виден ей.
И нарастает ужас.
Что же
Здесь делать ей? Еще она
Так молода — и страх до дрожи
Ее доводит, и бледна
Стоит она у пушки этой.
Так почему своей приметой
Лицо ей обозначил страх?
Зачем и по чьему веленью
Она — с винтовкою в руках —
Здесь — в эти грозные мгновенья?
Поодаль от нее, в тумане,
Ее любимец Александр,
Предмет восторженных мечтаний,
Кумир, в которого она
Так беззаветно влюблена,
Что в геронческом дурмане
Против «орды» большевиков
Она воюет столько суток...
Хоть близко трубадур ее,
Но ей и самый воздух жуток,
Находит страх, как забытье,
Туман клубится над дворцами,
И эта женщина, с лицом
Камеи, с мертвыми глазами,
Измученная страшным сном, —
Нет, явью, — женщина-ребенок,
Теперь одна из амазонок,
Которых целый батальон
Решил спасти от посрамленья
Дворцы, где помнит царский трон
Екатерины развлеченья...

.
И нарастает ужас.

. Там,

В его гордыне зримый львам,
Где грозного Сената стены
Туман тлетворный и сырой
Подтачивает постепенно,
С протянутой вперед рукой
На этой площади просторной,
Взлетев стремглав на камень черный,
Как бы оброненный горой,
Могучий скачет верховой.
Там гневные смешались толпы,
И смотрят сумрачно туда,
На морок площади Дворцовой.
Штыки вздымаются сурово.
Страх нарастает, как беда.
А ты теперь найдешь ли слово,
Чтоб о тумане песнь начать,
Восславить рушащую троны
Его клубящуюся рать?

.

И нарастает ужас. Бьет
Озноб тревожные мгновенья,
И конь под тяжестью Петра
Качается в изнеможенье.

.

И нарастает ужас. . .

. В том

Туманном далеке, где днем
И ночью воды бьются сонно,
Стоит большой, белоколонный,
Высокий дом. Когда-то в нем
Был тихий монастырь, потом
Учились розовые девы
Мечтать, любить и ревновать,
Кадриль плясать и повторять
Сентиментальные напевы —
Всему, что почитала знать
Прямой особенностью женской.
Теперь здесь штаб борьбы вселенской.
Куда ни глянешь — там и тут,
И в комнатах, и в коридоре,

И перед домом на просторе,
Шинели серые снуют.
Вот выстроились пулеметы,
Вот оцетинились штыки,
Вот входят с грохотом в ворота
Артиллерийские полки.
Здесь армия обосновала —
Невиданная — лагерь свой.
Настанет час — и грянет бой.

Вот человек в одной из комнат.
Он оживлен. Перо в руках.
Века глаза его запомнят,
Усмешки огонек в глазах.
Порою в двери входят люди.
Всем телом повернется он,
Вошедшего окинет взглядом —
И вновь в работу погружен.
Два красных часовых у двери.
Поглядывая и на них,
Он пишет.
Но его работу
Вдруг прерывает телефон,
Он трубку с полуоборота
Берет. Высокий лоб забота
Заметно омрачает. Он
Прислушивается, но вскоре
Вновь у него огонь во взоре:
«Аврора? Слышу. Не сдаются?
Уже хотите. . . Что? Стрелять? . . .»
Одна секунда промедленья.
Веками кажутся мгновенья.
Секунду размышляет он,
К губам он трубку приближает,
«Стреляйте!» — отдает приказ.
Час грянул. Ужас нарастает.

1929
Ленинград

СТИХОТВОРНЫЕ ПОВЕЛЛЫ

166. «НОМО SAPIENS»

1

Середина июня. Тринадцатый год.
Тихий город наирский дремотой одет.
Преисполнен ему лишь известных забот,
Шел по улице мальчик шестнадцати лет.
Нет, не мальчик, а юноша. . . Худ. Невысок.
Бледный лоб затенен синевою кудрей.
Был он в черной рубашке, отслужившей свой срок,
В школьной мятой фуражке, с желтым кантом
на ней.

Равнодушный, как лошадь, ко всем и всему,
Он, задумавшись, брел, узкогруд, узкоплеч.
Редко кто попадался навстречу ему,
Да и сам избегал он, мне помнится, встреч.
Выйдя из дому в полдень, он знал, что отец
Вскоре сядет, ворча, за обеденный стол.
Он отца раздражал — нерадивый юнец.
Был отцовский характер угрюм и тяжел.
И, по правде сказать, не любил он отца.
От нотаций в ушах надоедливый звон:
Лоботряса не станут терпеть без конца,
А провалит экзамены — из дому вон! . .
Вспоминая, досадливо дернул плечом:
Школа, школьный инспектор, отец — перед ним
Он понуро стоит, — толковать им о чем?
И обида глаза разъедает, как дым. . .
Он вздохнул глубоко и пошел побыстрей,
В блеске солнца шафранном, в ленивой тиши,
Мимо плотно закрытых от зноя дверей,
Пыльной улицей, где в этот час ни души.
Глаз не радуя, не беспокоя умов,
Суждено этой улице долго петлять,
Наподобье проселка, меж хилых домов —
Желтых, розовых, серых и желтых опять.
Одинокий прохожий по этой жаре
Еле плелся навстречу — ни молод, ни стар.

Вот он медленно скрылся в каком-то дворе,
И опять опустел впереди тротуар.
Всё придавлено зноем, охвачено сном,
Лишь соседка соседку порой из окна
Позовет через улицу, скрипнет окном —
И опять воцарится кругом тишина.
Видел всё это юноша тысячу раз, —
Ноги словно бы сами привычно вели
В парк, суливший прохладу в полуденный час,
Что призывно уже зеленел невдали.
А под мышкой сокровище нес он свое —
Книгу. Ту, что сумел наконец-то достать.
Не пугайся, читатель, названья ее:
«Ното sapiens». Вот что он будет читать.

2

В безлюдной аллейке, листвою затененной,
Он пылко и жадно к страницам приник,
Под дубом, где некогда некий влюбленный
Ножом на коре начертал: «Арпенік».
Глотал он страницы и целые главы,
С героем в одно обратившись уже,
Чья страсть, горячее вулканической лавы,
Ответный огонь высекала в душе.
Чужою судьбой заменив свою долю,
Казалось, глазами впивал он слова,
И сердце стремилось на волю, на волю,
И жарко пылала его голова.
И не было больше ни улиц, ни парка,
Исчезли домишки, пропали дубы,
Лишь гений мужчины, сияющий ярко,
И женщина трудной и гордой судьбы.
Он с ними проделывал путь их печальный,
Он с ними беседовал накоротке —
Тот юноша, жалкий и провинциальный,
В июне, в наирском глухом городке.
В пучину мечты он нырял безоглядно,
Туда, где вставал со страниц человек,
Умевший во всё проникать беспощадно,
Титан, презиравший свой низменный век,
Бесстрашный воитель с душой молодою,

Всесильный, свободный от всяческих уз,
Вознесшийся гордо над пошлой средою,
Подобно тому, как вознесся Эльбрус...
И наполнилось сердце такой же тревогой,
И юноша, вслед за одним из «предтеч»,
Шел мысленно той же «высокой» дорогой,
Возжаждав таких же событий и встреч.
Своею судьбой дерзновенно и властно
Он правил, не пряча от молний лица,
И женщина, так же чиста и прекрасна,
Одна понимала его до конца...
Читавший ту книгу, мы знаем, был молод...
От сильных волнений, что он испытал, —
Не смейтесь, — почувствовал юноша голод.
Всего две копейки — его капитал.

8

Вечерело. Печально скрипела арба...
Утомленный, больной, наглотавшийся глав,
Пальцем, словно мыслитель, коснулся он лба,
Встал и вышел из парка,
Монету зажав.
Дух был сыт — пищи жаждала бедная плоть.
Рядом с парком, в лавчонке, монету свою
Обменял он на пышного хлеба ломоть
И обратно вернулся
К себе на скамью.
Там тайком его съел он,
А чуть погода
Тем же важным движеньем
Лба коснулся опять
И внезапно решил, по аллее бродя,
Что великим поэтом суждено ему стать...
В биллиардной студенты гоняли шары.
Парк под вечер был полон уже горожан.
Вслед за книгой летавший в иные миры,
Он вдруг замер
И внутренне весь задрожал.
Он глядел —
И не верил себе самому:

По аллее, в сиянье своей красоты,
Гениальная дева, создание мечты,
Нвард, прекрасная Нвард приближалась к нему!
Он повел, заикаясь, какую-то речь,
Он хотел перед ней свою душу открыть,
Он хотел в ней такое же чувство зажечь,
Глубиною ума своего покорить.
Но цветок, им протянутый, был отстранен
И в ответ было сказано, чтобы отстал. . .

А поэтом действительно сделался он —
Тот, что эту историю вам рассказал.

1928—1929

167. НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

И, бессловесное дитя,
Я руки слабые простер. . .

Микаэл Налбандян

В этом воздухе, хладном от каменных плит,
Бродят грозные тени, и тяжело, сурово,
Однотонно, как марш похоронный, звучит
Поступь мрачного прошлого — эхо былого.
Вот являюся мне, проступая впотьмах,
Словно призраки, те, что томились когда-то
В склепах камер. Решимость, бесстрашие и святость
В их страдальческих, кроваво-красных очах.

И пред взором моим предстает легион
Героических образов, славных имен,
Лиц, открытых таких, вдохновенных и милых!
Поколения целые — грозная рать —
Громяхающей поступью шествуют мимо.
Путь победный и подвиг их неоценимый
Стали песней, которую не заковать!

Впереди, посредине пустого двора,
Где теперь возвышается новое зданье,

Одичалый и старый, маячил вчера
Бастнон. . . Это был, окруженный молчаньем,
Страж разгула и славы царей-палачей.
С декабря восемьсот двадцать пятого года,
Что явился предтечей сегодняшних дней,
Сколько смелых подвижников дела народа
И героев страдало в стальных кандалах! . .
Вот идут они молча сквозь мрак коридора,
Проноса отпечатки бичей на телах,
Но, как прежде, с немеркнувшей верой во взорах. . .
Вот Рылеев возник. . . Вереницей прошли
Изможденные, скорбно-горящие лики. . .
Светлый гений прошел — гордость русской земли,
Тот, которого Маркс называет великим.
На замшелых камнях этих камер глухих,
Этих ниш, окропленных нестынувшей кровью,
Отражения их, отблеск помыслов их —
Ненавистников рабства — ищу я с любовью.
Я один. Уж давно удалились все те,
Кто, как я, посетил преисподнюю эту.
Двор, где сумрак сплошной и при солнечном свете,
Утопает в сгущающейся темноте. . .
И едва собираюсь я выйти отсюда —
До желанного выхода два-три шажка —
Неожиданно падает сзади — вот чудо! —
На плечо мне тяжелая чья-то рука.

Предо мной человек. . . Вот лица полукруг. . .
Почему-то он кажется призрачным, зыбким.
Человек, посветлев от приветной улыбки,
Говорит: «Вы меня позабыли, мой друг?»
Он худой, черноглазый, высокого роста.
У него бакенбарды. Да, верится мне —
Мы встречались когда-то! Не помню я просто —
В жизни, в книгах я видел его иль во сне?
«Позабыли вы, — глядя печально поверх
Головы моей, тихо корит неизвестный, —
Те, рождавшие бурю, мятежные песни,
Что слагал я упорно в угрюмый свой век?
Битве с гнетом и тьмой посвятил я всё сердце.
В той борьбе никаких не страшился я мук,

И горжусь, что поэт Огарев, как и Герцен,
Обращаясь ко мне, говорили — наш друг!»

Я стою потрясенный. . . Куда он, однако?
Простираю дрожащие руки, но он
Удаляется быстро, отдав мне поклон. . .
Предо мною лишь двор, весь наполненный мраком.

18 октября 1929
Ленинград

168. ВЕЛИКИЕ БУДНИ

(Отрывок)

. . . Докладчик начал речь свою обычно:
— Мы вызваны на соцсоревнованье
Одним из питерских заводов. Что же
В ответ мы в город Ленина напишем? —
(Да, так он и сказал, не в Ленинград,
'А в город Ленина.) Две-три цитаты
Из Ленина и Маркса он привел,
Потом без всяких дальних перешел
К гигантскому проекту пятилетки.
Ну что ж, все те же цифры и слова,
Но отчего ж они стрелюю меткой
Впивались в мозг и отчего внезапно
Такою красочной и яркой стала
Картина этой стройки небывалой,
Неслыханных в истории событий?
Что проще быть могло и деловитей
Простых, обычных цифр и слов, но всё ж
По тишине, по напряженью зала
Докладчик понял, что волненья дрожь
Его и слушателей охватила.
Так что ж произошло, что это было?
Кто счетоводу мог бы дать ответ?
Он что-то новое услышал? Нет!
Быть может, откровенья яркий свет
Пролился с неба на него? Нет, нет. . .
Он знал уже давным-давно всё это
Из сотен книг, журналов и газет.

Он знал. . . Но всё ж холодным оставляла
Случайная статейка из журнала
Его неверьем затемненный ум.
Откуда ж свет и пламя этих дум?
Быть может, не в докладе было дело,
Не в этих цифрах и словах? Так в чем?
Он шел домой давно осточертелой
Знакомою дорогой, и кругом,
Казалось, ликовало всё и пело.
Так в чем же дело? Буря налетела,
Когда еще докладчик говорил.
Ее приход, ничем не предваренный,
Любой из бывших в зале ощутил.
Вот здесь Амо, а там, гляди, застыл
Старик Хечо в той позе напряженной,
В которой он застигнут вихрем был.
И он, он сам почувствовал себя
Подхваченным бурлящею стремниной,
Какой-то странной силой волшебства.
Нет, пламенем охваченным прекрасным,
Чудесным пламенем крылатых дум.
Мираж ли это, зрения обман,
Иль, может быть, наоборот, туман,
Его глаза доныне застилавший,
Развеялся, и счетовод прозрел.
Нет, подхватил его здесь бушевавший
Водоворот и щепкой завертел.
И вот, стремясь вперед, он видел ясно
Бескрайний необъятный горизонт.
Даль открывалась в перспективе зала,
В мазках картины стройки небывалой.
В ней яркими зарницами идей
Непостижимым чудом сочетались
Слова, что в тишине тут раздавались,
Свет ramпы и дыхание людей,
И всех их пронизавший нервный ток,
Тепло сердечной дружбы и дымок
Голубоватый, зыбкий, за которым
Грядущее вставало перед взором
То сказкою, то явью осязтимой.
Огромные заводы, города
Клубились перед ним волнами дыма.

Сквозь грохот стройки мощный рев гудков
Он слышал, гул миллионов голосов,
Поля, долины, степи наполнявший,
Симфонией чудесною звучащий, —
Гул армии, что двинулась в поход,
Многомиллионной армии труда,
Непобедимой и неодолимой,
Чья воля непреложна и тверда,
Идущей вдаль, вперед неудержимо.
Сквозь гром фанфар, раскаты барабана,
Всесокрушающую мощь оркестра
Всё зримее, всё явственней вставала
Мелодия притихнувшего зала,
Подернутого дымкою тумана.
И вот из этой дымки синеватой,
Как будто вырубленные резцом,
Черты Айро внезапно проступили.
Какими грубыми, казалось, были
Затылок, скулы, прядь волос над лбом.
Размахивал он, на трибуне стоя,
Увесистым огромным кулаком.
Да, нелегко ему давалась речь,
Но слово каждое его простое
Своею мужественной прямою
Разило счетовода, словно меч.
И для него непостижимым было,
Каким же образом слова Айро
Полны такой необычайной силой,
Как та, что некогда его пленила
В чудеснице машине? Волшебство
Стократ сильней казалось оттого,
И тем нежданней было потрясенье,
Что голову свою на отсечение
Готов был счетовод без размышленья
Отдать, когда бы спор возник о том,
Что может этот пьяница-верзила,
Вот этот истукан с покатым лбом
Постичь хотя бы смысл чудесных слов,
И уж куда там ими овладеть,
Единой думою пылать, гореть
С великой, славной армией труда,

Везде разбросившей свои отряды,
От Наирн, Баку до Ленинграда.
Айро сошел с трибуны и сменили
Его другие. . . Как знакомы были
Давно все эти люди счетоводу.
Бок о бок с ними он живет три года
И каждый день их видит. . . Только что же
Сумел он оценить в них и понять,
Узнать, что ими движет, что тревожит,
Какие чувства могут волновать
Всю эту армию? . . . Нет, не похожи
Они на то, с чем их отождествлять
Втайне привык он. В чем тогда сокрыт
Смысл их работы, их существованья,
В чем видит этот люд свое призванье,
Какое чувство души их роднит,
И приложил ли счетовод старанье,
Чтоб это всё постичь? Нет, трижды нет!
Взять хоть бы этого Айро.

Что в нем
Успел он разглядеть за столько лет?
Лишь грубый облик, грязных пальцев след,
Привычку сыпать бранными словами
Да напиваться. . . И в конце концов,
Копаться не желая в этом хламе,
Иных-то он не разглядел основ,
Не разглядел за этой шелухой
Живое сердце, честное, простое.
Так вот в чем корни грубого просчета —
Не знал он, чем живут все эти люди,
Не понимал, о них превратно судя,
В чем смысл их тяжелой будничной работы,
Что заставляет их стремиться вдаль?

Неощутимо тонкою преградой,
Но всё ж непроницаемой, как сталь,
Он отделен от них был, и едва ль —
Хоть счетовод с обидой и досадой
Не раз себя вопросами терзал,
Доискиваясь верного ответа, —
Могла загадка разрешиться эта.
Весь жизненный свой путь он вспоминал,

Пытаясь выяснить, когда и как
Могло возникнуть это отчуждение.
Причиной, может быть, происхождение?
Заштатный городок. Отец — бедняк,
Хоть и ремесленничал и торгашил,
Промаявшись всю жизнь, гроша не нажил.
Знаком был мальчик сызмальства с нуждой.
В приходской школе проучился он
Всего два года, как беда случилась:
Отца не стало — и семья разбилась.
Попал мальчишка в Ереван и сам
Работать стал. . . Урывками учился
И всё ж таки немалого добился,
Стал счетоводом, наконец, а там,
В семнадцатом, как помнится, женился.
Он незамысловато и спокойно,
Улиткой спрятавшись в своем дому,
С тех пор живет. Тревожиться ль ему,
Что пламя революции и войны
Внезапно всколыхнули всю страну, —
Он это только ставил им в вину.
Любил он мир, покой и тишину,
И ничего от этой грозной бури
Хорошего он для себя не ждал.
Он в стороне держался и взирал
С презрительной улыбкой, брови хмуря,
На этих фантазеров, горлопанов,
Доказывавших, что из урагана
Возникнуть может новый мир. . . Однако
Он также недолюбливал дашнаков.
Ну, эти-то еще, пожалуй, хуже!
Но почему, кто скажет, почему же
Он сторонился тех. . . Тех, кто пришли,
Чтоб новый мир создать. Что потерять
Он мог бы, если б в ногу с ними шел?
Слепой судьбы тут видеть произвол
Иль самого себя ему винить,
Что не сумел он вовремя открыть
Глаза, что, ничего вокруг не видя,
Улиткой спрятавшись в своем дому,
Во тьме он жил, на всех и вся в обиде. . .

Кто скажет, почему же, почему,
Всего страшась, всех сторонясь, доньше
Он жил в какой-то мерзостной трясине
Унылых тягот, будничных забот,
Событий утлых, мелких дел. . . И вот
Теперь он, грудью устремясь вперед,
Идет, борясь с холодным, резким ветром,
И в реве ветра слышит волн прибой
И гул толпы огромной, многолюдной,
И видит яркий свет перед собой,
Чудесный свет великих наших будней.
Так, значит, был доньше глух и слеп
Он — жалкий человек с душой ничтожной,
Стремившийся спокойно, бестревожно
Прожить свой век. И в эту ночь впервые
Он уловил в победном реве ветра
Великих дел могучий отголосок.
Он — мелкий и ничтожный счетовод,
Чья жизнь влачилась колеею длинной
Унылых тягот, будничных забот, —
Увидел вдруг сквозь пелену тумана,
Сквозь тьму, сквозь изгородь дождей косую,
За сотни верст, в дали непостижимой
Огромный город, с гордостью и славой
Носящий имя славное вождя,
Вождя людей, что трудятся. Взгляни, —
В полях, в цехах, на рудниках — они. . .
И видел он несчетные огни,
Как солнца, озаряющие дали.
Огни переливались и сверкали,
И озаряли множество людей
Фантасмагорией лучей своих,
Людей, таких вот, как Мукуч, Айро,
Людей, чьи лица в копоты и саже,
Но не могло бы спорить солнце даже
Со светом, что из глаз струится их.
Огни переливались и сверкали,
И бесконечной нитью оплетали,
Тончайшими лучами искрясь, дали,
Подобно звездным иглам. . . Так, порой,
Глаза прищуришь, глянешь ты на звезды,
И вдруг лучей волшебною игрой

Миров далеких огненные гнезда
Внезапно взор приковывают твой...
Так темной ночью счетовод впервые
Увидел эти нити золотые,
Впервые перед ним разверзлась ширь
И необъятными казались мир,
Душа и небо...

.
Октябрь — ноябрь 1929

169. КУДРЯВЫЙ МАЛЬЧИК

Закрываю устало глаза,
И так ясно, так ясно я вижу:
День в грядущем. Небес бирюза.
Огнекудрое утро всё ближе.
Уже солнце пошло на подъем,
День гремит, как аккорд на органе.
С синих-синих небесных каем
Низвергается наземь сиянье.
К Арарату проходит шоссе
Изменившеюся Эриванью.
Сколько лет этой новой красе
И живому ее ликованью?
Вдоль дороги, по обе руки,
Переезды, дома и заводы.
Кто разбил у домов цветники?
Как густы этой зелени своды!
Воздух чист, меж домами — простор,
Мастерские меж них вперемежку.
Ни соринки кругом. Что ни взор,
То — блаженного счастья усмешка.

Вот из города мимо оград,
Попирая проснувшийся камень,
Пионерский выходит отряд,
Впереди его — красное знамя.
Слышен топот уверенный ног
И отрывистый бой барабана.

Лица ясны, в глазах огонек,
Рады в ногу шагать мальчуганы.
По асфальту срезают дугу
И сворачивают по извиву
В то ущелье, где низом Зангу
Протекает светло и шумливо,
Где прозрачное кружево плетъ
Не устало потока журчанье.
Рядом старая изгородь есть,
Под оградой камни в бурьяне.
Камни с виду без мет и писъмен,
Безыменные камни — могилы.
Надо всем — тишины полусон,
Точно памяти призрак бескрылый.
Сверху синие своды глядят.
Виснет солнце, подобное звону,
И беспечно проходит отряд,
Полыханьем его ошьяненный.
Слышен марша уверенный шаг,
Рассыпается дробь барабана,
И весна, затаясь в их очах,
Улыбается солнцу нежданно.
Тем-то шагом, без дум и забот,
И обходят бурьян пионеры.
А весна — то куда-то зовет,
То о ком-то тоскует без меры.

Но внезапно из их череды
Кто-то смотрит на камни и травы.
Покидая дружины ряды,
Отделяется мальчик кудрявый.
Пионер до колен голоног,
Красный шейный платок у подростка.
Мальчик с выпуклым лбом, синеок,
В белой курточке с синей полоской.
Он подходит к камням и, всмотрясь,
Принимается скресть их ногтями
И стирает присохшую грязь,
Затянувшую надпись на камне.
И тогда: *«Здесь покоится прах
Египте, — он читает, — Чаренца. —*
И дочитывает второпях: —

Стихотворца, Маку уроженца».

И как бы объясненья ища,
Он стоит, смотрит вдаль, размышляет.
И, сорвавши отросток плюща,
С ним покинутый путь продолжает.
И когда нагоняет своих,
В незапамятности, как дотоле,
Остаются, оживши на миг,
Эти камни, забытые в поле.

.
О, вернись, там ведь сердце мое!
Растопчи его, ножкам в забаву.
Ты, всех жажд моих ключ и питье,
Наша будущность, мальчик кудрявый!

1928—1929

ARS POETICA

170

Как некроман, я полночи боюсь,
Когда луна поднимется из гроба,
Со страхом жду, что встанут у порога
Бодлер с Эдгаром По, что снова наизусть
Верлен, как старый фавн, споеет стихи свои
Про осень, фонари, сирень. . . И на мгновенье
Опять покажется, что там не тополь — Гейне,
Что там луна мои читает рубан. . .

171. ПОЛУНОЧНЫЙ ЭСКИЗ

Поэт сидел и, как семинарист,
Смотрел в окно на звезды в темной сфере,
И дым из труб, столбом встававший ввысь,
Ему казался нереальной пери.
В сентиментальный этот час без сна
Сидел он, и росли ночные звуки,
И с мертвых берегов своих луна
Звала его, протягивая руки. . .
Любовный сок в груди всё нарастал,

Потом, когда донесся из тумана
Далекий бой часов, он бормотал
Какие-то две строчки из Теряна...
Потом его окликнула жена —
Он головой тряхнул — спы разлетелись...
Всё это было в час, когда луна
Чертила в небе свой извечный эллипс.

172

Однажды, в хмурый предрассветный час,
Ты вышел в путь, родную бросив кровлю,
Оставив за собой родной очаг
И детство, пахнущее кровью.
И словно нищий пилигрим, в тоске,
Ты начал путь свой, трудный и суровый,
С пустой сумой и посохом в руке,
И жизнь твоя была как сон бредовый...

.
И первым, с кем ты встретился в тот час,
Идя дорогой сумрачной и дальней,
Был тот поэт, усталый и печальный,
Он сердце песнями тебе потряс, —
Ты к этим песням, жалящим огнями,
Припал души иссохшими устами...

.
Еще идешь ты. Долог путь безвестный.
Иди, пока не кончен тяжкий труд,
Пока, изранив, сердце не сожгут
Твои еще не вызревшие песни,
Пока не будет в сердце ни огня,
Ни искры чувства и ни капли страсти,
Пока оно навеки не погаснет,
Окаменев.

.

Твои паденья — как погода,
 Не предсказать ее причуд.
 Вот так же бури с небосвода
 То град, то снег на землю шлют,

Но даль светлеет голубая,
 Всё ярче небо, и на нем
 Вновь солнце светит, улыбаясь
 Земле, очищенной огнем.

Они твердят, что я устал,
 Что сбился я с пути прямого,
 Что, бросив битву, я избрал
 Иную цель пути земного.

И трудно шамкать дряхлым ртам,
 Но всё лепечут в безголовье, —
 Как будто, умирая, там
 Шуршат засохшие колосья.

Ты так велик, огромен и высок,
 Ты кровью строчку каждую отметил,
 И каждая из этих жарких строк
 Навеки связана с твоим столетьем.
 И как не вырвать из календаря
 День, затерявшийся между другими,
 Так и твое укоренится имя,
 Одним гореньем с временем горя, —
 В нем навсегда останется твой след,
 Там, где огонь и меч великих лет.

Ленин! Ленин — но не митинговый,
 Не литавры марша, не плакат,
 Ленин — как вершина, как обхват
 И как построенье темы новой,
 Зреющей в тебе не как трава,
 А как сталь, как воля. Эта тема —
 Как начало жизни, как поэма,
 Созиданья первые слова. . .

Тебе сияет солнце. В море света
 Жизнь кажется тебе, как кровь, горячей.
 Ты любишь труд свой — даже римфа эта
 Тебе сегодня кажется удачей.

Но для тебя милей всего на свете,
 Милей, чем жизнь сама, — вот эта дрожь,
 Восторг и трепет, — ибо чувства эти
 И эту радость — сам ты создаешь.

Во всем сопротивленье матерьяла,
 Будь то алмаз, железо иль гранит.
 И слово — тверже камня и кристалла. . .
 Тут рифма «подходящая» спешит —
 Вот легкий путь, отвергнутый тобой же,
 Инстинкт привычки — побори его,
 Ведь шар земной и солнце только тверже
 От вечного движенья своего.

1929

ЭПиграММЫ

179. ОН

Он не ученый, не поэт,
Не романист он и не критик,
Он рад тому на склоне лет,
Что мозг не весь усох и вытек.
В тупую спячку погружен,
Живет, наивно убежденный,
Что и поэт, и критик он,
И романист он, и ученый.

180. ЭПИТАФИЯ

Здесь покойтсЯ (имя) —
армянский прославленный критик,
Что геройски всю жизнь... не писал,
но вершил над поэтами суд.
Ты почти его память, прохожий.
В молчанье постоЙ над могилой.
Не единожды, нет, —
дважды мертвый покойтсЯ тут.

К Н И Г А П У Т И

(1929 — 1934)

Г И М Н Ы И ЗАВЕТЫ

181. ГИМН ЛЮБВИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТВАЖНЫМ ЮНОШАМ БУДУЩЕГО

1

Когда приходит новая весна
И в жизнь опять вступает поколение, —
Кимвал звучащий — солнце, а страна —
В сердцах отважных юношей цветенье.

Так каждый раз — с улыбкою иной,
Так каждый раз, но неизменно — милой,
Так каждый раз — с бездонной синевой
И каждый раз — с необоримой силой.

О юноша, приняв его, храни,
Храни тебе дарованное счастье, —
Девичьих глаз любовные огни
Осветят дни тревоги и ненастья.

Как винограда гроздь — ее уста,
Упейся ласками подруги нежной.
Пою любовь твою, она чиста,
Могучей вечности завет безбрежный.

Нам свыше предназначена она,
 Непрочная весенняя отрада,
 И в каждом миге гром и тишина,
 Палящий зной и влажная прохлада.

Ты в поле озаренное пойдешь
 Срывать цветы победною рукою,
 Свой путь с эпохой в дружбе обретешь,
 Не ограждаясь от людей стеною.

Не только телом, сердцем и душой —
 Будь молод и поступками своими, —
 Тогда и время весело с тобой
 Пойдет вперед, твое прославив имя.

Твоей весны пусть блещет торжество,
 Пускай твой путь уже покрыт цветами,
 Ты должен сам озолотить его
 Любовью крепкой, светлыми делами.

Иди по лугу юности весной,
 И пусть весна идет с тобою рядом,
 И, наслаждаясь страстью молодой,
 Гляди в грядущее бесстрашным взглядом.

Своей любви вкушая первый плод,
 Почувствуй сердцем истину простую,
 Что для любимой ты теперь — оплот,
 Твой долг — беречь подругу дорожую.

Знай! Розы нежные любви твоей
 В цветущий луг тогда лишь превратятся,
 Когда любовь подруги всё сильней
 Алмазом жизни будет разгораться.

24 февраля 1933

182. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ГИМН ПРИШЕЛЬЦАМ

Привет вам, привет, незнакомцы, толпой
Текущие в древние наши врата.
Горы бесценных даров вы всегда приносили с собой,
Вы — залог урожая, невиданного никогда.

Ежесекундно заходите вы в наш дом,
В наш сад, где ветвям бесплодным пока еще нет числа,
Где манны небесной люди не ловят ртом,
Где радость росой на каждый лоб не легла.

Увы, не ухожен стариннейший из садов,
Даже дереву знаний падо много забот и тепла,
Чтоб сучья согнулись под грузом сладких плодов,
Чтоб мудрость из почек раскрывшихся проросла.

Не только бессонным усердием и трудом —
Мукой и кровью тянутся всякий год
Деревья из мрака к рассвету, чтоб нам потом
Дарить по каплям свой горький и терпкий мед.

Много усилий, усердия и мечты,
Светлых голов и полных огня сердец
Нужно, чтоб каждая горсть земли принесла плоды,
Чтоб жизнь со счастьем встретила наконец.

Уверенным шагом вступайте под свод ворот,
Катитесь лавиной, способною всё смести,
И пусть за шествием смотрит грядущий Лот,
Чтоб не вздумал никто оглянуться на полпути,

Чтоб твердость и бодрость наполнили все сердца
На пути бесконечном, который вам свыше дан,
Чтоб к насущному хлебу, добытому в поте лица,
Не подмешала суетность горьких своих семян.

25 февраля 1933

183. ГИМН ОТВАЖНОМУ ПУТНИКУ

В одежде путника, с котомкою заплечной,
Ты в путь отправился, отважный пилигрим,
Взяв посох свой, идешь дорогой бесконечной,
Тверда душа твоя, и взор невозмутим.

Какие подвиги, великие свершенья
Влекли тебя в тот час, заставив вдаль идти?
Об этом скажешь ты потом, по возвращенью,
Коль не коснется рок ноги твоей в пути.

Вернешься, и с собой нам принесешь во взоре
Бескрайний горизонт, бездонную лазурь,
И дали синие, безбрежные, как море,
Дыханье рек и гор, и ярость зимних бурь.

Ты на ногах своих разбитых и усталых
Нам принесешь следы дорог из-за черты,
Где путника нога ни разу не ступала,
Где солнце, может быть, увидел ночью ты...

Кто знает, что за вкус плодов из стран далеких
Ты принесешь с собой на языке твоём,
Какие ты в себя впитаешь с ними соки,
Какой сладчайший яд вкусишь в краю чужом?

Ты принесешь в ноздрях неведомый ни храмам,
Ни хижинам простым бессмертный аромат,
Который может стать живительным бальзамом,
А может быть таким, как самый страшный яд.

Ты принесешь в ушах, не знающих отныне,
Что значит тишина, неповторимый звук —
Лесные шепоты и голоса пустыни,
Шуршанье черепах и шорохи гадюк.

О путник, эту песнь тебе я посвящаю,
Неведомых земель бесстрашный следопыт,
Вперед, своим путем, иди от края к краю,
И пусть твоя тоска в груди твоей горит.

С душой богатою, как грузы каравана,
Вернешься ты — о нет, богаче во сто крат!
И тем, кто смерть тебе пророчили и раны,
Как благо ты отдашь всё то, чем ты богат.

И если встретишь смерть в глухом далеком
месте,
Пусть со ступней твоих, из сердца и из глаз
Всё прошлое твое и будущее вместе
Приветствуют тебя в прощальный этот час.

И пусть под веками сияет незакатно
Сноп солнечных огней и манит синева,
И вечности певец — седое время внятно
Прошепчет над тобой бессмертные слова.

27 февраля 1933

184. ГИМН КНИГАМ

О, мир книг — вселенная бесконечная!

Многообразные, словно звезды,
То комете подобные, то планете,
Люблю я книги, интимно и просто
Со мной говорящие обо всем на свете.
Вожделея, словно юнец невинный
В светлых объятьях подруги несмелой,
Люблю их: и новые, и старинные,
И неумелые, и умелые.
Упорно, как опытный проводник,
Как вождь, искушенный в делах боевых,
Люблю я всё мирозданье книг —
Величавую конницу дум своих.

Книги бесчисленны, многолики,
Рождали их все времена и страны,
Но каждая, в сущности, — дар великий,
Каждая — мир чужой и желанный.
По жизни они не идут парадом,
Они держать не умеют строя,
Одни, нас увидев, шагают рядом,
Другие неслышно скользят в былое.

Есть книги вечные, их немного,
Но с тем, кто прочел до конца такие, —
Куда б ни сворачивала дорога,
Они неотступны, как искус змия.
Есть книги робкие, ненароком
Кивнут и простятся у поворота,
Но что-то задето в душе глубоко,
И в грезы на годы проникло что-то.
Есть книги властные и прямые,
Как повелители, как пророки.
А есть равнодушные, словно немые,
Куда ни посмотришь — пустые строки.
А есть жеманные, как девицы,
Которых любить невозможно вечно,
Но в которых так сладко на миг влюбиться. . .

О, мир книг — вселенная бесконечная!

Книги бесчисленны, разнолики,
И в скольких собственный мир громадный.
Слова их о жизни многоязыки,
Неповторимы и беспощадны.
Есть книги нагие, а есть и франты,
Подобные пышною пустотою
Царю Валтазару, что слыл гигантом,
Но мало весил и мало стоил.
Есть книги наивные, как природа,
Они безыскусны, они сумбурны,
Но вникший в писанья такого рода
Верен им до погребальной урны.
Лишь надо услышать звучащее глухо,
Сердцем со скрытой гармонией слиться.
Они словно крепости мысли и духа,
Куда только смелым под силу пробиться.
Есть книги — дворцы, коль глядеть снаружи,
Но стоит войти под портал парадный,
Как запустенья могильный ужас
Сожмет твоё горло рукою смрадной.
Есть книги — свежее зеленой чащи,
Есть книги — бездоннее синего океана,
Есть книги — вольнее бури, меж скал гудящей,
Есть книги — нежнее руки, врачующей раны.

Одни звучат задумчиво, как свирели,
Другие грохочут и рвут небеса на части,
А третьи украдкой, молча приходят к цели,
Вливая в сердца трагедийные страсти.

О, мир книг — вселенная бесконечная!

Да, я люблю эти конгломераты мысли,
Чья самобытность и свежесть неповторимы,
Люблю их противоречия, живущие в форме и смысле. . .
Есть разные книги, но все они мной любимы.
Они многоцветны — под стать закату,
Многоязыки — под стать вселенной, —
Люблю их яростный, их крылатый
Огонь, пылающий неизменно.
Люблю в них всё: голоса природы,
Страстей человеческих ароматы. . .
Нет выше, лучистей нет небосвода,
Чем этот, созвездьями книг богатый.
Гармония всё здесь, — миры живые,
Союзом таинственным скреплены,
Стоят недвижно, как часовые,
На полках, расставленных вдоль стены.
О, как я люблю лабиринта этого тайны,
Щедрость оттенков, красок буйство беспечное,
Слова, что различны, несхожи, но не случайны. . .

О, мир книг — вселенная бесконечная!

2 июня 1933

185. ГИМН ХУДОЖНИКАМ-МИНИАТЮРИСТАМ

Вот они — древние книги из ломких телячьих кож,
Вот они — толстые книги, писанные от руки.
Сколько упорства, терпенья и жадной тоски,
Сколько согнутых спин, сколько рук, одолевших дрожь,
Порождено было древле ими! . . .
О, рабы своей гениальности, не смежавшие сонных век
Ночами долгими и глухими,
Как ваш закованный в латы век,
Как ваше усердие убогое и святое! . . .

Вот она — жатва варварских тех столетий —
Труд иступленный, враждующий с тьмой пустою,
Смятение мыслей, тоскующее о свете,
И, души порабащующий, гениальности сладкий яд.

Согбенные, седобородые, дни и ночи подряд
Писали старцы без отдыха, для обуздания духа,
Книги на вечном пергаменте... Греза, зыбкая словно
дым,

Рожденная временем, что было слепо и глухо,
Нищие бредни — вот всё, что досталось им
Ценою бессрочной каторги душ и тел. . .
Рабство свое, не щадя воспаленных глаз,
Каждый пером золотым раззолачивал как хотел, —
Это было, как если б сейчас, вопреки всему,
Гениальная девушка расшила ночную тьму.
С нежностью и терпением,
Понуждаемы собственным гением,
Они в гармоническом распорядке
Создавали рисунки, изощренные, как загадки,
Дивные, словно легенда о воскрешении,
Изображенья цветов и птиц
Ложились на титла и на поля страниц.
От ночи средневековой ища спасенья,
Они мечтою тьму превращали в свет
И, создавая в страданиях чудо, пускай пустое,
Вкушали тайную радость, выше которой нет, —
Истому, и к нам приходящую с осуществленной мечтою.
Восторг отрешенности духа беспредельной открылся им,
И, довольные счастьем этим глухим,
Они от потомков скрыли смиренные имена,
Веря, что души бессмертны, а суета грешна.

О рабы, был ваш гений светел, но слишком просты
умы! . .

Сегодня искусством древним бредят дети и старики,
Но имена ваши тщетно найти пытаемся мы
В старинных книгах, вами писанных от руки.
В бессмертие ваших душ не верит никто из нас,
Но мастерство бессмертно, и тут уже верь не верь,
А толстые фолианты, хранимые по сей час,
В чехол своего бессмертия спрятали вашу смерть.

Вот эти древние книги, любой обветшалый том —
Надгробие безымянное, которое создали вы
Терпением и умелостью, гением и трудом
Под сводами средневековья, где не поднять головы.

28 января 1933

186. ГИМН ПРИРОДЕ

О Природа, о Мать!

Вечно длишься ты, дивно великая, —
Никогда не поймать
Изменений твоих, о единая, о многоликая. . .

О Природа, о Мать!

Вот созвездья твои, вот небесный простор,
Вот планет череда и светило гигантское,
И глубины озер, и зазубрины гор,
Бесконечные реки и синь океанская. . .

О Природа, о Мать!

Жизнью, силами жизни полна не всегда ли ты?
Но изменчив и грозен клокочущий вечно родник!
И, потоком лучей ослепительных залитый,
Дух мой властно к тебе, необъятной, приник.

О Природа, о Мать!

Усмехаешься ты, если тот, имя чье — Человек,
Созерцающим духом познать тебя хочет, обширную,
Величавую пышность твою, твой стремительный бег,
Многозвездную тайну твою, многомирную. . .

О Природа, о Мать!

Ты добра и сурова, безжалостна ты и кротка,
Ты движение любишь и силы громадные,
Суетою и прахом ты нам — так века и века! —
Наполняешь сердца, к созерцанию жадные.

О Природа, о Мать!

Но не ты ли вручила, склонясь к нам впервые от века,
Солнца-сердца кусок, неприметный обломок один,
Позабытому, но удивительному человеку,
Человеку тому, кто не с болью, а с жаром в груди
Поднял грубой рукою синеющий камень
И ударил о камень другой,
И сверкнувшую искру, дочь солнца, в лачугу свою ввел,
чтоб пламень
Там плясал темной ночью, как вихрь золотой?

О Природа, о Мать!

И не ты ли дала океанские дали безбрежные
И дары из глубин беспредельных морей
На потребу тому человеку с душою мятежною,
Кто из гибких древесных ветвей
Сплел когда-то подобие невода,
И метнул его в море, и в море словил
Златокосую деву морскую, и деву ту,
Как рабыню, в землянке своей поселил?

О Природа, о Мать!

Оттого, что ты можешь любить только сердцем
могучего,
Пожелала ты силы, что тайной считала своей,
Передать во владенье ему — чтобы к лучшему шел он
от лучшего, —
Приказав с материнской любовью — «Владей!».

О Природа, о Мать!

Человек, овладев постепенно безмерным сокровищем,
Научился, однако, оковы ковать из него,
Для другого — такого же! — стал он жестоким
чудовищем,
На усладу свою обращая труды и мученья его...
Те, которые жадны, свирепы, безжалостны были,
Отнимать научились деянья твои у рабов,
Самый дух их, тебя почитавший, цепями обвили,
Умертвляли, тебя проклиная на веки веков...

О Природа, о Мать!

Человеческий гений презрев, созидающим
И упорным рукам — безгранично искусным рукам,
Человека горячим надеждам и смелым мечтам
И страстям его жарким, на многое в мире дерзающим,
Стали ставить преграды и цепи ковать:
Кто нарушит закон — лютой карой настигнутый,
За стеной оказаться высокою может, воздвигнутой
Для того лишь, чтоб сердце твое от людей закрывать!

О Природа, о Мать!

Но века протекли. . . И не силы ль восставшие, грозные,
На войну выходя против тюрем, дворцов, крепостей,
Разрушают и в прах обращают те стены, на вид
грандиозные,
Славя труд, славя хлеб, славя блеск незакатных лучей?
Эта битва, война беспощадная, неумолимая,
С палачом, угнетателем и удушителем бой,
Не приход ли к тебе, о любимая,
Не желанная ль встреча с тобой?

О Природа, о Мать!

По путям этой грозной борьбы
Миллионные толпы идут, — то проходят вселенною
Те, кто только мечтал о ласке твоей, те, что звались —
рабы,
У которых враги отнимали всегда урожай священные.
Эти толпы идут к безгранично высоким твоим
Небесам многомирным, идут властелинами
По дороге победной — горами идут и долинами, —
Чтобы даже и к звездам твоим золотым
Человек поднялся — встал, как гений, над всеми
вершинами.

О Природа, о Мать!

Покорителей этих встречай наступление!
И пойми, что победная песня твоих сыновей —





Это песня во славу творения, —
Молодая, из недр обветшалого мира несется она всё
сильней!

Ты внемли и звучанью любовному
Песни той, что и я, жалкий атом твой, гордый твой сын,
Отдаю тебе в ясную, звездную ночь по-сыновнему,
Посылая привет горним звездам, весь полон их тайн
и глубин!

О Природа, о Мать!

27 февраля 1933

187. ГИМН УМЕРШИМ

Мы с горестью великой провожаем
Вас, что ушли из мира навсегда,
С земным простились вы навеки раем
И больше не воротитесь сюда.

Пусть вам грозит за гробом только тленье,
С землею черной пусть сольетесь вы, —
Что я сказать посмею в утешенье? —
Что это участь всех людей, увы!

Пускай неотвратимо умираешь,
И никому не избежать конца,
Зато бессмертны те воспоминанья,
Что наполняют горечью сердца.

Над смертным память восстает страданьем.
Из праха, как живой алмаз, блестит,
Грядущий день поит благоуханьем
И гимном торжествующим звенит.

Дни станут прахом, все умрут светила
В сияющих и синих небесах,
Истлеет та весна, что нас пленила,
И даже розы превратятся в прах.

О память, ты одна не станешь тленем,
Как бы лучом бессмертья рождена,
Ты, словно облако над вод кипеньем,
Сиянием своим окружена.

Ты — эхо, что не смолкнет, не растает,
Сверканье дня, что навсегда истек.
В ваш полдень память в небеса взлетает,
Чтоб после оросить иной цветок.

Из крови вашей и из дум высоких
Пусть ее возникнет аромат,
Она не ваша, как и эти строки
Теперь уже не мне принадлежат.

Не так же ли погасшее светило
Нам щедрый свет неутомимо льет?
Забвенью ж тем, кого хранит могила,
И слава тем, кто в памяти живет!

27 февраля 1933

188. ГИМН НАШИМ ВЕЛИКИМ МАСТЕРАМ

Дорогому Микаэлу Мазманяну

Вы били горный туф, кололи мрамор свой,
Вы всех земных пород одушевляли твердь.
Вы ткали песни лад, шли в пламень боевой,
Вы воинам тупым провозглашали смерть.
Пред вашим геннем склоняюсь головой,
Одевшим в цвет и звук земную нашу твердь.

Вы строили мосты, и башни, и дома,
Скрепленьем ваших дуг круглится Арарат.
И помнит ваш чекан Аравия сама,
И готика горда разлетом ваших врат.
Блеск мастерства горит, — священный жар ума.
Вам суждено, творцы, бессмертье стократ.

Во всех краях земли, в осколках и кусках,
Иссечены резцом, куда ни кинешь взор,
Глухие имена, забытые в веках.
Вы с брэнностью своей не затевали спор.
Вы молча строили. И топчем мы в песках
Следы глухих лачуг, подземных ваших нор.

Чутье и глазомер вам открывали суть
И подарили смысл материи земной.
Позвольте же и мне вершины дотянуть,
Найти гармонию, не знаемую мной.
Внушите слову мощь и покажите путь,
Ведущий к мастерству, что дышит глубиной.

Хочу, как ученик, внимать вам без конца,
И строки вырезать сеченьем золотым,
И рифмы сдвигать, как цепью, в два кольца,
Их, как алмаз, гранить по правилам простым.
Пусть башнями встают деяния певца,
Под солнцем времени одеты в росный дым!

Проснулся ли во мне ваш грозный дар сейчас?
Я ли последний ваш потомок, мастера?
Вот книга, отблеском бессмертия лучась,
Всем трудолюбием моих отцов остра.
Услышьте, мертвые! Так заклинаю вас, —
Печать свою на мне прожгите, мастера!

6 июня 1934

189. СЕМЬ ЗАВЕТОВ СЕЯТЕЛЯМ ГРЯДУЩЕГО

О сеятели, вы, кто бросит горсть семян
На пашни и поля, что мы для вас вспахали,
Впитавшие наш пот и кровь из наших ран,
О вы, оратаи, что из грядущей дали
Придете радостно, веселым маршам в лад
Торжественно гремя голубоватой медью
Тарелок душ и солнц, — как ваш далекий брат,
Вам семь заветов шлю, прошедших лет наследье.

Вот первый мой завет, который шлю вам я
Из наших алых дней, что Будущим чреваты, —
Горсть первую семян вы бросьте на поля,
Как светлую мечту, что грела нас когда-то.

Рассыпьте, как добро, из полного мешка
Горсть птицам и ветрам на нашем древнем поле,
Пусть будет радость их светла и велика,
Как были велики когда-то наши боли.

На Север бросьте вы вторую горсть семян,
К безоблачным степям, к просторам необъятным,
Туда, где сорняки смел Красный Ураган,
Что для больной земли стал ливнем благодатным.

Вы бросьте третью горсть туда, к горе Масис,
Пусть, как мечта, святым навеянная чувством,
Те семена, взлетев, не возвратятся вниз,
К заснеженной груди прильнув горячим сгустком.

И горсть четвертую вы бросьте на простор —
Горсть чистых помыслов, стремлений к светлой цели,
Пускай летит туда, где встал поселок Норк,
Чтоб новой песни там ростки зазеленели.

Горсть пятую свою должны вы бросить ввысь,
В дар духу нашему, который в муке крестной
Когда-то породил возвышенную мысль,
Безбрежную мечту, что стала этой песней.

Пусть будет дар шестой, о сеятели, щедр —
Он праху прошлого почетной будет данью.
Так бросьте эту горсть, и вы из темных недр
Услышите в ответ далекие рыдания.

И зачерпните горсть в седьмой, в последний раз.
Рукою щедрой дар рассыпав шестикратный, —
Засейте свой надел, тоскуя, что без вас
Придет желанный день его грядущей жатвы.

11 февраля 1933

190. СЕМЬ ЗАВЕТОВ ПЕВЦАМ ГРЯДУЩЕГО

Прошедший множество земных путей и нив,
От мудрости плода вкусивший сок горчащий,
Я семь заветов вам передаю своих,
Певцы грядущих дней, великих дел земных
И славы будущей, что станет настоящей.

Вот первый мой завет — я шлю его как весть
Из глубины веков для вас и ваших внуков:
Слагая песнь свою, вы помните, что песнь
Родится из земли, а не из слов и звуков.

Вот мой второй завет — пусть каждый сохранит
Его в душе и вспоминает чаще:
Песнь — русло и река, она — копьё и щит,
Добро, бесценный дар, нам не принадлежащий.

Певцы грядущего, времен извечный ход
За вами следует, — итак, завет мой третий:
Страну рождает век, он песне жизнь дает,
Но песнь переживет и страны и столетья.

И как бы ни были прекрасны времена
И век ваш величав, — не пожалев усилий,
Посеять вы должны такие семена,
Чтобы они его на годы пережили.

И знайте, нет труда милей и тяжелей,
Чем пахота души. Вначале было слово,
И слово было труд, усилие людей,
И песня с ним была — добра первооснова.

Итак, копьем души вооружась, чуть свет
Трудитесь, пахари, трудитесь терпеливо,
Посейте звуки здесь, на пашне прошлых лет,
Во имя завтрашней благословенной нивы.

И вот еще одно запомнить те должны,
Кто, книгу прочитав, задумался об этом:
Для песни, что грядет, заветы не нужны —
И это будет пусть моим седьмым заветом.

16 февраля 1933

ИСКУССТВО ПОЭЗИИ

191. СОНЕТ

О блюдолизы жалкие!
«Дашнакам»

Я трудно песни пел, с упорством их слагая,
Как грузчик, на себе их тяжкий груз волок,
Ища свою тропу средь жизненных дорог,
И вместо солнца мне светила цель благая.

Но жарко я любил, моя любовь святая
К искусству моему — терпения залог.
Как ценную смолу, я щедро сердце жег,
Огню Поэзии погаснуть не давая.

О суд невежд! В меня камнями вы бросали,
Не причиняя мне ни боли, ни печали,
Пред вашей темнотой огонь мой чист и ал.

И в благодарность вам хотел бы спеть я оду,
Являющей вашей тьме и черному походу,
Который мой огонь лишь ярче зажигал.

20 сентября 1933

192—193. NOSTALGIA

1

Мне часто снится светлая река,
Над ней дворцы, а у воды, по лугу,
Проходят девушки, в руке рука,
Рассказывая жизнь мою друг другу.
Уже прошла столетний череда,
С ней звуки строф моих и песен ясных
Дошли, как эта плавная вода,
До берегов Грядущего прекрасных.
Мне часто снились эти берега,
И шествие, и светлый день весенний...
О, эта величавая река,
Прекраснейшее из моих видений!

30 ноября 1933

Мой золотой, золотой Иран!
«Чаренц-наме»

На дальних берегах, где ты когда-то
Блуждал, о нежности слагая стих,
Как сон потомков, охраняя свято
Всё то, что в книгах ты зарыл своих,
Теперь пастух блуждает одичалый,
Прислушиваясь к шепоту ветров,
И вместо песен, что ты пел, бывало,
Поет мелодию без слов. . .

18 сентября 1933

194

Всечасно внемлю Туманяну
И размышлять не перестану, —
Достигну ль мудрости его,
Когда седым и старым стану.

Смогу ль бестрепетно встречать,
Как он, измены и паденья,
И с бескорыстьем всепрощенья
Богатства сердца расточать
Так горячо и неустанно,
С такою верою в людей?
Достигну ль высей Туманяна
Хотя бы к старости своей? . .

1934

195

Твоих ночных минут
Томление и свет,
Когда горит в груди
Дух творчества свободный, —
Не стоят ли они
Всех мук твоих и бед,
И клеветы людской,
Враждебной и бесплодной?

12 апреля 1934

Сегодня ли тебя найдет судьба
 И ты глаза закроешь, холодея, —
 Не жалуйся на смерть: она слаба
 Перед душой бессмертной твоею.
 Взаимы дала природа много сил
 Душе твоей, пылающей, как пламя,
 И ты сторицей долг ей заплатил —
 Мечтами, думами, стихами.

12 апреля 1934

Всё, что имел издревле твой народ
 Прекрасного, высокого, святого,
 И всё, что в эти дни в груди его живет, —
 Он всё вручил тебе — мечту свою и слово,

Чтоб, полный верою, с эпохою своей
 Ты всё это связал узлом нерасторжимым
 И, протянув мечте грядущих дней,
 Остался навсегда великим и любимым.

10 августа 1933

Свой труд последний — эту книгу
 Ты не для дней писал, ты знаешь сам, —
 Ты посвятил ее не дню, не мигу,
 А будущим годам или векам.

В нее вложил ты всё, что в век твой было
 Высокого и что, за годом год,
 В труде твоём тебе давало силу,
 А песне — мудрость и полет.

9 августа 1933

199. ПАМЯТНИК

Я памятник себе воздвиг в мой трудный век,
Когда всё рушилось, что камня и металла
Веками почитал прочнее человек.

Я памятник себе воздвиг из вещей дум
И песен яростных, звучащих в сердце века,
Как бури роковой неукротимый шум.

Я в Карсе был рожден, и хоть Ирана зной
Жег душу, как тоска по родине прекрасной,
Стал родиной моей весь этот мир земной.

1 декабря 1934

КНИГА ПОЗНАНИЯ

200—211. Р У Б А И

1

Над миром наших дум, надежд, сомнений, книг
Немеркнущим огнем сверкает солнца лик.
И тот огонь, к добру и злу равно бесстрастный,
Наш каждый творческий воспаляет миг.

2

Волненье наших дум — в напевах наших муз.
Меж веком и мечтой в них закреплен союз,
И тем возвышенной звучат напевы эти,
Чем неразрывней мощь взаимных этих уз.

3

Роптанья духа ты подслушал у Теряна
И от него узнал, как сладко ноет рана.
Но вот напев иной в душе твоей возник,
И весь охвачен ты огнями Туманяна.

4

Дух полон щедрости единый в жизни раз:
Когда, перед концом, горя и пепелясь,
Себе подобную звезду он порождает.
Блажен и светел он в предсмертный этот час.

5

Твой дух не заключить в оковы, человек,
Когда его в броню облек великий век.
Свободно вознесясь, несокрушимой верой
Он будет провожать веков грядущих бег.

6

Поэт приходит в мир с пучком незримых стрел,
Чьим пеньем наполнять наш слух — его удел.
Но не стрелы размер творит его величье,
А лишь мишеней тех, что взяты на прицел.

7

Бывало ли когда, чтоб книга сохранила
То, чем трепещет мысль, в чем блеск ее и сила?
Всё гибнет: аромат и вес... Ах, в книге мысль —
Лишь отражение далекого светила.

8

Ты чувствуешь: твой дух пластами рудника
Уходит вглубь, — до дна дорога далека.
Какой огромный клад на свет извлечь ты должен,
Пока тебя щадит жестокой тьмы рука.

9

Раздумий ручейки, чей сокровенен бег,
В тебе сливаются в потоки мощных рек.
Не так же ль на земле рождаются потоки
Из тысячи ручьев, не сохнувших вовек?

Кто мысль безмолвную не вовремя зовет,
 Обманется: она насильно не придет.
 Мысль посещает нас любовницей неожиданной,
 Чей поцелуй огнем нам обжигает рот.

Что мудрым делает, — ответить кто бы мог?
 Наш возраст или путь, что начертал нам рок?
 Так наливается зерном тяжелым колос...
 О миг прозренья, ты — течение и скачок.

Мечтали страстно вы, певцы былых времен,
 Что в светлый будет сад наш мир преобразен.
 Мы к долгожданным дням приблизились,
 но помним
 Ваш благородный труд и благородный сон.
 1934

212—227. Д И С Т И Х И

Auf, ihr Distichen, frisch...
 Goethe¹

Пан и Дельфийский оракул поэтом тебя не признают
 Подлинным, если тебе чужды твои времена.

Утро зардело над миром, когда уже был ты поэтом.
 Время — за полдень. Теперь — должен ты стать
 мудрецом.

Дар получил от Ирана, язык от Армении древней,
 Но ты великий поэт благодаря Октябрю.

¹ Дистихи, смело вперед... Гете (нем.). — Ред.

4

Гений твой поднял тебя над тобою самим и над веком.
Как не задохся твой дух в Веймаре жалком твоём!

5

Бури мудрец устрасился. Не уразумел он, что это
К обожествляемой им дивной гармонии шаг.

6

В жизни дисгармоничной искал гармонии Гете, —
Так не Сизифов ли труд взять он хотел на себя?

7

Как свою душу ковать, чтобы в ней воплотилось бывшее,
Но в настоящем она стала всех новшеств новей?

8

Данте, Гомер и Пушкин, вчера вы засеяли поле.
Вам же принадлежит жатва грядущего дня.

9

Нимфы, свирели и арфы... Но разве в ручье Аполлона,
В этом прозрачном ручье, не было ила и слез?

10

Если ты жизнь исчисляешь со дня своего рожденья,
В день кончины твоей этот закончится счет.

11

Если ты хочешь прожить на свете дольше мгновенья,
Мни себя только звоном, — не головным, не в конце.

12

Чувствами век мой богат, и думами, и делами,
Мог лишь слепец иль дурак нищим остаться у нас.

Много раскрыли мы тайн, что вчера были темной
 Жизнь оттого не скучней, стала лишь глубже она. загадкой.

Сколько сложнейших вопросов, неразрешимых когда-то,
 Просто разрешены в непримиримой борьбе!

Понял ли ты наконец, что вопрос содержания и формы —
 Хлеба вопрос и земли? В битвах решается он!

Век наш нам вексель дает, а уплату попросят потомки,
 Суд их потом разберет, кто оказался банкрот.

1934

228—235. Б Е Й Т Ы

1

Скажи, певец, — если жизнь тебе казалась чашей вина,
 Для скольких ровесников твоих была польнью она?

2

Ты пел, Хафиз: превратятся в прах и шах и его рабы.
 Так почему ты любил любовь и брал дары у судьбы?

3

Смысл жизни ты в любви и вине искал на земле, Хаям.
 Но ты искал вино и любовь в остывшей золе, Хаям.

4

Ты многих шахов позолотил своим пером, Фирдуси!
 Никто из шахов не оплатил тебе добром, Фирдуси!

5

Походы шаха ты восхвалял, но громкой хвалой своей
Ни бедной жизни ты не согрел, ни жалких своих
костей.

6

Слова твои — золотая ткань, всеславный Саят-Нова.
Ты не имел ни меда, ни яр, бесправный Саят-Нова.

7

И золото, и алмазы слов ты в ряд нанизал на нить.
Одной возлюбленной опален, ты всех пришел опалить!

8

Шах пред тобою и нищ и наг, столь чтимый Саят-Нова.
Народ щедрее слуг не имел, чем ты, мой Саят-Нова.

16—18 апреля 1934

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

236

Всю ночь, больной, безумный, в муках
О солнце грезил я без сна.
Вокруг ни шепота, ни звука,
Всё тускло — сумрак и луна.

Я солнца ждал во тьме, как чуда,
Всем сердцем полюбить готов
Звук долгожданный, шепот мудрый
Солнцеподобных ярких слов.

Но мгла была вокруг меня,
Был мрак — ни звука, ни огня.

1915

237. СЛУЧАЙНОМУ ПРОХОЖЕМУ

Мы в этом мире — ты и я, — мы оба здесь сейчас
Живем, идем, — куда идем? Одна судьба у нас.

Прохожий, стой. Давай в глаза друг другу поглядим,
И, может, другом назовем того, кто был чужим.

Остановись. Куда спешишь? Несешься со всех ног...
Быть может, есть в моих глазах для друга огонек...

Иль ты не рад, что мы живем, что встретились грудь
Иль без возврата вдаль уйдешь, как безвозвратный ^{в грудь?}
путь?

Пройду и я, совсем один, своим путем-мечтой,
Путем, которым ты прошел, незрячий и чужой.

Прошел, незрячий — не взглянул и скрылся в тот же миг,
Но долго буду помнить я твой незнакомый лик.

Я буду помнить, как в пути — не призрак, не обман —
Какой-то человек прошел... Был вечер и туман.

1916

238

Меня чарует ночь и фонари,
Чарует улиц шум и мостовые,
Чарует люстры свет из-за драпри,
И блеск зеркал, их блики колдовские,
И мальчик с пачкою газет, и стук колес
Пролеток легких, и печальный, нудный
Напев бродяги, жалобный до слез, —
Вся скука и вся сказка серых будней.

1916

239

И для меня прервется путь земной,
Когда-нибудь глаза и мне закроют,
Забудут песни, сложенные мной,
И в землю плодородную заркоют.

И так же будет солнце бытия
Для нив и рощ творить благодеянья,
И не поверит даже мать моя
В недолгое мое существованье.

И каждая простится мне вина,
И я сольюсь, растаяв легким дымом,
С преданием, как наши времена,
Величественным и неповторимым.

1916

240. СКИТАЛЬЦЫ НА МЛЕЧНОМ ПУТИ

Дорогому Вивану

И так мы живем, что нельзя
нам не жить.

Фет

Два бездомных скитальца на Млечном Пути,
Два скитальца в изодранной ветхой одежде,
Бремя наших скорбей мы привыкли нести,
Доверяясь неясной мечте и надежде.
Полюбили мы сердца случайный порыв
И видения в пору вседневных скитаний,
И, в бессонных глазах навсегда сохранив
Многозвездное небо в блаженном тумане,
Мы проходим теперь по дорогам Земли,
Сны покинувших Землю приняв как наследство.
И растаяло облачком серым вдали
Наше смутное и безотрадное детство,
Расточилось, растаяло детство, как бред;
Мы домой не вернемся, мы долго блуждали,
И попятной дороги на свете нам нет,
Потому что нам грезятся дальние дали,
И теперь нам единственный свет бытия —
Беспрерывные, вечные поиски цели.
Но глаза не увидели солнц золотых,
И сердца наши светлой не встретили дали,
И глаза неотступно в глазах у других
Златотканое звездное небо искали,
Млечный Путь, беспредельную даль — и светил
Торжество, и пространства сиянье благое.
Взор безжизненных глаз наши души студил,
Пламя сердца гасил равнодушной золою.
Преисполнилось сердце мое, и хвалу
Небесам вознести я желал, и не знаю,
Почему я пою про докучную мглу
Дней моих, заплутавших в томленьи без края.
Опочило сказанье на дне моих глаз
О блаженстве в кругу синевы без предела,
О взаимовлияниях звездных рассказ,
И бесплодное сердце мое затвердело.

Нас не понял никто, и смешило людей
Наших пристальных глаз голубое свеченье,

И глумились над пламенем наших страстей,
Уходили, душе не даря утешенья.
И со смехом от нас отвернулась родня,
С нами только блудницы делили печали,
И разумные нас обходили, браня,
Лишь безумцы вполголоса нас привечали.
Не беда, что в безумье мы дни провели
И что мы задыхаемся, будто в дурмане.
Озаренные светом высоких мечтаний,
Мы покинем — счастливые — лоно Земли.

1916—1917

241. СЛОВО РАССТАВАНИЯ

Как часто я гасил в своих глазах огни,
Как часто звезды я в своей душе гасил.
Но в миг прощания былого не кляни, —
Пройдет, погаснет жизнь, но вечен песни пыл.

Пройдет, погаснет жизнь болотным огоньком,
Неясно брезжившим, печальным и немым.
А песня? Кто поймет, о чем я пел, о ком?
Печаль моей души достанется другим.

Был молчаливым я. Так мог ли видеть свет,
Чем жизнь моя была и что такое я?
Лишь знают, что, мол, жил, писал стихи поэт. . .
Вот так же знаю я, чем жизнь была твоя.

Я воспевал тебя, подобную цветку,
Печаль твоих очей и нежной речи звук,
Весь растворясь в любви, я пестовал тоску
Тянувшихся к тебе — увы, напрасно — рук. . .

Вот приближается туманный вечер мой.
Что делать мне, сестра, чтоб не рыдать в тоске,
Как примириться мне с той чашею пустой,
Которая дрожит в ослабнувшей руке?

Простят ли скорбь мою утраченные дни,
Во всем, что совершил, не усомнюсь ли вдруг?
Но, что бы ни было, родная, не кляни
Тянувшихся к тебе — увы, напрасно — рук!

1917

242. МОЯ ПЕСНЯ

Оставив Карс, его сады, под синим небом отчий край,
Дом из нетесаных камней, где юности я встретил май,
И даже Карине моей не крикнув издали: прощай! —
Бреду по городам чужим под гомон и собачий лай.

Бреду. . . Вокруг народу тьма, бегут, снуют туда-сюда,
Вокруг кипит чужая жизнь, шумит, как горная вода,
И кто мне скажет: ты за что? Кто скажет: ты дошел
куда?
А лица! Будто бы по ним топор прошелся невзначай.

Как песни серенькой мотив, ленивый, нудный —
эта жизнь,
Как незажившей раны боль, рубец подспудный —
эта жизнь,
И для кого же, для кого тут будет сердце петь, скажи,
Тяжелым оловом годов наполненное через край?

Но пусть хохочет мир вокруг, — полубезумный нелюдим,
Измученный и всем чужой, пойду я, вечный пилигрим,
К Аменты дальним берегам, к просторам неба голубым
Дорогой старых снов моих в край облаков и звездных
стай.

Я все грехи готов простить и все долги перечеркнуть.
И буду я идти, идти, взор устремив на дальний путь,
И если в Карсе Карине вы встретите когда-нибудь,
Скажите ей, Чаренц сказал: прости-прощай, прости-
прощай!

1919

243. БЕССОННИЦА

Грохочут, грохочут, грохочут копыта,
Незримая конница тьмою укрыта,
Бьют землю подковы, земле не заснуть,
Бескрайняя ночь, нескончаемый путь. . .

Грохочут, грохочут, грохочут копыта,
Бьют землю подковы, земля вся изрыта,
И вот уже бьют мне подковы в висок. . .
О, мир непонятный, как смерти порог!

1919

244

Вот осень желтая уселась на пороге
И мерзнет, и дрожит. . . И шум листвы затих,
И поздние цветы склоняются в тревоге,
Пасть неба хмурого сейчас поглотит их.

И мерзнет, и дрожит мой старый пес, и жметесь
К ногам, подняв глаза, и там, на дне зрачков,
Мерцает смутный страх, как в глубине колодца,
И «осень подошла!» он говорит без слов.

Да, осень подошла, мой пес! Теперь надолго
Мы лишены тепла. Прижмись к ногам, скули. . .
Она — голодная, и злость ее — от волка,
Она — туман седой, тоска и смерть земли.

1919

245

Темнеет — и в сердце мое проникает тоска,
И плачет вполголоса, как за стеной непогода,
И жалобы копит в углу своего тайника,
Копит меня каждой секундой минувшего года.

И ропот неясный я слышу всю ночь в полусне,
Он в мыслях туманных моих отзывается сиром,
И, кажется, он приближается тайно ко мне
Из непостижимо далекого мира.

И хаоса тысячелетнего ходит волна,
И скорбную душу бросает в пучину, и мимо
Проходят кружащиеся колесом времена,
Как путаный сон, недоступны и неуловимы.

То жалуется этот голос, безумный от слез,
То тихо зовет, как в потемках недужный ребенок,
То вскинется дико и, как в полнолуние пес,
Завоет спросонок.

И слушает сердце, как хаос, клубящийся в нем,
На сто голосов причитает, стонет и воет.
Так жизнь протечет, а потом в океане ночном
На дне равнодушная вечность мой дух успокоит.

1919

246. ТОСКА

Одной русской девушке

1

Я далеко, и больше нет
К прошедшему возврата.
Нет больше горечи тех лет,
Что мучила когда-то,
Тех улиц, тех больных огней, —
Роняя свет багровый,
Встают пожары красных дней,
Горя тоскою новой.
Вокруг меня огонь и дым,
Но, полон прежним чувством,
Я всё еще томлюсь твоим
Очарованьем тусклым. . .

Отдаться б вновь тоске дождя,
Твоим продажным чарам. . .
И детская душа моя
Кричит, кричит о старом. . .

2

Спускались тени темноты,
Я выходил из дома,
И молча приходила ты,
Без слов, сама истома.
Был блеск греха и глубина
В глазах твоих усталых,
И запах кислого вина,
И тлен одежд увялых.
И молча средь вечерней тьмы
Какой-то парой странной,
Усталые, бродили мы
По улице туманной.
А ночью поздней и сырой,
Не проронив ни слова,
Мы спали, точно брат с сестрой,
В гостинице дешевой.
Где эти ночи, эти дни?
И за какой чертою?
Я помню их, со мной они,
Как ты всегда со мною.

1920

247

О ты, рассвет весны моей, как мне вернуть тебя
теперь?
Для сердца ты всего милей, как мне вернуть тебя
теперь?

И лето знойное мое, где столько солнца и тепла,
Мой полдень в золоте огней, как мне вернуть тебя
теперь?

И осень зрелая моя, вся золотая, как плоды,
Как грозди, полные лучей, как мне вернуть тебя
теперь?

Вы все оставили меня, теперь я стар и одинок,
И в сердце рана всё больней — о, как мне вас
вернуть теперь?

Старуха, к сердцу наклонясь, шепнула мне, что
смерть близка,
Что у моих она дверей. . . О, как мне вас вернуть
теперь?

1920

248. ГАЗЕЛЛА МОЕЙ МАТЕРИ

Лицо вспоминаю я, родимая мать моя,
Под сетью светлых морщин, родимая мать моя!

Сидишь перед домом ты; весенний зеленый тут
Бросает тень на тебя, родимая мать моя!

Сидишь ты молча и те печальные помнишь дни;
Они пришли и ушли, родимая мать моя!

Ты помнишь сына, давно ушедшего от тебя,
Куда он ушел тогда, родимая мать моя?

И где он живет теперь, он жив или умер давно?
В какие двери стучит, родимая мать моя?

Когда усталым он был, в любви обманутым, — в чьих
Тогда объятьях рыдал, родимая мать моя?

В раздумье печальном ты; баюкает нежный тут
Твою святую печаль, родимая мать моя!

И слезы горькие, вот, текут одна за другой
На руки, руки твои, родимая мать моя!

1920

249. МАРИОНЕТКА

Едва слышна, едва, едва,
Идет, идет, вот шаг и два,
Пришла, ушла, опять пришла,
Желта, бледна, едва жива.

Рукой махнет — то вниз, то вверх,
Ногой стучит — мертвец, мертвец,
И лбом — в проем, с трудом, с трудом,
Рукой махнет, и вдруг — конец.

Глади — шатается, ползет,
Вот упадет! И вновь порыв —
Губа дрожит, открыла рот,
Застыв на миг, взор в смерть вперив.

На миг. . . И — в крик, как от ножа,
Глаза уставив вдаль, мертва. . .
Вот так умрет моя душа —
Едва слышна, едва, едва. . .

1920

250—252. ПАМЯТИ ВААНА ТЕРЯНА

1

Ваан Терян, как восхвалить мне память твою?
Пускай темнеет тихий вечер в нашем краю,
На сердце ляжет черной тучи тягостный гнет,
И плачет ливень, и о смерти ветер поет.

И листья мертвые мелькают передо мной
И устилают, друг мой дальний, твой путь земной,
И песнь чуть слышную заводит влажная мгла,
И славят боль твоей печали колокола.

2

Ты удаляешься. Ни вести, ни следа.
Теперь уже навек твое умолкло слово.
Нет, — сердце чувствует: ты вновь придешь сюда,
Когда настанет ночь и дождь заплачет снова.

Когда настанет ночь, когда в бессонной мгле
Обида вновь начнет язвить воспоминанья,
Ты возвратишься к нам, чтоб петь в пылу страданья
Любовь — последнюю, быть может, на земле.

Ты вновь придешь сюда, и вновь своею песней
Бессолнечных сердец зажжешь остывший прах,
Чтоб солнца и светил прекрасней и чудесней
Высокие мечты зажглись в людских сердцах.

И мы почувствуем, как дорог нам печали
Огонь в больной крови, что нам тобою дан,
Что песни мы светлей, чем песнь твоя, не знали,
О мой далекий друг, о мой Ваан Терян. . .

8

Ты был светлым. И ты ушел.
Легким, как облаков гряда.
Ты нездешней мечтою цвел.

Ты в сердцах зажег навсегда
Негасимый огонь мечты,
Ты сокровища нам принес,

Озарил беспросветный мрак
Вечным светочем красоты.
Этот светоч в тоске — маяк.

1920

253. ЛЕТО

Настало лето, жарок день,
Дивится урожаю мир,
В саду цветущем — свет и тень. . .
Что ж беззащитен я и сир?

Я взял у солнца и земли
Всё, что могли мне дать они,
И семена мои взошли. . .
Что ж я грущу в такие дни?

Мне урожай собрать дано,
И станет полной чашей дом,
Но сердце всё еще темно,
Не слышно летней песни в нем.

Кто знает, сердце, жизнь твою
И тайные твои мечты,
И почему я слезы лью,
И почему в смятенье ты?

1920

254. ВИДЕНИЕ СМЕРТИ

Натянутой струной, заброшенно и сиро
Душа в предчувствиях томится от тоски,
Последняя моя передо мною лира —
Веревка грубая, крест-накрест две доски.
Как мрачное судьбы моей прозренье,
Как обещанье, что нарушил я,
Двух этих досок гордое скрещенье
Ждет жертву, чтоб помочь уйти из бытия.
Под виселицей, так зловеще близкой,
Веревка серая качается в тиши,
Как тихая печаль моей наирской,
Осиротевшей некогда души. . .
Вечерний час, и в тишине глубокой,
На одиночество осуждено,
Всей грустью этих дней, всей тяжестью жестокой,
Тоскою смерти сердце пленено.
А магазины, улицы, невольню
На лиру смерти пялящие взгляд,
Вокруг нее сутулятся безвольно, —
Что ждут они? Чего они хотят?
Чей это замысел, чтоб жить мне было нечем,
Чтобы душа томилась от тоски,
Кто превратил рассвет мой — в скорбный вечер,
В веревку серую и в эти две доски?
Быть может, я из осиянной дали
Вам не принес желанного огня,
Чтобы в Наири не благословляли
Звучаньем лиры наступленье дня. . .

Теперь пойду. С наирскою мечтою,
С любовью в сердце, с пламенем певца, —
Хоть этой чести, может быть, не стою, —
Пойду свой долг исполнить до конца.
Со мной сквозь сумерки пойдет печаль моя,
И горло захлестнув петлею в час полночный,
Покачиваться тихо буду я —
Трагический и непорочный. . .
Да не востребована будет ни одна
Отныне жертва, — я за всех ответил.
В глазах повешенного пусть моя страна
Узрит грядущий день — он будет чист и светел.
Глаза, вываливаясь из орбит,
Грядущему пусть улыбнутся веку,
И виселица пусть отныне не грозит
Ни одному на свете человеку. . .

1920

255. ТРИОЛЕТ Л. Б.

Тому, кто любит жизнь и славит Землю нашу,
Отрадней на Земле и легче трудный путь.
Когда не хочешь ты в трясине потонуть, —
Ты должен жизнь любить и славить Землю нашу,
И чашу грусти пить, как пьешь веселья чашу.
Не лей напрасных слез и жалобы забудь.
Тому, кто любит жизнь и славит Землю нашу,
Отрадней на Земле и легче трудный путь.

1921

256. БЛАГОВОСПИТАННОЙ Л.

Душа и тонка у вас и накрахмалена,
Ваше сердце — собачка заласканная.
А моя душа — среди трущоб, на развалинах,
Ночует, зубами от холода ляская.

Душа и тонка у вас и накрахмалена, —
Получена от мамы и папы.
Скажите, испытывала печаль она?
Скулила, присев на задние лапы?

Такое бывает с душой не со всякой.
А с вашей, скажите, может случиться,
Что с первой встречной бродячей собакой
Она обнюхается. . . и случится?

Простите. . . Душа — это всё, что имею,
А в ней бесприютно, тоскливо и пусто.
Благовоспитанно не умею,
Как вы, скрывать свои чувства.

Кровотчат души моей клочья,
Чего ж мне стесняться, скажите на милость?
Придет весна — и пуцу ее ночью,
Чтобы со всеми соединилась.

Что из того, что, когда в тиши
Она запоет, насытятся,
Откроются язвы на деснах души?
Сочувствовать не торопитесь.

На тротуарах — я щедро, я сам,
Сбросив с души одиночества гирию,
Снова швырну ее уличным псам,
Раздам, раздарю, растрянжирю.

Проститутки мне сестрами станут — не страшен!
Псы станут братьями, жарко дыша. . .
И чужою останется — только ваша
Накрахмаленная душа.

1921

257. КРАСНЫЙ СОНЕТ

Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза.

Брюсов

Грядущее горит неистово-багрово,
Как меч, что выхвачен из ветхих ножен дней,
И в пыльные ножны не возвратится снова,
И не исчезнет в днях, ушедших в мир теней.

Чего же хочет ваш убогий, глупый бред?
О чем скулит ваш мир, в тоске смертельной рушась?

Что пережито в днях и что воспел поэт, —
Не сокрушат ваш гнев, отчаянье и ужас!

Теперь отходят дни с свирепой быстротой,
Как пыльные ножны от лезвия стального,
Когда, сойдясь с врагом, ведешь невольный бой.

И, полный мудрости поэт, пою я снова.
Вот отступают дни, уходят в мир теней, —
И песнь летит стрелой к заре грядущих дней.

1921

258

Кто встретится, кто скажет «здравствуй»?
Кто светом душу озарит?
Кто не усмешкою бесстрастной,
А добрым словом одарит?

Кто поцелует, зарыдает,
Кому близка печаль моя?
Быть может, где-то есть — кто знает! —
Живущий тем же, чем и я?

Быть может, все мои волненья,
Всё то, чем я сейчас живу, —
Обманчивое сновиденье,
Лишь снящееся наяву.

Быть может, в горький миг страданья
Я про чужую боль пою,
А мне во мраке мирозданья
Мерещится, что — про свою. . .

Привет тебе, мой неизвестный,
Тоскующий товарищ мой!
Привет и юности чудесной,
Грядущей юности земной!

И вас, ушедших в тьму немую,
Улыбкой грустной помяну я.

1921

259. ВЕТЕР

Ветер,
Ветер осенний
Рыжих своих скакунов
Выпустил в мир и потом
Пал на ступени,
Ртом
Огромным дыша.
В агонии мечется его душа.

Ветер,
Ветер осенний
Гудит, тут, рядом.
Подгоняя друг друга,
Тучи пыли несутся
Обезумевшим стадом.

Ветер,
Ветер осенний. . .
Сумрачный город,
Прохожих тени, —
Всё это кажется желтым бредом. . .
Ветер несется следом. . .

Улицы длинные, скучные,
Как дождь осенний, беззвучные.
Здания стоят сутулясь. . .
Мрачные дебри улиц. . .
Жестокие, многоокие, притаились, ждут.
Как страшно, как страшно, как страшно тут.

Ветер,
Ветер осенний
Заблудился средь улиц,
В бесконечной их смене.
Охваченный смертной дрожью,
Сейчас все преграды
Смести он может.

Ветер,
Ветер осенний

Гудит,
Сердит,
Сотрясает сухие вывески.
Как помочь, из беды его вывести?
Он мечется птицей железокрылой,
В рамы стучится всей силой.

Затерян в безлюдном городе,
Всё кружится, кружится.
Точно пантера в ярости, —
Глаза замутились песком, кровью,
Бросается вдруг на кровли,
На сникшие в страхе бульвары.
Рвут желтые космы свои, обезумев,
Деревья, подобны старухам в отрепьях,
Трясут головами, кляня свой жребий.

Деревья больные и дряхлые,
Деревья кривые и чахлые,
Деревья, как нищенки, голые.
А ветер сечет их старые головы,
Пророчит зловещим голосом:
Никогда,
Никогда,
Никогда!

Ах, сжальтесь над ними!
Распяты на пустынных бульварах,
Поникли они под ударами ветра,
Спасите их, старых!
Слушайте, слушайте, слушайте!
В пору этой агонии страшной,
В час потрясений,
Вспять повернет и ворвется к вам в души
Ветер,
Ветер осенний.

1922

260. ПОХОРОННЫЙ МАРШ

Памяти коммунаров Кантона

Вы слышите, вы слышите? В Кантоне
Ликует враг, восстанье задушив.
Там — каждый угол в грохоте и стоне,
Там — добивают тех, кто полужив.
Там Ван Тин-вея палачам проклятым —
Раздолье. Город трупами покрыт,
Он пулями пронизан, он горит.
Борьба неравная с врагами шла там,
И красные бойцы, за строем строй,
Валились, словно травы под косой.
Дымится кровью горизонт багряный,
Глубокие на нем зияют раны. . .
Вы слышите, вы слышите ли? Рано
Свою победу торжествует враг!
Товарищи, погибшие в Кантоне,
Как прежде, реет ваш священный стяг,
И ваша ярость стала исступленной.
Придут, придут урочные часы,
Настанет день великой нашей славы,
Тебя мы свергнем, Чан Кай-ши кровавый, —
От ужаса твои завоюют псы.
Скорбя, но голову не поникши,
Стоим мы — все, кто уцелел в бою.
Настанет день — и голову твою
Насадят на кол, торжествуя, рикши.
Товарищи, в шеренгах боевых
Сраженные на улицах Кантона,
Неколебимы красные знамена,
Вы в мире смертью утвердили их.
Они встают от края и до края,
Древками упираясь в небосвод.
Бойцы ложатся, в схватках погибая,
Но революция — всегда живет!

Декабрь 1927



Արևի դեռ ակտիվացում էր և քաղաքի քաղաքացիները
կարծեցին, թե ինչո՞ւ էր այդպես, որ արևը
չէր զարթոնում և չէր լուսավորում քաղաքը...
25. I. 1936.



Չորսուց օրը
ուսուցիչի սրտը
Տրգանյ
Մ. Բալասանյան
23/1 1936
3 քուր

МАХАТМА ЗАДЕНЦ

261. БЕЗ ЗАГЛАВНЯ

Ты помнишь ли глаза
Той девушки простой,
Ты так тогда любил
Их ясный нежный свет,
Стыдливый поцелуй
Той девушки простой,
Которой был ты мил,
Которой больше нет.

Ты помнишь, как она,
Прощаясь в страшный час,
С улыбкой на тебя
Взглянув в последний раз,
Сказала: «Не грусти,
Не омрачай чела,
Чтоб память обо мне
Была всегда светла».

1929

262. МОЕМУ ЧИТАТЕЛЮ

Шлю тебе мою работу,
Как меж нами повелось.
Прочитай, а нет охоты —
Книгу в сторону отбрось.

Всё вложил я в строки эти.
Как я жил и как страдал —
Ни один поэт на свете
За меня б не рассказал.

Сердцем разбери сурово,
Есть ли в книге мастерство, —
Нету критика другого,
Кроме сердца твоего.

1929

263. ПОЭТУ — ЧИТАТЕЛЮ

Быть может, ты посмотришь с удивленьем
На этот стих, где вычурности нет,
Склонясь с усмешкой над стихотвореньем,
Ты скажешь: до чего дошел поэт!
А он лишь простоты добился ясной,
Дающейся работой ежечасной.

Мы одолели сложный, величавый
Тонических стихов певучий ритм.
Учись писать, как тот поэт кудрявый,
Что с нами чрез столетье говорит.
Как ясны эти ямбы и хорей,
Как мужественен, чист его язык,
Зовет он к жизни, жаром души грея,
И этим он бессмертен и велик.

1929

264. НАШ ЯЗЫК

Дикий наш язык и непокорный,
Мужество и сила дышат в нем,
Он сияет, как маяк нагорный,
Сквозь столетий мглу живым огнем.

С древности глубокой мастерами
Был язык могучий наш гранит,
То грубел он горными пластами,
То кристалл не смел сравниться с ним.

Мы затем коверкаем и душим
Тот язык, что чище родников,
Чтобы на сегодняшние души
Не осела ржавчина веков.

Ширятся душевные границы
И не выразят, чем дышит век,
Ни Теряна звонкие цевницы,
Ни пергаментный Нарек.

Даже сельский говор Туманяна
Нас не может в эти дни увлечь,
Но отыщем поздно или рано
Самую насыщенную речь.

28 января 1933

265—267. О. Т.

1

Пред нами он не весь. Души его простор —
Безбрежный океан. Весь мир в него вмещался,
И с берегов души кидая светлый взор,
Он видел сны, и пел, и думам предавался.

15 апреля 1933

2

Его читая, я постиг: лорнец гениальный
С Гомером, с Гете — равный гость в беседе на пиру,
Пьет с ними рдяное вино под кубков звон хрустальный,
Как пили прадеды его, склонясь лицом к костру.

15 апреля 1933

3

Могуч, как земля родная, в ее глубь он корни вонзил,
Наирийским соленым потом стихи свои окропил.
Отчизны жгучего солнца он лучом золотистым был.
Могуч, как земля родная, в ее глубь он корни вонзил!

17 апреля 1933

268. БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

Прекрасней нет детей на свете,
Чем ты, моя малютка дочь.
А скоро подрастешь немножко
И крикнешь со двора в окошко:
«Гляди, кругом играют дети
Такие же, как я, — точь-в-точь!»

19 апреля 1933

269. ГЕЙНЕ

О, Генрих Гейне,
О, Генрих Гейне, —
Звучит твоё пенье,
Зовёт твоё пенье,
Как ветра веянье. . .
О, Генрих Гейне,
О, Генрих Гейне. . .

Барабанщик отважный,
Боец и поэт,
С тобою пел каждый,
С тобой пел весь свет.
В грядущем не меркнут
Твой день и век твой,
Пусть небо отвергло
Песнь будущих лет. . .
О, Генрих Гейне,
Боец и поэт.

23 мая 1933

270

Я стал свободен, я воспеть власть человека пожелал,
Всю жизнь пожертвовать любви по воле века пожелал.

Тем величава в дни мои, тем и прекрасна песнь моя,
Что запылал ее огнем я при начале бытия.

В мои сверкающие дни из праха новый мир встает,
И я велик, — судила мне судьба в грядущее поход.

И если песню дней моих услышишь ты меж этих строк,
Намного больше строк моих велик я, значит, и глубок.

О, знай, что если песнь моя гордиться может
То тем, что в ней отражена величественной эры суть,
чем-нибудь,

Так, значит, слава дням моим, дыханью дней моих хвала!
В сравненье с ними песнь моя ничтожно кажется мала.

Но если отразила их хотя б одна моя строка,
Тогда б из мертвых я восстал, века я жил бы и века.

На веки вечные теперь своими днями я велик,
Так славься ж, песнь моя, и ты, великих дней моих
дневник!

1934

271. МОЕЙ МАЛЮТКЕ

Дитя мое, дитя мое,
Бесценное мое,
Жизнь трудная, упрямая,
Как победить ее?
В борьбе живет вселенная,
Покоя мир лишен, —
Дитя мое бесценное,
Отец твой побежден. . .

1934

272. ЯЗЫК ВОЛНЕНИЙ

Поет прохладный ветерок,
Роняет дождь слова в тиши. . .
А ты умолк, ты изнемог,
Язык взволнованной души?

О, немощны стихи, когда,
Весенней радостной порой,
Цветет и пахнет резеда,
Звенит источник под горой!

Фиалки милых глаз цветут,
И ты весной любовью пьян...
Не властны чары песен тут,
Не властен даже и Терян!

Волнует ключ, струей звеня,
Печалит зорь багряных цвет...
Язык стихий, язык огня —
Ты не владеешь им, поэт.

1934

273. УДИВИТЕЛЬНАЯ ОСЕНЬ

Такая осень нас еще не посещала,
Как воины вождю, мы покорились ей.
В ней мудрости исток, иных поэм начало,
И клич ее — борьба во имя новых дней.

Осенний ветер к нам ворвался ратным зовом,
Пронесся в небесах воинственной трубой,
И ливни обдают дыханием суровым...
Я силами готов помериться с судьбой.

Мерещится, что дождь оплел чуть видной сетью
Вселенную и нас, и мы теперь — одно.
Но взбушевался лес недаром на рассвете,
И нынешнюю грусть согнать ему дано.

Шуршащий листопад, не смерть и не томленье —
Ты возвещаешь мне величие труда.
Ты молодость и жизнь, источник вдохновенья, —
Я осени такой не видел никогда.

1934

274. ВАЛЕРИЮ БРЮСОВУ

Глубок и холоден, искусен и учен,
Историей свое питаю вдохновенье, —
Когда постигли нас и скорбь, и разрушенье,
Ты с нами был, в чаду неистовых времен.

Печален был наш дом, погасло оживленье,
Наш путь — в те злые дни за мглой терялся он,
Казалось, гений наш лежал в реке забвенья, —
Но ты смотрел вперед, страданьем не смущен.

Ты смело бросился в водоворот бездонный,
И восхитил тебя во тьме таимый клад,
И, мудрый плаватель, открытjem опьяненный,

В стране, где до поры господствовал разлад,
Народа-гения ты вынес дар бесценный,
И память о тебе останется нетленной.

1934

275

Оставив мир, забыв себя,
Живу тоской воспоминанья,
Вновь о тебе пою, скорбя,
Моя любовь, мое страданье.

Ах, песня у любви одна,
Но так полна она тревоги,
Так глубока, что нет в ней дна,
Как нет конца моей дороге.

И ты поешь в душе моей,
Не умолкая, не стихая,
О скорби уходящих дней,
Бесценная моя, святая.

Как время — бесконечна ты,
Нет речи у тебя, молчащей,
И всё возвышенной мечты,
Всё глубже ты, подобно чаше.

1935

Беззубый человек с затылком черепахи
 Сидел на мне, душил меня, и с губ его
 Яд падал мне на грудь, на воротник рубахи,
 И звали Нежностью знаконца моего.

1935

277. СОВЕТСКОМУ АЗЕРБАЙДЖАНУ
В СВЯЗИ С ЕГО ГЕРОИЧЕСКИМ 15-ЛЕТИЕМ

Народу братскому привет! Одно и то же
 Сияло солнце нам, мы ели хлеб один,
 Нас вместе мучил царь и тюрьмами и ложью,
 И вместе в эти дни достигли мы вершин.

Во имя прошлого безмерного страданья,
 Во имя жизни, нам представшей среди побед,
 Во имя дружного, в союзе, созиданья, —
 Народу братскому мы шлем привет, привет!

1935

278. СЕРДЕЧНОЕ СЛОВО К БРАТСКОЙ ГРУЗИИ
В СВЯЗИ С 16-ЛЕТИЕМ ЕЕ СОВЕТИЗАЦИИ

Край величавый, обратись к весне живительной своей,
 К весеннему разливу чувств, порывов, красок и огней.
 Ты — в шествии. Весь в розах путь, положенный тебе
судьбой.
 Певец земли армянской, — шлю тебе привет сердечный
свой.

Тебя заверить я хочу, страна нетленных песен, снов,
 Немало раз мой край — мой сад — испытывал набег
врагов
 Подобно краю твоему, и ночью злой немало раз
 Под натиском свирепых бурь светильник наш нетленный
гас.

Желаний, чувств горячих край, тебе хочу напомнить я,
Страдали вместе мы всегда, не знали счастья бытия.
Мой край нагорный, как и ты, от испытаний изнемог,
Век наши нивы и сады один и тот же пламень жег.

Одна и та же нас в былом душила черная рука.
Так, угнетаемые, мы бок о бок прожили века,
Покамест солнце Октября над нами не пронзило туч
И с севера не заблестал надежды золотистый луч.

На благородную борьбу одновременно встали мы,
И, рабства сбросивши ярмо, из вековой мы вышли тьмы.
Пора настала — всей страной, согласьем братьев
и друзей
Безоблачную строим жизнь, торопим утро новых дней.

И вот, веселый взяв бамбир и лиру звонкую свою,
Я славу воздаю тебе, ликуя, жребий твой пою.
Великий Ленин указал нам бесконечный путь вперед.
Поныне тем прямым путем народ в грядущее идет.

Победно об руку с тобой идем мы, солнцем залиты,
Стремимся в будущее грез, мелодий, света, красоты,
К безудержным порывам чувств, надежд, на пиршество
мечты.

Высокий край! Отрадно петь армянскому поэту, мне,
Твой бурный рост, твой поворот к неувядаемой весне,
Где мы бессмертье обрели с твоим народом наравне.

1936

279. ПАМЯТИ АРХИТЕКТОРА АЛЕКСАНДРА ТАМАНЯНА

Последний миг — он вспыхнул, как лампада. . .

.
Когда сознание погружалось в тьму,
Вдруг легкая сквозная колоннада
Отчетливо представилась ему.
Увидел он в предсмертное мгновенье,
Короткое, но равное векам,

И мраморные теплые ступени,
И башни, что стремятся к облакам,
Проспектов улетающие стрелы,
Газонов шелковистую траву,
Туф — розовой мерцающего тела,
Небесную базальта синеву.
Отчетливо — до умопомраченья —
Представилось ему в последний раз
Фонтанов серебристое свечение,
Великолепье скверов и террас...
К виденью синему из камня и металла
Рукой он потянулся, но она
Отяжелела и на грудь упала,
И смерти
наступила
тишина.

1936

280. МОЯ УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА

Рано-рано проснись поутру,
Чуть рассвет затеплится — встань
И увидишь звезды голубой игру,
Осиявшей раннюю рань.

Так же имя твое в былом
Засияло, Чаренц, светло.
Что за бездна его поглотила потом?
Что звезду с высоты свело?

Нет, не солнца горячий луч
В ранний час погасил звезду.
До зари еще темное воинство туч
Поднялось тебе на беду.

И звезда погасла во мгле,
Закатилась в бездонный провал.
Жажда песни томила сердца на земле,
Но Парнас —
Без тебя ликовал.

1935

281. БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

Жене и другу — Изабелле

В тот день, когда умру, померкнет неба даль
И ляжет тишина на город в тусклом свете,
Как туча темная, как старая печаль,
Как весть о бедствии, прочтенная в газете.

Подобно женщине, оставшейся вдовой,
Подобно той, кому боль замутила взоры,
Побродит эта весть сперва по мостовой,
Потом войдет в дома сквозь двери и заборы. . .

Как продавец газет, полуслепой старик,
Что, шаркая, придет и под окошком встанет,
Она зайдет в любой закуток и тупик,
Пройдет по всем домам, во все дворы заглянет.

Как тень, из дома в дом скользящая, она
Невидимо скользнет неясною надеждой,
Как зимней полночи немая тишина,
Над городом моим повиснет тучей снежной.

И в этот час ночной, борясь со властью сна,
Во всех сердцах блеснет и на момент застынет
Уже туманное, как бледная луна,
Лицо мое, навек угасшее отныне.

И те, кто никогда не знал меня в лицо,
Те, для кого я был песчинки неприметней,
Кого я потешал как острое словцо
И для кого я был легендой или сплетней,

И тот, кто на земле был эхом дней моих,
Смотря на жизнь мою, как равнодушный зритель,
Кто думал, что меня давно уж нет в живых,
Не знал стихов моих и книг был не любитель, —

Все, все они, узнав, что больше нет меня,
Опустят головы, дивясь внезапной дрожи,

И в ту минуту я, не друг и не родня,
Им многих покажусь роднее и дороже...

И на земле, как пыль, завившаяся в смерч,
И в душах, словно тень прошедшего, предстанет,
Восстав из праха дней и побеждая смерть,
Неясный призрак мой и снова в сумрак канет.

И в городах больших, и в деревнях глухих
Весть облетит дома, скользнет в сенах,
в прихожих,
И боль такую же, как и в груди у них,
Прохожие прочтут в глазах других прохожих...

И будут все глаза безмолвны и сухи,
Так, словно скорбь одну сердца их затаили,
И люди, позабыв про все мои грехи,
Простят меня, как мне стихи мои простили.

И книгу с полки взяв, раскроют наугад,
Прочтут мои слова и, медленно листая,
Задумаются вдруг, во тьму уставив взгляд,
И память обо мне овеет грусть живая...

И может быть, одна, в час поздний и глухой,
Взяв карточку мою, без драмы и без позы,
Посмотрит женщина в глаза мои с тоской,
На снимок выцветший роня молча слезы.

И снова прошлое на время оживет,
И осветятся вдруг судьбы погасшей грани,
И жизнь моя опять пройдет за годом год
В неясном зеркале ее воспоминаний.

То, чем я был, и то, что раньше было мной,
Уж не воскреснет вновь и в самом кратком миге,
Не повторится, нет, ни в песне ни в одной
И ни в одной уже на свет рожденной книге.

1936

282. ЭПИТАФИЯ

(Комитасу)

Здесь только прах покоится, не гений,
Оплаканный недолговечный прах,
Здесь вечное обрел упокоенье
Учитель, песнопевец и монах.

А то, что было гением, душою,
Живет, свершая путь великий свой.
Мир праху, взятому навек землею,
И слава песне, навсегда живой.

6 июля 1936

283. МАНОН ЛЕСКО

Манон Леско, невинная душа,
За деньги отдавалась, без любви,
Лишь телом по ночам принадлежа
Мужчинам нечестивым и дурным,
Когда рассталась с рыцарем своим
Манон Леско.

Но, верная своей любви большой,
Не ради золота, а всей душой
Любила неизменно, глубоко,
Так, что, деля свою постель с другим,
Не расставалась с рыцарем своим. . .
И вот осталась чистой и святой
Манон Леско.

1929—1936

284. ПАМЯТИ АРНИК

(Баллада)

Когда она пришла ко мне впервые,
Весна любви, и я в сиянье дня
Ее цветы увидел полевые,
Раскрывшиеся словно для меня,

Как маленький ручей, весны глашатай,
Как струны лиры, тронутой слегка,
Журча, из жизни навсегда ушла ты,
Любовь моя, бездонная тоска. . .

Как ключ невидимый, чей звук хрустальный
Как будто к нам из-под земли проник,
Чтоб в тишине торжественно-печальной
Звучать, не умолкая ни на миг,
Так ты поешь в душе моей смущенной,
Невидима и вместе с тем близка,
Зовешь меня, манишь в тиши бессонной,
Любовь моя, бездонная тоска. . .

Ты мне поешь, и нет для сердца слаще
Той муки, что разит острее клинка,
Поешь мне песню жизни уходящей,
Любовь моя, бездонная тоска. . .
Всё та же песня — вечная тревога,
Глубокая, звучит в моей груди,
Она как бесконечная дорога,
Что будет новой, сколько ни иди. . .

И нет тебе, как времени, предела,
Твоя неизмерима глубина,
Тебя объять не хватит жизни целой,
Ты, словно небо, не имеешь дна.
И каждую весной как будто снова
Ты ту же книгу, за строкой строка,
Читаешь мне, и смысл в ней вечно новый,
Любовь моя, бездонная тоска. . .

И знаю я, что в час мой похоронный,
Когда я в землю возвращусь назад
И кипарисов траурные кроны
Над свежеею могилой зашумят,
Твой голос зазвучит в их стройном хоре,
И будет на земле звучать века
Та песня, бесконечная, как море,
Любовь моя, бездонная тоска. . .

1937

Словно камешки, брошенные в Арарат,
 Козни подлых подонков упали на скат,
 Не задев и слегка тебя в кратком бою,
 Натолкнулись на твердую волю твою,
 Откатившись, бесславно в болоте лежат,
 Словно камешки, брошенные в Арарат.

1937

286. МОЕЙ МУЗЕ

(Рондо)

Ты — чистая любовь, мой меч, мое спасенье,
 Единственный огонь во мраке трудных дней,
 Надежда светлая, сестра души моей.
 Даруемое мне тобою вдохновенье —
 Прибежище мое и радость жизни всей.
 Не расставалась ты со мной ни на мгновенье,
 Делила всё со мной по доброте своей:
 И раны, и цветы, и жар моих страстей,
 Ты — чистая любовь.

Как для не знающих земных забот детей
 Прыжки и карусель в стремительном круженье,
 Как лира для певца, сроднившегося с ней,
 Как сабля острая для воина в сраженье —
 Всего дороже мне твой свет во мраке дней,
 Ты — чистая любовь!

1937

287. АВЕТИКУ ИСААКЯНУ

Чем длинней путь годов моих,
 Тем страстнее тебя я чту,
 Тем смиренней к ногам кладу
 И любовь, и сердце, и стих.

Понапрасну в мечтах былых
Песню так я сложить хотел,
Чтоб ребенком напев овладел
И в душе старика не стих.

Ты коснулся сердец людских,
Стал великим, войдя в народ.
И стихи твои он поет,
Обретая бессмертье в них.

Ах, когда бы из слов простых
Песнь такую создать и мне,
Чтобы в хижине на стене
Написать для внуков своих,

Чтоб читать ее млад и стар
Вечно шли к моему жилью, —
Эту лучшую песнь свою
Я тебе преподнес бы в дар.

27 сентября 1937

ПОЭМЫ И БАЛЛАДЫ

288. СИНЕГЛАЗАЯ РОДИНА

(Отрывки из незавершенной поэмы)

1

Люблю сидеть под вечер у окна,
Следить за бегом тропок безымянных,
Приглядываться долго — дотемна —
К мельканью беглых бликов на полянах,
Дивиться — как не устают скользить
По зелени причудливые тени,
И светлые оттенки неба пить,
И пребывать в счастливом опьяненье.
Смотреть в лиловый свод и, как сквозь сон,
Колосьев шепот слушать еле внятный,
И ждать, что заблагоухает он
И сердце в небо прынет в час закатный.
Люблю сидеть безмолвно, в свет небес
Вглядясь, мечты увидеть озаренье
И звук ловить, что, прозвенев, исчез,
Как отблеск предвечерних сновидений.
Вечерними мечтами опьянен
И нежностью закатною охвачен,
Я погружаюсь в родниковый звон,
Я верю в счастье вдруг душой горячей.

В душевной беспредельности есть миг:
 Всё кажется святым и непорочным,
 Чаруют будни, и с дорог своих
 Торопятся скитальцы к стенам отчим.
 Друзья и сестры! Как вы далеки! . .
 Открыта дверь моя — жду встречи с вами. . .
 В моей душе — живой огонь тоски,
 Надежд моих негаснувшее пламя.
 О, как давно желанной встречи ждет
 Моя душа, горя, тоскуя, веря. . .
 Улыбкой озарится ваш приход, —
 Идите же! Мои открыты двери! . .
 Я знаю: вы зажжете свет во мгле,
 Явившиеся из далекой дали,
 И вновь в дорогу по ночной земле
 Отправитесь в негаснущей печали. . .

О синеглазая моя любовь! . .
 Река в долине, брызжа белой пеной,
 О нежности мне пела вновь и вновь
 Твоей — ни с чем на свете несравненной.
 На берегу цветущем, тих и мал,
 Стоял мой домик — от других отдельно. . .
 Заворожен, я песне волн внимал,
 И мне она казалась колыбельной.
 Я в тысячеголосом пенье мог
 Грядущее твое узнать зараде,
 Я слушал песни, полные тревог,
 «Приду!» — твое я слышал обещанье.
 Внимали тополь, ива и тута
 Напевам волн — и шепотом волшебным
 Меня пытались подбодрить тогда,
 Утешить в одиночестве душевном.
 О, волны! О, мечты в моем саду!
 Когда всё было! . . О, времен смещение. . .
 Когда ты мне сказала: «Я приду. . .» —
 Меня повергнув в радость и смущенье.

О радость синеглазая! . . Звеня,
 Текла река, как песнь, в ущелье узком
 И чувством беспредельности меня
 В однообразье окрыляла тусклом. . .
 Мать выходила из дому. Крута
 Была тропа для ног ее усталых.
 К воде она спускалась. И тута
 Склонялась над ее печалью старой. . .
 Я до сих пор не знаю, кто же ты? . .
 Ты — девушка иль домик над рекою,
 Тот, где переплелись мои мечты
 С надеждой, с безутешною тоскою? . .
 Но я люблю тебя, дышу тобой,
 Хоть нет тебя и где ты — неизвестно. . .
 И верю: ты когда-нибудь тропой
 Моей мечты придешь ко мне невестой,
 Светлее, ярче, чище, чем лучи
 Ваагна-бога, солнцем осиянна,
 Незримая любовь моя, в ночи
 Свет излучающая несказанный. . .
 И этой беспредельностью объят,
 Любовь моя, единственное чудо,
 Один — впотьмах, на ощупь, наугад —
 Я вышел в путь — искать тебя повсюду.

Я забыл про усталость в исканьях своих,
 Но тоска, обладая таинственной силой,
 Отпускать же желала меня ни на миг,
 В твои светлые дальние дали манила.
 Брел, печалюсь, грустя,
 Я тропой безымянной,
 Зачарован тоскою, как сказкой дитя,
 И — мечтой несказанной.
 И на лунных дорогах, теряя покой,
 Ждал тебя в бесконечном томленьи,
 С беспредельной любовью, с бездонной тоской,
 Ночь и день я. . .

Так тихо было в мире. . . Над долиной
 Тысячелетний возвышался храм.
 Сверкал в лазури светлый крест старинный,
 И замер я, оборотясь к горам. . .
 Извилисто бежала вниз дорога,
 Петляя в лабиринте тишины. . .
 Так мирно было, благостно и строго
 У этой древней каменной стены.
 Так тихо было. . . И текли минуты. . .
 Всё в напряженье замерло вокруг:
 Долина, поле, камень, луг — как будто
 Вот-вот придет неожиданный кто-то вдруг.

. . . В тот древний храм вошел однажды я.
 Вокруг дубы торжественно застыли.
 Пел колокол о тайне бытия,
 И молча камни древние грустили. . .
 В благоговейной древней тишине
 Таинственное чудилось паренье —
 Незримый дух витал, казалось мне, —
 И я склонил молитвенно колени.
 Хоть темный купол не запылялся,
 Не загорелся праздничным созвездьем,
 И ни один не зазвенел кимвал,
 И тихая не зазвучала песня —
 Под сводом вековым не поплыла, —
 И не слышал ни зова я, ни стоны,
 Но благодать на душу снизошла,
 Меня наполнив радостью бездонной
 И древним ликованием любви. . .
 И понял я: недолго ждать осталось. . .
 И скорбная земля, в слезах, в крови,
 Сквозь боль утрат мне грустно улыбалась.

Мгновением мудрым утешенный, я
 Вернулся домой — и, застыв на пороге, смотрю:
 Уходят далёко в поля
 Жнецы, обгоняя зарю.

Жнецы к горизонту ушли.
 Там нивы их ждут.
 Моя синеглазая!.. Вижу, как в зыбкой дали
 Жнецы утомленные жнут.

Болит мое сердце, печальми уязвлено,
 Тоска твоя древняя душу сжигает мою.
 Но схлынула боль — и уж радостью сердце полно:
 Ответь, отчего так бывает, — молю!..

Мое синеглазое чудо, подруга, сестра!
 В немыслимом зное жнецы утомленные жнут.
 Их спины, склоненные в поле с утра,
 Лучи беспощадные жгут.

А я, безутешный, всё верю, надеюсь и жду...
 О час возвращения, гряди и печаль утоли!..
 Узнавшая горечь сиротства, и боль, и беду,
 Сестра моя — слышишь, как ветер хохочет вдали?..

Любовь моя, мой синеглазый свет!
 Страна моя, как жребий твой жесток!..
 Знай, в эти дни смертей, страданий, бед
 Огонь далекий сердце мне обжег.
 Наступит день. И растворится мгла.
 Усталые жнецы придут с полей,
 И сядут снова все вокруг стола,
 Дом озаряя радостью своей.
 На пиршество придешь незримо ты,
 От нас очарованья не тая, —
 Твои неповторимые черты
 Счастливые увидят сыновья.

Кровавый сон исчезнет... Ты сама
Предстанешь перед нами во плоти...
Рассеется туман. Исчезнет тьма,
Легендой став, услышанной в пути...

10

Синеглазая радость моя, мы должны обручиться!
Осенит нас в зеленых долинах покров голубой...
О моя синеглазая, светлая, райская птица!
Верь, на древней планете мы счастливы будем с тобой.
На долинах зеленых, на наших священных долинах
Музыканты о свадебном пире земле возвестят,
Будут девушки священнодействовать в танцах
старинных,
И закружатся, и поплывут, и вот-вот полетят!..
И запенятся вина, вскипев, вспыхнув пламенем
красным —
Крови огненным зовом и огненной жертвой души,
И цветы всех оттенков и запахов разнообразных
В час застолья нашепчут тебе — их услышать спеши!
Столько сказок старинных, легенд и преданий
О забытых, о тех, кто оставил наш горестный мир...
...Все идите на свадьбу мою, я зову вас заранее, —
Столько песен вас ждет, столько радости и ликования!..
Завтра грянет он — праздник священный, наш свадебный
пир!

1915

289. ДАНТОВА ЛЕГЕНДА

1

Итак, мы в путь пустились на рассвете.
Опьянены небесной синевой,
Мы шли и были веселы, как дети,
Как путники со светлою душой,
Которой чужды робость и тревога.
Звала нас неизвестная дорога.

И обернулись мы в последний раз
Назад, но не тянуло нас обратно,

Туда, где ничего не ждало нас,
Где прошлое исчезло безвозвратно,
И не сопутствовала нам печаль —
Нас яркая околдовала даль.

Мы пели песни, восторгались блеском
Оружия, шагая по полям,
И как в лазурном сновиденье детском,
Всё безмятежно улыбалось нам.
Не омрачала нас ни грусть разлуки,
Ни тень предчувствия смертельной муки.

И поле, как безбрежный океан,
Приветствовало нас волной прибоя,
Манили нас рассветы дальних стран,
В лицо дышало солнце золотое,
Вела дорога в дальние края,
Петляя как гигантская змея.

Так весело, без всякого усилья,
Решив до ночи отложить привал,
Мы шли, как будто кто-то дал нам крылья,
Как будто кто-то нас околдовал...
Вершины гор глядели величаво,
Глядеть на мир — их вечная забава.

Спускалась ночь, когда в селе большом
Разбили мы палатки для привала.
И беззаботно в танце круговом
Всё закружилось, песня зазвучала,
Не умолкая в этот поздний час,
И пенилось вино в последний раз.

Луна уж поднялась и постепенно
Жемчужной мглой покрыла лик земли,
Когда в палатках на охапках сена,
Усталые, мы отдохнуть легли.
Спокойной ночи! Сладких сновидений!
Блаженным сном заснули мы на сене.

И так мы были веселы три дня.
 Но путь иной открылся перед нами,
 Путь в темноте, без солнца, без огня,
 Где было лишь мучительное пламя,
 Один костер страдания и зла...
 Душа впервые ранена была.

Казалось, даже небо изменилось.
 Сгустились тучи. Начались дожди.
 Дорога, вся размытая, змеилась
 С загадочным туманом впереди.
 Как небеса, мы помрачнели сами...
 И стыли наши души под дождями.

Мы у дороги увидали труп,
 Уже обезображенный распадом...
 В молчанье тягостном, столпясь вокруг,
 Мы на него смотрели хмурым взглядом —
 Кто он? Увы, с лица его вода
 Все знаки жизни смысла навсегда.

Стояли долго мы, пока с дороги
 Его со смехом кто-то не спихнул
 В траву... Переглянулись мы в тревоге,
 И не один из нас тогда вздохнул:
 Он тоже жил, любил, борясь и мучась...
 Так, может быть, и нас ждет та же участь?

И я пошел вперед. И вдруг просвет
 Увидел в тучах... Из-за гор косое
 Скользнуло солнце. И забыв скелет,
 Я пил дыханье свежее земное,
 И сердцу, восхищенному в тот час,
 Мир показался добрым без прикрас.

А солнце мокрые ласкало дали
 Горячим золотом перстов-лучей,
 В траве журчал не знающий печали,
 Всегда куда-то рвущийся ручей.

И спущенною с тетивы стрелюю
Взлетела птица в небо голубое.

О эта даль, без края, без начала,
Лазурь небес, подобная стеклу. . .
Казалось, всё душе напоминало,
Что в этом мире, равнодушном к злу,
Ни день один, ни половина века
Не стоят слез и жалоб человека.

И тут я задал сам себе вопрос:
Куда же мы идем, так твердо веря?
Ведь в мире столько горя, столько слез,
У всех своя печаль, свои потери,
Так что же мы от этой жизни ждем,
Идя сквозь все преграды напролом?

Зачем над нами, как мираж, повисла
Мечта пустая? Ведь за веком век
Везде война и зло. . . Какого смысла
В уничтоженье ищет человек?
Кому корысть, что льется кровь живая?
Кто зло творит, мир в пекло превращая?

И неужели люди в небеса
Здесь не смотрели, или в эти дали,
Где солнце совершает чудеса
И лечит дух, снимая груз печали,
И каждый камень, каждый лепесток
Вселяет в сердце радость и восторг?

Нет. . . Дьявол посмеялся над счастливой
Долиной этой, навредил как мог —
Он зной наслал, решив покончить с нивой,
Ее колосья высушил и сжег. . .
С тоскою шел я по тропе у края
Горы, долину с грустью озирая.

И вновь в траве я трупы увидал. . .
И волосы. . . А дальше тряпок груди. . .
Кровавые лоскутья одеял. . .

И крошки хлеба... Кто бежал отсюда?
Кто этот ужас навсегда унес
С душой, окаменевшею без слез?

А вот рука отрубленная... рядом
Гниет кусок ступни... Вокруг нее,
Ужасным привлекаемое смрадом,
Прожорливое кружит воронье...
А на скале между двумя камнями
Лежит ружье, ржавея под дождями...

И в тягостном молчанье наш отряд
Шел вверх, куда вела тропа крутая...
Мы как сомнамбулы сквозь этот смрад
Шагали, ничего не замечая,
Сквозь камни, бурелом и сорняки,
Взвалив на плечи тяжкий груз тоски.

8

И снова в путь пустились мы с рассветом.
Он через горы шел на этот раз
И был довольно труден, но об этом
Не говорил почти никто из нас, —
Тех, кто роптал на трудности дороги,
Вмиг отрезвлял соседа окрик строгий.

Я не забуду грозный тот подъем
К вершинам неприступным и опасным...
И столько веры, воли было в нем,
Что был он вместе страшным и прекрасным.
Сердца пылали — в этот трудный час,
Казалось, крылья выросли у нас.

Теряя подо льдом следы дороги,
Мы шли вперед, подставив ветру грудь.
Скользили наши раненые погни,
Опасен был коварный снежный путь...
И так, борясь то с камнем, то со льдиной,
Мы пресбирались с ловкостью звериной.

Всё круче, всё труднее был подъем.
Ни путника, ни птицы не встречая,
Цепочкою ползли мы вверх, с трудом,
Куда манила тропка ледяная...
А снег коварный, затрудняя шаг,
К подошвам прилипал, тянул в овраг...

Был день, когда, добравшись до вершины,
Мы замерли... В бездонной тишине
Сверкали льды, и ни души единой,
Ни дерева, ни птицы в вышине...
И вдруг мы ощутили, что ликуем —
Ведь мы живем, мы дышим — существуем!

И с гордостью окинул я простор,
Дышала грудь свободнее, — едва ли
В долине так же, как на пиках гор,
Мы можем ощутить пространства дали...
Я радовался, глядя в синеву,
Что в этом вечном мире я — живу.

И, погрузясь в мир девственной пустыни,
Я весь отдался далям золотым,
И про себя поклялся быть отныне
Великодушным, гордым и простым.
Но тут боец, нагнувшийся над склоном,
Позвал меня каким-то странным тоном.

Я подошел и обмер... На снегу
Передо мною женщина лежала...
Забуть ее улыбку не могу
Безумную... В руке она держала
Сухую корку хлеба, точно клад,
Которым пуще жизни дорожат.

В последний раз вздохнула и угасла,
С улыбкой устремив стеклянный взгляд
На нас... Всё это было так ужасно,
Что онемев стоял над ней отряд...
Но с уст, окаменевших от печали,
Тоска и боль великая кричали.

Мы ружьями разрыли мерзлый снег
И бедную беглянку схоронили,
И снежный холм насыпали, навек
Оставив в этой ледяной могиле
Великодушной совести порыв,
Его с несчастной вместе схоронив.

Угрюмые, не чуя гололеда,
Мы шли дорогой бедствия, и зло,
Немой свидетель нашего похода,
В груди смертельным шепотом росло. . .
От боли сердце в камень превращалось,
Отвергнув сострадание и жалость.

Мы не могли жалеть — тоска и мрак
Терзали душу. . . Нам казалось: сзади
И впереди — повсюду хитрый враг
Следит за нами, спрятавшись в засаде,
И знали мы, что, яростный и злой,
Он кровь и смерть нам принесет с собой. . .

Святым казался этот путь печали,
Дорога смерти и ее примет. . .
В молчанье мы торжественно шагали,
Как будто бы давали мы обет,
Поклявшись всем, что свято нашим душам,
Что мы его до гроба не нарушим.

И некто повстречался нам в пути
С нагруженным тюками караваном.
Что вез он там? Куда спешил уйти?
Купил он это иль добыл обманом?
Не знали мы. А гневу ждать невмочь. . .
Он другом нашей крови стал в ту ночь. . .

И в каждом камне мнилась нам засада,
И всё пугало нас, как знак вражды. . .
И так мы шли среди пепла и распада,
Встречая смерти страшные следы. . .
Там, где живой души уж не осталось,
Где гнев и боль превозмогают жалость. . .

И вот вошли в селенье мы. Оно
 Расположилось возле водоема.
 Всё было сломано и сожжено,
 Лишь кое-где дымились два-три дома...
 А синяя озерная вода
 Всё ту же песню пела, как всегда.

И волны, словно маленькие дети,
 Играли и резвились без забот,
 Им было так легко на этом свете
 Всегда бежать, всегда лететь вперед,
 Рассказывая между игр и споров
 Десятки детских снов и разговоров.

Но это разоренное вконец
 Село, в своем молчании безлюдном,
 Таинственное, как старик отец,
 Уснувший сном могильным, непробудным,
 Не понимало в этот страшный час
 Злых и счастливых волн живой рассказ.

Вокруг зеленой цепью хоровода
 Тянулся виноградников массив,
 И дикая язычица-природа
 Лежала нежась, груди обнажив,
 И перед каждым, скинув ткань покровы,
 Свой урожай открыть была готова.

Вдвоем с товарищем вошли мы в сад.
 В лучах мерцали гроздьи винограда,
 Он зрел под солнцем, яркий, как агат,
 Его ласкала озера прохлада,
 И волны, исторгая тихий звон,
 Баюкали его спокойный сон.

Забыв усталость, трудные походы,
 Забыв разруху, смрад и воронье,
 В плену очарования природы
 И прелести беспомощной ее,
 Мы наслаждались сочными плодами,
 Припав к ним пересохшими губами, —

Когда мы увидели под кустом
Труп старика. . . Под гроздью виноградной,
Задушенный, лежал он вверх лицом,
Как будто отдыхал в тени прохладной. . .
И страшен был направленный на нас
Немой вопрос остекленевших глаз.

Товарищ мой стал белый, точно мел,
Шепнул: «Воды» — и на траву свалился.
Я подошел к колодцу; я хотел
Увидеть воду и над ним склонился,
Но тьмой зияла черная дыра.
И я достал веревку из ведра.

Я опустил ведро двумя руками
И, плеск воды услышав в глубине,
Стал поднимать. Но тут задел о камень
И расплескал. . . И показалось мне,
Что там, в заколыхавшейся от встряски
Воде, я вижу духов в страшной пляске. . .

Я в ужасе склонился над ведром. . .
Вода всё колыхалась от удара,
И вместе с нею колыхались в нем.
Куски истлевших тел. . . Как от кошмара,
Я от колодца побежал назад,
Спеша покинуть этот страшный сад.

Шатаясь, налетая друг на друга,
Как пьяные, не чуя ног, бегом
Оттуда мы бежали, от испуга
Не замечая ничего кругом —
Ни озера, ни солнечного сада,
Где дьявол всё отметил крапом яда.

5

Однажды, после долгого пути,
Усталые, вошли мы в Мертвый Город.
Смутясь, не знали мы, куда идти —
Ни огонька, ни отблеска за шторой,
Ни фонаря над дверью у крыльца. . .
И ужас лихорадил нам сердца.

Был город пуст. Во мраке ни крупницы,
Ни капли света, всё одела тьма...
Уставив вверх ослепшие глазницы,
Молчали разоренные дома...
И мы, смотря на этот мир печали,
Глаза невольно в землю опускали.

И мы вошли в какой-то темный дом.
Как без зрачков глаза, уставясь строго,
На нас смотрели окна; их проем
Был пуст и слеп, но в нем была тревога...
Валялась кошка мертвая в дверях...
И мы перешагнули жалкий прах.

Вошли... Пред нами, кровью истекая,
С открытым ртом, как будто хохоча,
Лежала женщина полунагая,
Но раны на груди и у плеча,
Рот, замерший в последнем содроганье, —
Всё говорило здесь о поруганье...

Мозг в черепе моем пылал в огне,
И растекался, словно нитки пряжи...
Всё закружилось... Кто-то крикнул мне,
Что надо убегать нам... Но куда же?
Куда бежать, чтоб труп полунагой
Не следовал повсюду за тобой?

Мы в городе остались, но не спали.
В его пустых разрушенных домах
Всю ночь пред нами призраки плясали,
Дурачились и прыгали впотьмах...
И так не прекращалось до восхода
Кружение дьявольского хора.

В пустом особняке, забывшись сном,
Лежал я в небольшом парадном зале,
Передо мной, окружены огнем,
Куда-то мчались, блеяли, плясали,
Носились, хохоча, во все концы
Веселые безумцы — мертвецы.

Распухшие тела, сухие груди,
Обрубки рук, разинутые рты, —
Кружились окровавленные люди,
Скакали и кривлялись, как шуты. . .
И с ужасом на хоровод потешный
Я, притаясь, взирал из тьмы крошечной.

Они вертелись и носились вскачь,
Рыдали, пели, строили мне рожи,
На радость был похож их громкий плач,
И были песни их на плач похожи. . .
Но как холодный ужас смертных мук,
Терзал мне душу каждый этот звук.

И дьявольская песня отзывалась
В моем мозгу пыланием огня,
И становилась болью. . . Мне казалось,
Что я исчез, что больше нет меня,
А где-то там, в горячем сновиденье,
Моя душа летит бессильной тенью. . .

Как призраки, наполнившие зал,
Я прыгал в их шеренге бесконечной. . .
Вдруг этот шум нестройной песней стал,
Какой-то детской радостью беспечной,
И понял я, что это вдалеке
Шумит почное море на песке. . .

Плясали дети, шумные, живые,
Как солнцем освещенные луной,
И с громкой песней, грозные, хмельные
Кривлялись мертвецы передо мной,
И я невольно вторил их напеву,
Их песне про Астхик, богиню-деву.

В той песне пелось, что Астхик живет
Во тьме глубин морских, никем незрима,
Пусть буря воет, морщит лоно вод,
Бессмертная, она неуязвима.
Всегда прекрасна, девственно чиста,
Она недостижима, как мечта.

Так под луной, глядевшей в окна зала,
Кружился хоровод моих гостей,
Безумный и печальный, и звучала
Их песня... В вихре дьявольских затей
Мелькали окровавленные тени,
Ключицы, шеи, голые колени...

И вдруг, мешая смерть, любовь, мечту,
В мозгу моем качаясь воспаленном,
Как песня, всё умчалось в пустоту,
Мгновенно сгинув в сумраке бездонном...
И воцарились мрак и тишина.
И вскоре я отдался власти сна.

6

Покинув Мертвый Город, мы, с рассветом,
Пустились в путь — он вел к полям войны.
Мы бодро шли, не думая об этом,
Ни пули не боясь, ни крутизны.
Враг отступал, мы продвигались следом,
Своим бескровным радуясь победам.

Гремели пушки, оглушив снега,
И в дали гор мы вглядывались жадно:
Какие разрушенья у врага?
И села их вдали дымили чадно
И в пепел превращались в полчаса...
И сизый дым вздымался в небеса.

А мы всё шли вперед по тропам горным,
Где нам грозили пропасти и лед.
Был труден путь, но с мужеством упорным,
Преследуя врага, мы шли вперед,
Как будто нас толкал сам демон мщенья,
Вдохнув нам в сердце пламя разрушенья.

Когда в горах мы сделали привал,
Я вдаль взглянул — внизу шумело море,
И шум его печальный долетал
К вершинам гор, в нем были страх и горе...
И волны разбивались на песке,
Кому-то глухо жалуясь в тоске.

Свинцовое, как серая пустыня,
Лежало море у подножья гор,
И всё, что было розовым и синим,
Всё стало серым — весь земной простор,
Весь мир был серым — горы, небо, дали...
Душа моя была полна печали.

И как у моря старого, во мне
Душа отяжелела. Всё казалось
Смешным и мелким... Где-то в стороне
Гремели пушки, хоть уже смеркалось...
Я встал, пошел... А в горле рос комок...
В тот миг был жалок я и одинок.

Вдруг средь ущелья я остановился —
Передо мной был труп... А рядом конь,
Храпя, в предсмертных судорогах бился...
Куда скакал он? От каких погонь
Скрывался среди каменных обвалов?
И он бежал, спасаясь от шакалов!

Несчастный конь! Сорвался ль ты в провал
Или хозяин твой в тревоге дикой
Загнал тебя? Но разве он не знал,
Что смерть одна — судья наш и владыка,
Жестокий и глухой? Так почему
Он бил и жег? Кто приказал ему?

Смотри, теперь лежит он искаженный,
В кровоподтеках, серый, как свинец,
Здесь прах его сгниет непогребенный,
Не выруют ни братья, ни отец
Ему могилу, не оплачат гроба
Несчастной жертвы, что сразила злоба.

И против воли, пересилив страх,
В его лицо взглянул я беглым взглядом
И содрогнулся... Ощупью, впотьмах,
Я вышел из ущелья... Где-то рядом
Сражались наши, хоть простор темнел,
Не прекращая грозный свой обстрел.

Так день угас в огне и дыме боя.
Затихло всё. И мы спустились с гор.
Противник отступил, неся с собою
Свой тяжкий груз — потери и позор.
На все утраты, пораженья, раны
Спустился ночи занавес туманный.

Мы возвращались на ночлег в село.
Вдали на поле догорало жниво,
То вспыхивая ярко и светло,
То снова тлея в темноте лениво. . .
Шагали молча мы в туманной мгле
По взрытой и обугленной земле.

С товарищем моим мы шли в молчанье,
Хоть жар войны пылал на дне сердец. . .
И море, еле видимое в тумане,
Лежало неподвижно, как мертвец.
А мы всё шли во тьме, куда не зная. . .
Всё тот же берег без конца и края.

Когда вдали обрисовалась вдруг
Гора, и я сказал, что там селенье.
Но ноги нас не слушались. . . Мой друг,
На землю опустясь в изнеможенье,
Сказал, чтоб шел я, если я могу,
А сам он будет спать на берегу.

И я пошел один, решив, что вскоре
На лошади беднягу привезут.
Путь труден был, но, одолев предгорье,
Напряг все силы я — подъем был крут,
Но я в ту ночь во что бы то ни стало
Решил дойти до нашего привала.

Я поднимался. Ветер бил мне в грудь
С ужасной силой — в этом поединке
Я двигался с трудом, боясь шагнуть,
Чтобы в провал не угодить с тропинки. . .
И, напрягаясь из последних сил,
Как в забытьи я к цели подходил.

Один, без друга... И в глаза мне тыча
Песчаным пальцем, вихрь толкал в провал...
Он, как сова громадная, по-птичь
Кричал во тьме... Я падал, вновь вставал,
Дрожали ноги, зрение слабело...
Но дух мой был в ту ночь сильнее тела.

Я вверх взглянул — как близко горный пик!
И радуясь последних сил приливу,
Решил — сейчас дойду... И в этот миг
Порывом ветра брошен был к обрыву,
Но, камень обхватив, повис... В тот раз
Инстинкт меня от верной смерти спас.

Я снова встал, хоть ноги ослабели,
Побрел вперед... И вдруг увидел свет —
Так вот оно селенье! Я у цели.
Там буду я накормлен и согрет...
И вскоре, рухнув на охапку сена,
Сном праведника я заснул блаженно.

7

Бой начался. Мы встали под горой.
Противник сверху бил, почти у края
Ведущей вниз тропинки, и порой
Атаковал нас, к полю оттесняя.
По временам же снова наш отряд
Противника отбрасывал назад.

И падали они, рыча как звери,
А сзади новый ряд уже вставал,
С лихвою пополняя их потери...
Вдруг всё смешалось... Точно грозный вал,
Бой захлестнул, столкнул в порыве страшном
Одних с другими... Стал он рукопашным...

Боролись мы, друг друга обхватив,
Царапались, штыком или прикладом
Противника толкая под обрыв,
С жестокой жаждой жить, со смертью рядом,
Один другого, встретившись грудь в грудь,
Спешил убить, чтоб выжить как-нибудь...

И мы уже не понимали сами,
Что делаем. . . И, встретив смерть в бою,
Со стоном умирали под ногами
Товарищи, кляня судьбу свою. . .
А мы, как звери дикие, как черти,
Сражались в царстве ужаса и смерти. . .

Дрались, шагая прямо по телам
Товарищей, ступая где попало. . .
В тот день ни неприятелю, ни нам
Судьба в бою удачи не послала —
Никто из нас предугадать не мог,
Куда нас унесет ее поток.

Спустился вечер. Под его покровом
Исчезло всё, земля и небосклон,
И на поля, в молчании суровом,
Казалось, опустился мирный сон.
— Товарищи, прощайте! . . Вы по праву
Геройскую себе снискали славу!

Мы отступили в эту ночь. Наш путь
Ужасен был. . . Мы шли в изнеможенье,
И ветер выл — казалось, он столкнуть
Хотел с обрыва нас за поражение. . .
Сжимали мозг железные тиски. . .
Я за всю жизнь не знал такой тоски.

В душе моей как будто всё горело,
В глазах огонь пылающий не гас. . .
Но тело, человеческое тело,
Хотело жить! Как смертник в страшный час,
Перед собой увидев смерть воочью,
Бежал и я с другими этой ночью.

И пули ярко-красные во тьме
Летели вслед с каким-то свистом диким,
И в этой сатанинской кутерьме
Товарищи за грудь хватались с криком
И падали на снег, и звали нас
Губами белыми, в последний раз. . .

И лишь когда блеснул в небесной сфере
Восхода луч, при свете мы с трудом
Нашли друг друга, всё еще не веря,
Что это мы, что мы еще живем...
В ту ночь в душе, как в воинской могиле,
Друг друга мы без слез похоронили...

.....

А павшие остались на полях.
Над ними снег теперь воронкой кружит...
Там, где навек умолкли боль и страх
И с вечностью душа безмолвно дружит,
Где, памятью о жизни их, тропа
Лишь кости сохранит да черепа.

Сейчас там тьма... И только ветер горный,
Рыдая, снег сметает с мертвых тел.
Там смерть справляет праздник свой тлетворный
В груди снегов... И кто б туда посмел
Вернуться? Кто бы вспомнил, где дорога
К владениям невидимого бога?

.....

А мы живем. Мы дышим... Здесь мы вновь,
В сожженном и разрушенном селенье,
Где каждую минуту брызжет кровь,
Где в каждом доме смерть и запустенье...
И где порхает средь добра и зла
Удачи своенравная пчела.

И нас не ужасают пепелища,
Людей непогребенные тела...
Мы с хохотом бросаем горы пищи
В зев пропасти, без меры, без числа...
И не имеют уж для нас значенья
Безгласные судьбы предназначенья.

В разгаре пир... Вино здесь — как река...
Мы отдаемся, захмелев, гулянью...

Здесь нет греха, чтоб не пустил ростка,
Готова жертва тучная к закланью...
Для чьих-то поражений и удач
В чужих руках мы — жертва и палач.

8

Вчера, с зарей, предавшись мрачным думам,
В молчании стоял я на холме.
Вдали поток летел с веселым шумом,
И этот лепет долетал ко мне.
Ни облачка в светлеющей лазури...
И я забыл страдания и бури.

О, этот хоровод зеленых сел,
Поля вдали, от солнца золотые,
Где не царят ни зло, ни произвол,
Где вместо битвы сумрачной стихии
Мечта всё лучезарней, всё светлей
Парит над ярким золотом полей.

Вокруг была такая безмятежность,
Что страшным сном поход казался наш...
И мира прошлого покой и нежность
Околдовали душу, как мираж...
Увы, здесь жили в скорби и печали,
О нежности веками не слышали!

О, вечная родильница и мать,
Что в муках из беременного чрева
Вовек не перестанет исторгать
Миллионы жизней, красок, — чудо-дева,
Что испокон веков и до сих пор
Приносит в мир весов извечный спор!

О варвар, то безумец, то мудрец,
Ты — зверь, трава, что силою заклятий
Миры сжигает, колдовской чабрец,
Миры творящий посох благодати!
Ты — дух болотный с тусклым огоньком,
Священная молитва ни о чем!..

...И надо жить, шагать, шагать вперед,
Желанья ношею взвалив на плечи,
Бесмысленно свершая жизни ход,
Чтоб звезды зажигать, гасить, как свечи,
Чтоб наважденье длилось день за днем
И жизнь казалась бесконечным сном...

1915—1916

290. АТТИЛА

Топчи их рай, Аттила!

Вяч. Иванов

1

Поднявшийся из глубины веков,
Я ныне снова шествую по свету
И озираю древнюю планету,
Поднявшийся из глубины веков.

Сокрыт надежно золотой мой гроб
Был среди скал, во мраке ночи давнем
Моими гуннами, чтоб никогда в нем
Не потревожил гордый прах никто б.

И стали вы Аттилу забывать,
И стали насмехаться над Аттилой, —
Не возвратится тот, кто взят могилой, —
А я, поднявшись, шествую опять.

И вновь земля в пожарах и кострах,
До самых звезд огни стоят стеною.
Вы больше не смеетесь надо мною.
Поднявшись, я опять внушаю страх.

Всё исполняется, что я ни повелю,
И ныне, как судьба, неотвратимо
Железным кулаком стучусь в ворота Рима,
Сжигаю, разрушаю и громлю.

И рухнут ваши храмы, и в пыли,
У ног моих, во власти святотатца,
Червям подобно, будут извиваться
Раздавленные ваши короли.

Те самые, которым обо мне
Сказали, что стрела моя сломалась,
И в цирке чернь, злорадствуя, смеялась, —
А это примерещилось во сне.

Те самые, что, не жалея слов,
Про смерть мою, поверивши в такое,
Болтали, помышляя о покое
И для себя, и для своих рабов.

Бессильные, — возмездье к ним пришло.
Я превращу их мир в развалин груды.
Я был всегда. Я есть. Я вечно буду.
Тысячеликий я: Разруха, Смерть и Зло.

2

Раскосых глаз не избежать огня:
В них ваших снов причудливые зданья
Сегодня тают, как воспоминанья,
Под тяжкими копытами коня.

Эгей! — дрожите Запад и Восток,
Я не приемлю вашего порядка,
Я — царь и бог, я — ад и лихорадка,
Бич истины — он должен быть жесток.

Покуда меч в ножны я не вложил,
Владыки мира пусть поймут повсюду:
Я был всегда. Я есть. Я вечно буду.
Бессмертен я и неопровержим.

Пусть молятся людские племена
Своим богам, чтоб даровали силы

Не для борьбы — для бегства от Аттилы,
Когда он вденет ноги в стремена.

Пусть помнит человечество о нем.
В неутолимой жажде разрушенья
И вас самих, и ваши подношенья
Безжалостно потопчет он конем.

8

Когда же в прах повержен будет враг,
И я увижу, что земля впитала
Всю кровь его, я потянусь устало
И в золотой свой лягу саркофаг.

Мне на века постелью станет он.
Я снова сплю. Мои глаза закрыты.
И будут рядом заживо зарыты
Свидетели тех тайных похорон.

Чтоб никогда могилу не нашли
И не сумели учинить расправу
Над ним все те, чью растоптал он славу, —
Ничтожные властители земли.

Когда ж ему дадут созвездья знать,
Что вновь земля охвачена пожаром, --
Своим мечтам не изменяя старым,
Аттила-царь поднимется опять. . .

1916

291. СОМА

1

Как жрец у Ганга, тоской палим,
Тебя пою,
Пою твой свет, озаренный им,
Зарю твою.

В красном мире, — приходит тому пора, —
Отступает тьма.
Пою тебя, сладостная сестра,
Безумная Сома.

2

Неустанно, в сердце весну храня,
В мире зла и лжи
Искал я тебя при свете огня,
Сделав песней жизнь.

Но нигде, нигде не встретился мне
Твой огнистый взор.
Кто полюбит тебя, сгорит в огне —
Такой приговор.

И, желая смерти, с мечтой о ней
Я тебя настиг,
Я увидел вдруг на закате дней
Твой нетленный лик.

На алтарь вселенной — священный дар —
Был он принесен.
Явился, — полмира потряс пожар, —
Мне в зареве он.

Опьянен, позвал я, — толпа сошлась
В круг огневой.
Горящему миру я, не убоясь,
Предался душой.

3

Сома, я знаю, ты светлая та,
Что сошла в наш сад,
Чтоб придать священным нашим цветам
Аромат и яд.

Оплодотворяет цветы и травы
Твоя роса,
Живет в них, сладостна и величава,
Твоя краса.

Нектар их, в вино превращая, пьем,
Обжигаем рот.
Опьянев, желаем тебя, зовем.
Хмель томит и жжет.

Ты по жилам пламенем разлита,
Ты вина хмельней.
Да будет подвластен мир навсегда
Воле твоей.

4

Сома, о Сома, любовью в груди
Горишь ты, — невмочь!
Вино вдохновенья ты, в муках родин —
Сгоревшая ночь.

Ты — Млечный Путь души, ты светла.
Священное лоно зари —
Ты по небу раньше солнца прошла,
Золотом одарив.

О невеста священной свободы! Ты
Свобода сама.
Последняя радость последней мечты,
Радость духа, Сома!

Ты, что крови торопишь ток,
Закипая и пенясь в нем,
Вдруг, как радужный лепесток,
Вспыхиваешь огнем.

О Сома, будь славен тот красный миг,
Тот миг, когда в первый раз
В грудь человека твой пламень проник
И Агни ты назвалась.

Сердца закалив, ты их рубежи
Тогда перешла,
Пожаром метнулась ты в эту жизнь,
Полную зла.

Ты, вновь негасимый пламень раздув,
Над миром зажглась...
Сестра, ты когда-то одна в беду
Утешала нас.

И мы поднялись, и дали обет,
Исполнены сил.
Благословен твой огонь, твой свет,
Что сердца растопил.

Пусть пламя клокочет в сердцах у нас;
Хмельные, смотри, мы пустились в пляс.
Жизнь и смерть смешались в одно, смотри.
Вновь и вновь разгорайся, гори, гори!
Истекая кровью, сходя с ума,
Огненная Сом!

5

Сестра, вино твое в наших сердцах
Тлею века, огню сродни.
Сестра, вино твое в наших сердцах
Зажгло золотые свои огни.
Зажгло золотые свои огни
Во тьме земли,
Зажгло золотые свои огни
В земной пыли.
Веками, веками у нас в сердцах
Тот пламень горел,
Но каменный мир гореть не хотел,
Зажечься не смел.

Кто видел такое: зажженные вдруг в ночи,
Из могил вылетают снопом золотым лучи.
От истлевших костей исходят, горят светло.

То вино твое, что сердец живых не зажгло,
То вино твое, что напрасно бродило в них,
То вино твое, что ушло с ними в землю, вниз.

Поднимается огневой
Из могилы меч.
Но напрасно, — им тьмы земной
Не рассечь. . .
Сома, хмельное твое вино,
Что нам сердце жжет,
Мученья и смерть лишь несло оно
Нам из рода в род.
Лишь смерть несло и могильный мрак
Испокон веков,
Чтоб гореть потом, наш покинув прах,
Вне его оков.

Был каменный огнеупорен мир,
Но он вспыхнул всё ж.
Обезумев, грозный мы правим пир,
В сердце гром и дрожь.
Мы в буйный включаемся хоровод,
Зажигаем, жжем
Всё, что было, всё, что возмездья ждет
В древнем мире том.

6

Всё яростней пляска, быстрее разбег,
В кругу огневом, в огне вихревом
Жизнь кажется песней, огнем — человек.

Летят наши жизни ввысь,
Как будто снопы ракет,
Во мраке сердца зажглись,
Горяч, негасим их свет.

Закован в броню народ. . .
Шум пляски, ладоней плеск. . .
Стал факелом каждый; вот
Пылает их целый лес.

Пустились со всех сторон
Мы, зарево славя, в пляс.
И каменный мир зажжен,
Он в вихрях огня сейчас.

Сожжению подлежит
И время и жизнь сама.
Танцуя, со смертью жизнь
Смешал твой огонь, Сома.

7

Эгей, прислушайтесь, вас зовем,
Далекие братья, — люди труда.
Вступайте в круг, завертитесь в нем,
Сюда, сюда!
Уж пламя столбом взвилось к небесам,
Не видят его лишь глаза слепца.

Сюда, сюда! Взываем к друзьям,
Чьи жертвенны и горячи сердца.
Вы, пылкое сердце в груди храня,
Несите его с собою, толпой
Вступайте в стремительный вихрь огня,
В пожар мировой.

Пусть будет объят огнем
Весь мир, что погряз в пыли,
Пусть в зареве грозовом
Очистится плоть земли.

Состарившийся в веках
Пусть попусту не чадит,
Пускай обратится в прах
Весь старозаветный быт.

Пожаров велик размах,
Пусть вечно душа горит,
Пусть слово твое, Сома,
Пылая, чудотворит.

Толпа за толпою идут, идут —
 Конца им и края нет —
 Вершить над старою жизнью суд,
 Пожарам предать весь свет.

Приходит каменной жизни конец, —
 Прогорит дотла.
 Толпа обезумевшая в огне
 В неистовый пляс пошла.

Священною жертвой горит наша кровь
 Нетленный камень в нее проник,
 И улыбается миру вновь
 Сквозь зарево твой озаренный лик.

9

Сновиденьем кажется ныне мне,
 Песней жизнь моя.
 Счастлив я, Сома, что постиг вполне
 Душу бытия.
 Счастлив я, Сома, что в твоём огне
 Загорелся я.

Я зажжен по воле твоей сейчас
 Жертвенным огнем.
 Если б, негасим, всё ж он вдруг погас,
 Ты его потом
 Заревом опять распалишь не раз
 В этом мире злом.

О Сома, любовь твоя — хмель и яд,
 Но, как мед, сладка.
 О Сома, час близок мой, дни летят,
 Ты — жива века.

Искрою блеснув, — жребий смертных лют, —
 Пусть погасну я, — испепелено,
 Загорится вновь сердце всё равно
 В блеске зорь твоих, что еще взойдут.

1918

292. НЕИСТОВЫЕ ТОЛПЫ

1

Вам, близким и далеким, всем, моим товарищам, бойцам,
Далеким солнцам и миру,
Всем тем, чьи души в непроглядной мгле
Горят, чтоб мрак развеять на земле,
Где рядом жизнь и смерть, как тьма и свет.
Их душам жертвенным —
привет, привет!

2

Был вечер от огня багряно-ал,
Вдали закат багровый догорал,
Как яд, из солнца выжатый, ползла
Над полем окровавленная мгла.
Как яростный пожар, пылал закат,
И солнце изрыгало кровь и яд.
На горизонте печь зажглась, и вот
Над полем свет малиновый течет,
И точно кровью поле обагрив,
Горят вечерним блеском волны нив.
Вокруг текут бескрайние поля,
Не знающая берега земля,
Как море без начала и границ,
Как море в отблесках ночных зарниц.

3

Здесь, в этом поле без границ, закатным залиты огнем,
Неистовые толпы бой, смертельный бой вели с врагом.
Из городов и деревень, степей далеких, ближних сел
Они с надеждой шли сюда. Тот, кто из города пришел,
Оставил там туман и мглу, сырую, едкую, как дым,
Которая живую жизнь покрыла облаком седым.
Кто из села пришел, у тех осталась серая земля,
Которая за весь их труд не приносила ни стебля.
Кто из степей явился, тот вдали оставил за собой
Безбрежную степную ширь, что стала для него тюрьмой.

Тот, кто из города пришел, где шум и чад, тоска и мрак,
Чахоточное сердце тот принес в груди, как красный
стяг.

Кто вековую тьму села оставил где-то там вдали,
Тот в мускулах своих принес мощь плодородную земли.
Тот, кто явился из степей, где с детства словно

Тот в чистых голубых глазах степную ширь с собой
пленник рос,
принес.

Неистовые, как гроза, все обделенные судьбой,
Терпеть не в силах произвол, они пришли, чтоб встать
на бой.

4

Огонь заката догорал, уж тени первые легли.
И с грозной песней на устах неистовые толпы шли.
Вокруг поля, а впереди, за далью солнечных равнин,
Там, где дорога в поле шла, виднелся город-исполин.
Лениво нежась, он лежал в лучах заката золотых,
И тысячью цветов сверкал его темнеющий массив.
Как беззаботно, широко он распростерся на земле,
Как будто бы купался он в вечерней золотистой мгле.
Казалось, здания его в багряном воздухе висят,
Теряя краски каждый миг — их обесцвечивал закат.
Лишь стекла окон тех громад, лучом заката зажжены,
Пылали ярко, как пожар, и были в них отражены
Все краски солнечных лучей, от огненных до золотых,
И блеск зловещего огня вселял тревогу в души их...
Как гвозди в небе, все в крови, вонзившиеся крепко
в высь,

Гиганты-трубы в вышине заката отблеском зажглись.
Но дым из глоток их не шел, и траурная полоса
Не омрачала синеву, расчеркивая небеса.
Лишь мгла вечерняя росла, всё покрывая пеленой,
Пока стволы гигантских труб не скрыл бесследно мрак
ночной.

Южнее города, где сеть железных путаных путей,
 Виднелась станция во тьме, нигде ни вспышек, ни огней.
 И слышался по временам, как зверя раненого крик,
 Пронзительный гудок, и был тот голос так тосклив
 и днк,
 Как будто нес о смерти весть, на миг взлетая, чтоб
 упасть
 В простор полуночных полей... И вновь в молчанье
 погрузясь,
 Лежала станция, и был могуч ее суровый лик.
 Здесь в узел собирал пути железные ее тупик.
 Отсюда нити синих рельс, как будто собранных в клубок,
 Текли на север и на юг, на запад шли и на восток.
 Переплетеньем вен стальных они от станции ползли,
 Стремясь неудержимо вдаль, в просторы дальние земли.
 Переплетеньем вен стальных земную обнимая грудь,
 Они сжимались всё тесней, украдкой уходя в путь.
 И в центре их, окаменев, неколебима, как утес,
 Стояла станция во мгле, как символ камня, как вопрос,
 Как узел стали... Перед ней неистовые толпы в бой
 Шли, не сдаваясь, не ропща, покорны воле мировой,
 Как будто мощною рукой взметенные внезапно ввысь,
 Сражались с песней на устах и к темной станции
 рвались.

Они сражались. Чуть вздыхал спокойный ветер над
 травой.
 Пред ними город в темноте лежал, как враг их вековой.
 Как сфинкс громадный, положив две рыжих груди
 на песок,
 У солнцежаждущей толпы он на пути помехой лег.
 И в красном сумраке густом, который словно к небу
 рос,
 Сидела станция пред ним, настороже, как верный пес.
 Сидела, чутко замерев, ему подвластна одному,
 Следя за линиями вен, вдаль уходящих во тьму.
 И к северу от них, везде, где путь не разрезал земли,
 Окопов холмики во тьме, как волны в темном море, шли.

Враг, руки до крови стерев, всю землю перерыл и в ней
Укрылся, прячась в глубине волнообразных ям-траншей.
Неуязвимый, он стрелял из сердца матери-земли,
Но не сгибаясь под огнем неистовые толпы шли.
Всё приближались, шли вперед, за пядью пядь, за шагом
шаг,
Рвались снаряды, тучи пуль навстречу посылал им
враг...
Как песня бой звенел... Глядишь — взорвался над врагом
снаряд...
Так, продвигаясь, шли они за шагом шаг, за рядом
ряд...

7

Сражаясь, шли они вперед в огнях последнего луча,
И суетилась смерть вокруг, в полях вечерних хохоча,
И пела песнь свою, смешав со свистом пули свой напев,
И толпы двигались вперед, боязнь и боль преодолев.
Всё было песней — каждый взгляд и сердце каждого
бойца,
Подобно утренней заре, горели пылкие сердца,
И солнца старого закат был словно песня над землей,
И с песнею всё так же шли неистовые толпы в бой.

8

И громко пел один из них, и голос был силен и смел.
Он славил мужество бойца, товарищу он славу пел.
Как сокол песнь летела ввысь, лилась, парила над
землей,
Так бился с песней на устах светлоулыбчивый герой.
Он пел... А солнце — красный горн — клонилось всё
быстрее в закат,
И этот голос на полях звенел, могучий, как набат,
Звенел, как колокольный звон, чтоб мир услышал, как он
пел, —
С такой тоскою пел герой, спокойно наводя прицел.

«...Из городов, степей и сел, со всех концов родной
 земли
 Надежды полные сердца на это поле мы несли.
 Здесь бой сейчас, и смерть, и мрак, но, не сгибаясь под
 огнем,
 Как знамя красное, сердца навстречу смерти мы несем.
 Тысячелетний солнца шар окрасил красным наш поход,
 Нам в этот час вечерний мир кровавую улыбку шлет.
 С восторгом в сердце бьемся мы, нам песня облегчает
 шаг,
 Встал против нас весь старый мир, как наш
 тысячелетний враг.
 Но мы идем, и смерть сама с улыбкою встречает нас —
 Сегодня многих здесь, увы, ждет их последний грозный
 час.
 Как наша красная тоска, он беспощаден, этот бой,
 Стреляй, стреляй же во врага, неистовый товарищ
 мой!...»

...Садилось солнце в облака, пятная кровью небосвод,
 Неистовые толпы шли, не унывая шли вперед.
 В глазах их пламенел огонь, пылало пламя в их
 сердцах,
 Так двигались они вперед, преодолая боль и страх.
 Стреляя, двигались они, звучал воинственный мотив,
 И дрогнул враг, и побежал, под их напором отступив...
 Последний солнца луч погас и воцарилась темнота,
 Когда они пошли на штурм и станция была взята.

Сейчас темно. Ночь непроглядная легла.
 Сейчас темно. Повсюду мгла.
 На темной станции, где нет ни проблеска, ни огонька,
 Неистовые толпы ждут, в глазах упорство и тоска.
 Во тьме крошечной не видать могучих сводов
 и стропил —
 На станции погашен свет, чтоб враг людей не различил.

Ждут, зорко вглядываясь вдаль, во тьму, где притаился
 враг, —
 Пока победа к ним пришла, на землю опустился мрак.
 Здесь ждут зари они, решив хоть до рассвета
 отдохнуть,
 Чтоб с первым утренним лучом опять начать нелегкий
 путь.
 С тревожным сердцем ждут они, уставясь в тьму перед
 собой,
 Рассвета терпеливо ждут, чтоб продолжать жестокий
 бой.
 Когда ползли они вперед, тесня врага за пядью пядь,
 Казалось, город от узла недалеко, рукой подать;
 Когда же подошли к узлу и вскоре был он штурмом
 взят,
 Воспользовавшись темнотой, боясь ловушек и засад,
 Враг в город отступил... И вот они ждут утра, чтоб
 опять
 Начать кровопролитный бой, враждебный город
 штурмовать.

12

В тысячелетней темноте, что погасила все огни,
 На темной станции столпясь, стоят они.
 Пред ними поле мглой ночной затемнено,
 Вокруг ни звука, ни огня... Везде темно.
 Пред ними поле без конца, немое в этот поздний час,
 Там подозрение сидит — слепое чудище без глаз,
 Сидит и дремлет, словно пес, и сторожит глубокий мрак,
 В крошечной притаившись мгле, следит, как невидимка-
 враг.
 В глаза неистовых людей оно глядит, глядит в упор,
 В их чистый и глубокий взгляд уставив тупо мутный
 взор.
 И не мигая, в темноте они с тревогой смотрят вдаль,
 И в их расширенных зрачках таится страшная печаль.
 Тревожно вглядываясь в тьму, стоят без вздохов и без
 слов,
 И шум на станции ночной ползет, ползет из всех углов...

Огромной армией сойдясь на этой станции ночной,
 На поле темное они глядят с тревогой и тоской.
 И в бездне этой темноты, как нарастающий пожар,
 Едва виднеется вдали горящий красным светом шар.
 Их напряженные глаза миражем призрачным маня,
 Зловещим светом он горит, тот сгусток крови и огня.
 Багрово-красный, он горит, он для того в ночи зажжен,
 Чтоб были бдительны бойцы, чтоб их не убаюкал сон.
 Во тьме, как песья голова, чьи очертанья чуть видны,
 Горит зловещий этот свет, как знак тревоги и войны.
 Огонь тот — город, где сейчас царят смятение и страх,
 Он как тысячелетний враг с безумной яростью в глазах.
 И этот роковой огонь, зловещий раскаленный свет —
 Как точка красная в мозгу, безумца неотвязный бред.
 Как будто он зажжен тоской агонии в последний час...
 И на багровый этот свет глядят десятки тысяч глаз...

Так, устремив на красный свет усталый напряженный
 взор,
 Неистовые толпы ждут, чтобы восход омыл простор.
 И точка эта, этот свет, их бдения бессонный страж,
 В их душах сумрачных горит как луч, как огненный
 мираж.
 Питает ядом грудь, как гвоздь, в нее вонзенный
 темнотой,
 Воспламеняет их сердца всеразрушающей мечтой...
 И ноет в глубине души, сперва на дне, издалека,
 Старинная тупая боль, и поднимается тоска,
 И вот кровавая мечта мутит их взор... глаза горят...
 И тысячи горящих глаз выплевывают кровь и яд...
 И поднимается со дна тоска и горечь долгих лет,
 И в ясных их глазах горит ее кровавый дикий свет.
 Так, сердцем отмечая пульс последних медленных минут,
 Взор устремив на красный свет, неистовые толпы ждут...

Разрушить стены и сады, чтоб весь он обратился в прах,
Чтоб жечь деревья и дома, развеять пепел на камнях
И в упоении плясать на потухающем огне,
И рассыпать везде золу, и искры гнать по всей стране...
И самый пепел жечь и жечь, втоптать его в песок
и грязь,
Чтобы, как феникс, старый мир не встал, из пепла
возродясь...
Рассыпав пепел, чтоб его сам ветер уж не мог вернуть,
В миры незаснявших солнц они начнут свой новый путь.

17

Когда забрезжил первый луч и, как войны кровавый знак,
На горизонте красный диск поднялся, разгоняя мрак,
И, новым светом запылав, зажег край неба голубой,
Рванулись дружно, как один, неистовые толпы в бой.
Пред ними поле без границ, туман, ползущий по земле,
Прохлада утренней травы и в испаряющейся мгле,
На перекрестках трех дорог, как исполинский Колизей,
Огромный город, весь в огне слепящих солнечных
лучей...
И, устремив горящий взор на свет, идущий с вышины,
Они сражались вновь и вновь, огнем рассветным
зажжены.
Тысячеликим войском вдаль, туда, где пламенел восход,
Неистовые толпы шли,
Шли к Солнцу новому, вперед.

.
.

1918

293. ИЗ СТРАНЫ НАИРИ

(Отрывок)

...Мне жертва моя опалает ладонь,
Я сердце страны Наири кладу
В пылающий ваш огонь.
Кто может сказать:

В эту раннюю рань
Пришел ли еще кто-нибудь, чтобы влить
В торжественный ваш и могучий хор
Свободолюбивей песнь,
Чем та, что звучит с высоких гор
Моей страны Наири?

Кто может сказать:
В эту раннюю рань
Пришел ли еще кто-нибудь, чтобы влить
В пылающий сплав миллионов сердец
Бесстрашнее сердце, чем то,
Что вам принести мне велела, как дань,
Моя страна Наири?

Кто может сказать:
Вашим красным рядам
Принес ли еще хоть один поэт
Бодрее привет, горячее привет
Моей страны Наири,
Багряной от крови своих сыновей
Моей страны Наири?

.
Багряным цветком в ликование горит
Наирское сердце мое;
Сливает его единый ритм
Со сплавом красных сердец.
Сто тысяч мечей, сто тысяч потерь
Терзали его, и раскрылось оно
У мира в широкой груди,
И радость в душе у меня кипит,
И светел лицом, я песнь пою,
Что дал мне страдавший из рода в род
Народ страны Наири.

Смотри, это — я пою,
Пришедший из мглы столетий былых,
Поэт-исполин Египше Чаренц,
Слагающий гимн во славу твою
Твой сын, страна Наири.
Сегодня мне стать собою дано,
Я родом из жил твоих золотых,

Ты силу мне дал, победитель-народ,
Я только — твое звено.
В железную песнь я сердце вложил
Во славу грядущих времен,
И в сердце своем новозданный мир
Несу я в избытке сил.

И вот — я стою — и могуч и тверд —
На вечном снегу наших гордых гор,
Под красным крылом грядущих веков,
Широким ветром дыша,
И на высоте полета их
Мужает моя душа.

И красным огнем душа полна,
И красным огнем душа горда,
И тем я горжусь, что в мои времена
Я радость воспел средь наирских гор,
Что новую песню мою навсегда
Я влил во всеобщий хор.

1920

294. СЛОВО О НАРОДЕ

1

Долины, степи, поля — нет ни конца ни края...
Под океаном небес — селений тихих дома...
Земля, всем землям земля, вся от снегов седая,
От горя черная вся, была веками нема.
На доброй, щедрой земле жилось крестьянам туго.
А было так потому, что некогда, еще встарь,
Стал править этой страной, от севера до юга,
Один на всю ее ширь, недоброхот-государь.
Как ворог, властвовал царь — и алчно и жестоко.
А работающий народ? Он был рабом крепостным!
И голодал хлебобоб, и старился до срока,
И много было господ, чтоб измываться над ним.
В огромной этой стране, богатой, беспредельной,
Всю свору бар да попов, купцов да грозных князей

Забитый пахарь-мужик, бесправный, безземельный,
Из века в век, день за днем, держал на шее своей.
Хоть пустовало земель не меньше половины,
Крестьянам в этой стране не полагалось земли —
И от зари до зари, в поту, сгибая спины,
Лишь на хозяев своих они работать могли.
И становилось подчас так тяжело народу
Всё это молча терпеть, без всякой радости жить,
Что шел в кабак бородач, полуголодный сроду,
И пил, и пил, чтоб тоску, чтоб голод сном заглушить.
Бывал народ и в церквах, где можно помолиться,
Где, свечечку запалив, мог верить каждый бедняк,
Что если будут ему и воля и земляца,
То будут, значит, с небес, а по-другому — никак.
Но в беспросветности той не помогали что-то
Ни всемогущий господь, ни горький водочный яд, —
Бок о бок шла с бедняком лишь о куске забота,
И с голоду в деревнях и стар валился и млад.
Страна похожа была на море слез и крови —
Кровав был каждый закат, кровав был каждый рассвет.
И в песнях этой страны, в ее народном слове
Безвыходная тоска звучала тысячу лет.
. . . И вот крестьянин один, мужик обыкновенный,
Казачью голь-бедноту собрав во сколько-то сот,
Сказал им, что не мольбой, а силою военной
Освобожденье от мук народу он принесет.
Он бросил клич голытьбе: «Эй, хватит вам, холопам,
Под барской плетью стонать да гинуть с голоду зря!
Коль соберемся в одно, коль двинемся всем скопом, —
И хлеб, и волю найдем, и одолеем царя.
К Москве я вас поведу, вверх по реке великой,
В хоробах царских поить вас буду, как хлебосол.
И кто считает себя последним горемыкой,
Тому и сесть, стало быть, во том пиру на престол! . . .»
И по великой реке, по всем ее притокам
На клич тот, вооружась, текла мужицкая рать,
Чтоб разгуляться хоть раз там, во поле широком,
Чтоб у богатых и власть, и землю поотобрать.
Уже не сколько-то сот, уж тысячам нет счета,
Уж войску нет берегов, — оно росло и росло;
И каждый в нем — что огонь, и каждому охота
Мучителям отомстить за вековечное зло.

А дни текли чередой — медлительно, уныло...
 Кровав был каждый восход, кровав был каждый закат...
 И голод не отступал, и рознь свой нож точила,
 И войны — с гиком, с огнем — шли год за годом, подряд.
 Накатывались на Русь и турки, и татары,
 Поляки с боем рвались к золотоглавой Москве...
 Тут черный мор наносил неожиданные удары,
 Там засух дым проползал по обгорелой траве...
 Косою острою смерть без усталости махала,
 Небесный застила свет, как неотступная тень, —
 И улыбок жизни водой позалила немало
 В убогих, нищих домах заснеженных деревень.
 ...Тогда-то слух и прошел, что есть заступник новый:
 Мол, супротив богачей опять он встал с мужичьем,
 Мол, добрый — лишь к бедноте, а с барями — суровый,
 И кобель задумает что — уж настоит на своем!
 И немущий народ, безродный да бездомный,
 Из сел, станиц, городов сбираться начал опять, —
 Оружие раздобыл, стал армией огромной,
 Чтоб с этим, с новым вождем у бар всю землю отнять.
 И было так решено: князья-землевладельцы
 За злодеянья должны погнунуть, перемереть;
 Пусть лишь пахать мастаки да серп держать умельцы
 Всем, что ни есть на земле, распоряжаются впредь.
 И было сказано так: коль дружно, со стараньем
 За дело мы, мужики, возьмемся все, там и тут,
 То солнце наши поля таким зальет сияньем,
 Что даже камни вокруг от радости запоют!
 И шла крестьянская рать, кто пеший, а кто конный,
 И по дороге к Москве опять брала города.
 Ан снова полк за полком, колонна за колонной,
 Навстречу двинулись ей — несметны, как и тогда.
 Упорно, в пешем строю, дрались бойцы-крестьяне,
 Все как один полегли — от сабель да от свинца...
 Лишь конных горстка ушла живою с поля брани:
 Солдатам царским сдалась, не выдержав до конца.
 Захвачен вождь мятежа, — такой же черноокий.
 Приказано и его, как зверя, в клетке везти,
 Чтоб кто-нибудь из толпы, кто подлый да жестокий,
 В израненное лицо ему плевал на пути.

И приговор свой опять вершили втайне судьи,
И над Москвою опять гудели колокола,
Взошел палач на помост в притихшем многолюдье,
И пуще прежнего скорбь сердца бедняцкие жгла.
А он, крестьянский вожак, бесстрашный, непокорный,
Из клетки вышел, взглянул на присмирелых людей —
И под бровями его вдруг вспыхнул пламень черный,
И он уж крикнуть хотел: «Вставай, братва, не робей!»
Хотел он крикнуть: «Восстань, земля моя Россия!
Страхни с себя кабалу, закабаленный народ!
Сбери все силы свои, как тучи грозовые, —
Пусть громом на богачей твоё страданье падет!..»
Но как тут крикнешь? Палач богатыря на плаху,
Закованного, свалил ударом тяжким в упор —
И крик задохся в груди, и, мертвая со страху,
Вся площадь охнула враз, когда взметнулся топор...
И вновь народ крепостной остался сиротою,
И вновь глухие года в тоске мучительной шли, —
Никто уж не созывал крестьян к походу, к бою,
Никто уж не обещал ни воли им, ни земли.
В безрадостных небесах кровавое светило
Не солнцем виделось им, а топором палача;
Отчаянье по стране свой темный вал катило —
На горестные сердца садилось, как саранча.
Голодный, битый плетью, крестьянин уж не верил
Ни в господу, ни в себя, ни в новых богатырей:
По тем вчерашним годам и завтрашние мерил —
Мол, как с врагом ни хитри, он всё одно похитрей...
Безмолвствующий народ, как тягостное бремя,
Влачил судьбину свою, жизнь беспросветную вел, —
И сколько ж вытерпел он! Знать, не настало время
Свалить и царский престол, и княжеский произвол.
• • • • •

3

Незабываемый свет надежды и свободы
В те дни надолго погас... Не вспыхнул он и тогда,
Когда к машине, к станку, на фабрики, заводы
Крестьяне с горя пошли — из деревень в города.
Разноплеменной толпой они вливаться стали
В грохочущие цеха, во тьму забоев сырых;

Да только, видно, и тут людьми их не считали —
Отсчитывали гроши за руки сильные их.
И тут с концами концы сводились еле-еле,
И тут был каторжный труд, и тут — страданье весь век!
Но закалялись сердца, но мускулы твердели —
И в том железном аду железный рос человек.
Его лачуга ждала — холодная, пустая. . .
Но песнь о новых мирах пел в двигателях металл, —
И возмущения гул, с годами нарастая,
В печах и в глотках гудков неистово клокотал.
Нелегкий труд заводской был чувством локтя скрашен,
Давал он крылья душе, как ни было тяжело;
Товарищество людей, пришедших с жалких пашен,
Уж в новый выросло класс, мечту свою обрело.
Вот так-то было оно. . . И вырвался однажды,
Как будто первым лучом земную темень пронзив,
Призыв из труб заводских — да так, чтоб слышал
каждый! —

К великой, к новой борьбе могущественный призыв.
И было сказано так: «Лишь две есть в мире силы.
Одна — не мы, а они, хозяева, богачи,
Вытягиватели жил, банкиры-воротилы,
Держащие под замком людского счастья ключи.
Они сидят во дворцах, при каждом — стража, свита;
Не рот у каждого — пасть, бездонной бочке под стать;
И нажираются всласть, и вновь глядят несыто:
Чего б такого еще им на похмелье сожрать?
Они, владельцы всего — машин, дорог, угодий,
Работы знать не хотят, ведут лишь прибылям счет,
Хозяйничают везде — на ниве, на заводе,
Всех благ лишая того, кто блага все создает. . .
Другая силища — мы, трудящиеся люди;
Мы тем, друзья, и сильны, что армий наших не счесть!
Да, нет пока что у нас своих станков, орудий,
Но право ими владеть у нас давно уже есть —
У нас, чьи мышцы крепки, чьи полнокровны вены,
Чья молодая душа всех звезд, всех солнц горячеей;
У нас, кто должен разбить глухого гнета стены,
Чтоб разлилось по земле сиянье майских лучей;
У нас, кому созидать, кому смирять стихии,
Менять и вид городов и направление рек,
Кто двигает поезда и корабли морские,

И опустели дома. Не сотни — миллионы
Отцов, мужей, сыновей в кровавой сгнули мгле,
Где свист свинца не стихал, где не смолкали стоны,
Где полз удушливый дым по опаленной земле,
Где смертоносной слюной плевались пулеметы,
Где душу пушечный вой сжимал холодной рукой,
Где замерзали в снегах истрепанные роты,
Где только смерть и могла дать человеку покой. . .
А в опустелых домах — здесь матери, там жены —
Три года ждали конца, но не кончалась война.
Измаявшийся народ со страхом, напряженно
Глядел в кровавую даль — и думал: чья ж тут вина?
Предел терпенью настал. . . И вот как раз тогда-то
В нахмуренных городах заговорили гудки
О том, что должен солдат не целиться в солдата,
А оборачивать в тыл орудия и штыки.
И армия поняла, поверила заводам,
Что к избавлению есть один-единственный путь,
Что надо, объединясь с трудящимся народом,
На истинного врага оружие повернуть.
Повсюду, как океан, всё выше, неспокойней
Вздымала волны страна — и трон уж смыло волной! . .
Ушел с винтовкой солдат из той постылой бойни —
И знал, кто друг, а кто враг, когда вернулся домой.
«Довольно войн! — он сказал. — И крови с нас довольно!
Что нам с другими делить? Мы все — под солнцем одним.
Без богачей-кровопийц всем будет жить привольно,
Без них мы с нашей землей весь мир, братки, породним!
Сегодня только за то, чтоб не было богатых,
За то, чтоб власть — бедноте, я в бой последний готов! . .»
Такой вот жар бушевал в измученных солдатах,
Когда полками они пришли с далеких фронтов.
И вот, с оружием в руках, покончив с царским тронном,
Встал на решительный бой весь обездоленный люд —
И старый, лживый закон пред новым пал законом,
Святым отныне для всех: свобода, равенство, труд.
Распахивались поля любовней и прилежней. . .
Светло и гордо в те дни заводы пели кругом. . .
Но подлый враг пожелал вернуть порядок прежний —
И разве мог бы народ не драться с этим врагом?
Собрали армию вновь крестьянин и рабочий,
И выставили штыки, и оседлали коней:

Пусть знает недруг любой, нас угнетать охочий,
Что наша рать велика — и нет на свете сильней!
И словно горная цепь, среди огня и дыма,
По фронту в тысячи верст, в тысячедневном бою
Освобожденный народ стоял неколебимо
За новый, правильный строй, за власть, за землю свою. . .
Тот бой идет и сейчас. И, жизнью не жалея,
Свои грядущие дни отстаивает народ.
Пусть подступает к нам враг всё яростней, всё злее, —
Он завоеванных прав у нас уж не отберет!
Народ, который разбил мрак вековой впервые,
Оружия не отдаст, — он будет непобедим,
Покуда здесь, на земле, стучат сердца людские,
Покуда солнце горит над этим шаром земным.
Пусть в грозных битвах растет героических армий слава,
Пусть над землею звучит, врагу любому на страх:
— Такой народ отстоит свое святое право,
Он собственную судьбу в своих удержит руках!

1920

295. ВСЕПОЭМА

ВСТУПЛЕНИЕ

Я
Из Айастана поэт,
Из земли
Смерти и мглы,
Эту поэму поэм
Ныне пою
Всем, всем, всем!

Но почему
Должен петь
Только я,
Поэт?
Только я, а не кто-нибудь —
Қарапёт,
Мартирós,
Маркós, —

Те, что больны.
Утомлены
И не знают, где вольно вздохнуть?
Почему
Не поет
Каждый тот
Из толпы,
Кто устал
И кого липкий пот
Этих сумрачных дней.
Час за часом верней,
Тянет вглубь — засосет?

Почему ж
Не все те,
Что бегством спаслись,
Кинув Муш,
Багдад иль Битлис?
Что в пыли
Этих дней,
Мглистых дней,
Знойных дней,
Час за часом верней,
Утомлены,
Под безжалостной мглой
Гибнуть должны,
Задыхаясь в пыли,
Извиваясь в пыли
Мировой!
Что текут
По лицу
Мировому, как пот,
Что текут
Под безжалостной мглой, —
И ветер их рвет,
И вихри влекут,
И уносят, смешав, к одному концу!
Нет!
Не знать же нельзя,
Что любой —
Карапёт,

Мартирѳс,
Маркѳс,
Любой ломовой,
Носильщик,
Слуга из депо —
Тысячу раз поэт!
В нем — Верлен,
И Терян,
И Эдгар По!

Нет!
Не знать же нельзя,
Что любой Татѳс,
Кто, по грязи скользя,
На спине волочит навоз,
Кто сгорблен и нем, —
В прелых легких своих
Таит
Тысячи тысяч поэм!

Вы не знали того?
Так узнайте! Услышьте в ответ!
(Уши настезь, все, все!)
Кроме них,
Иных
В мире гениев нет!
А знаете, что
Пели они
На весь мир?
Воображаете вы,
Что в их песнях был
Канн, Фауст, король Лир?
Нет!
Вздором таким
Заниматься некогда им!
Пели они,
И та песня их
Сквозь века
От земли поднималась в эфир,
Сильна, высока:
Эта песня — *Мир!*

Да!
Эта песня — *Мир*:
Все города,
Все
Шлюзы, плотины, шоссе,
Насыпи железных дорог,
Великолепный чертог,
Университет
И последний клозет,
Здесь, там, вблизи и вдали —
Все создання земли!
Что за песнь,
Из бессчетности звуков слита!
Чудо!
Восторг!
Красота!
Гениальный товарищ, привет!
Карапёт,
Барсам,
Бартуг, —
Вселенский поэт!

Да!
Почему ж только я —
Автор поэм?
Все, все пусть поют!
Все,
Все,
Все!
Там и тут!
Иль почему
Только он
Должен сметь,
Должен петь?
Может, он —
Оваким,
Каро,
Согомон?
Кто-нибудь,
Из Битлса нашедший путь
Иль из Вана, из области слез,
Погос?

А Чинг-Фу,
А Юсуф,
А Иван?
Певцы
Всех племен
И всех стран!
Нет!
Не знать же нельзя
(Я вам говорю, говорю!),
Что теперь
Аэроплан,
По простору скользя,
Из Тибета любого Хун-Ю
Переносит в Битлис,
В Петроград,
В Тегеран!
Что Карó
(Или, если хотите, Агó),
Как осенний листок,
Перелетает теперь
На Запад и на Восток,
Через весь мир,
Из Эривани в Марсель,
В Пекин,
В Чикаго,
В Каир!

О, давно уже стал
Мир этот — мал.
Нельзя же не знать,
Что, протянув свою руку, один
Чинг-Фу
Из Пекина в Эчмиадзін
Может сказать:
«Здравствуй, Агó!»
Так почему ж
Буду петь только я?
Эривань,
Или Муш,
Или Ван?
Пусть поют
Люди всех стран!

Пусть поет вся земля.
Сидней,
Чикаго,
Пекин,
Петроград,
Капштадт,
Берлин!
Пусть поют,
Пусть поют,
Пусть поют!

ГЛАВА I

1914, июль, Эривань

Эривань.
Асфальт и зной.
Мушá Погóс.
Жестокой ношей удручен,
Проходит он.
Сел на откос.

Эривань.
Спина болит.
Сохнет гортань...
Путь дальний впереди,
Весь как в огне.
Толкает ноша на спине,
Твердит:
«Иди! Иди!»
Зной.
Полдень южных стран.
И солнце — огненный шафран.

Идет
Вперед
С тоской в груди.
Ноша твердит:
«Иди!»

Всё — как всегда:
Асфальт,
Зной,

Стен череда,
Холодная вода,
Вино,
И экипажи, и народ,
Еще народ,
Толпа, идущая вперед.
Всё — как всегда,
Всё — как давно...
Шар солнца ал...
Но вокруг,
В толпе людской,
Никто не знал,
Что здесь, на мостовой,
Случилось чудо вдруг.
Случилось... просто, как судьба.
Со лба
Рабочего, что шел, —
Яремный вол
С тоской в груди
(А ноша повторяла вслух:
«Иди!») —
Рабочего, что шел
В полдневный зной, —
В пыль мостовой
Скатилась капля пота вдруг.

Скатилась, и на миг
(О, чудо из чудес!),
Как тысяча огней,
Блеснули в ней
Все беспредельности небес
И солнца раскаленный лик!
И вдруг
Из пыли,
С мостовой,
Где капля лежала росой,
Поднялись,
И смелы,
И сильны,
И воли полны,
Без числа,
Без числа,

Ряды
Бойцов!
Из пыли
Поднялись
Полки
Железных бойцов...
(Тех, что нет,
Что погибли давно и вдали!)

.
Поднялись
Из летней пыли,
Потекли
Со всех концов
Без числа
Полки
В броню одетых бойцов,
Рати новых побед!
Блеснули штыки
Со всех сторон,
Застучали мощно сердца,
И взвились без конца
Складки новых знамен,
Красных, алых знамен!

И
Всех впереди —
Знамя в руках —
Шел Погос;
Поднималась пыль,
Отлетая назад;
Колыхались войска,
За рядом ряд;
И сквозь века,
Вождь несметных войск,
Шел гигант
Погос.

По мостовой
Шел, за шагом шаг,
Глаза
Вдаль устремив.
Солица багряный лик

В его зрачках
Горел — на миг.
Солнечный диск был ал,
Но никто, никто не видал
Солнца багряный лик
В этих зрачках.
Потом
Прогремел экипаж
По мостовой.
Улица та ж.
К дому дом.
Асфальт и зной.
Сохнет гортань.
Эривань.
Пыль в глаза...
Всё в пыли...
Виноград,
И толпа,
И стены домов,
И рев:
«А-и, а-и-и!» —
Осла,
Ослицы,
Ослов.

Над мостовой
Лень и зной,
Зной и мгла;
Ало-серая мгла;
Лень, словно в летнюю рань,
Сон счастливый осла...
Эривань!
Эривань!
Эривань!

Но,
Собираясь домой,
Перед лавкой своей
Сидел Амо.
Мечталось ему:
«Почему
Свежего ветра нет?»

Казалось ему:
Улица — целый свет,
Пыльная улица — это весь свет,
И живут на ней —
Он, Амо,
Да Каро,
Да Погóс,
Да еще Карапёт.
И Амо
Видит сон:
Солнца круг впереди,
И на солнце сидит
Он,
Амо́,
Смотрит ввысь,
Ноги свесивши вниз,
Песнь мурлычет, меж тем
Счет ведет: «Пять... шесть... семь...»

Размышляет Амо́:
Течет солнца вино...
Покупателей нет,
Полдень минул давно,
Скоро скроется свет.
Завтра солнце опять
Будет печь душистой мглой...
Кто пойдёт покупать
В этакнй зной!
Какой дурак
Возьмет вино или коньяк!

Дремлет Амо́,
И в его
Заячьей душе —
Ничего, ничего! —
Улицы уголок,
День и ночь, ночь и день,
Коньяк, на двери замок,
Всё та ж дребедень...
Разве могла
Чудо увидеть его душа?

И зачем, почему
Смотреть на чудо ему?
И когда
Кто-то сказал:
«Война», —
Не понял Амо
Ничего;
Показалось ему
С ленивого сна:
Будет свадьба тут,
Гости придут,
Будет выпито много вина. . .

Но когда
Вечер настал
Для Амо
И он
Шел домой,
Чтобы выпить вина, —
Над мостовой
Звучало со всех сторон:
«Война!»
«Война!»
«Война!»

ГЛАВА 2

Слышите ль?
Встали
Войска —
Исполины в железной броне.
Слышите ль?
Встали
По всей
Земле
И во всякой стране.
Слышите ль?
Встали,
Пошли
От всех пределов земли.
От Урала до синих Карпат,
От Карпат до Па-де-Кале,

От Рейна в Стамбул,
В Эрзерум.
Спешат
По всей земле.
По всей земле
Гул,
Шум.
Турок,
Индуc,
Грузин,
Русский,
Японец,
Француз,
Англичанин,
Мадьяр,
Армянин,
Итальянец,
Немец,
Хунхуз.

Пришли,
Покинув Нью-Йорк,
Багдад
Иль Босфор,
Валдай,
Дунай
Иль Алжир,
С Ван-Дименовой земли,
С Американских озер,
Сквозь весь мир
Прошли.
Шли,
Шли —
На кораблях,
В поездах
И так,
Пешком;
Крестьянин, рабочий, батрак
Покидали свой дом,
И шли,
Сквозь весь мир,

Из Лондона шли на Берлин,
В Иерусалим,
В Эчмиадзін
И в Пекин.

Пыль
Поднялась.
Ветер выл, как в трубу:
«У-у-у, у-у-у!»
Выли жерла мортир:
«У-у-у!»
Утром, днем, по ночам,
По посевам, лугам и полям,
На весь мир
Выли бомбы:
«Бум-бум!»
Ружья ржали:
«Трам! трам!»
Напролет
Бил пулемет.
Из конца в конец —
Только красный свинец.
Ночью и днем
На весь мир
Выли жерла мортир.
Сев пуль, бомб
Густо падал дождем,
Сметал
Города
Без следа.
Как обвал,
Поля засыпал;
Длился бой. . .
Монопланы крутились весь день,
И прожекторы между собой
Совещались над огненной мглой,
Чтоб свинец
Метко целил в мишень. . .
А в глубоком тылу,
В городах,
Пугали полночную мглу
Ярость и страх.

На заводах-гигантах гудки,
Обезумев, подобно зверям,
В небо кидали плевки,
И звонок надрывался, упрям.
Там бедняки,
Толпы бездомных бродяг,
Тесали, точили подряд
За снарядом снаряд,
Горько зная, куда
Полетит этот град.

Толпы бездомных бродяг
Ковали за снарядом снаряд,
Чтоб насытить алчбу
Пулеметов, пушек, мортир,
Поднявших пальбу
На весь мир.
Толпы бездомных бродяг:
Русский, татарин, поляк,
Еврей, ирландец, араб,
Крестьянин, рабочий, батрак,
Бедняк и раб.
А ученый, гордый умом,
Что решать проблемы привык
В золотом кабинете своем,
Пережевывал жвачку, как бык:
Сны
Смерти,
Крови,
Огня.
В золотом
Кабинете своем,
Золотое величье храня,
Изобретал
Удушливый газ,
Чтобы вмиг
Взгромоздить напоказ,
На парад,
Из трупов чудовищный вал —
Пирамиду из мяса солдат.

И войска
Шли и шли
Издалека,
Изо всех пределов земли,
Покинув Багдад,
Перемышль
И Берлин.
Шли к Вердену,
В Дувр
И в Стамбул.
От моря до моря шли,
Под крики,
Под звоны,
Под гул.
Опять и опять,
За ратью рать
Шла умирать.

ГЛАВА 8

Было так.
Стала хаосом
Наша Земля.
Горы трупов
Давили поля.
Вкруг Солнца родного летя,
Погибало его дитя
По бездорожиям вечности,
Взрезая в пространствах новь,
Труп Земли
Неизменные силы несли
Безднами
Звездной
Млечности,
И струилась горячая кровь.
Время в вечный простор
Уносило позор
Земли.
Сатурн,
Юпитер,
Уран
Видели издали,

Словно пятна мерзостных ран, —
Огни Земли.
Видел издалика
Чей-то пристальный глаз
Мутные над Землей облака —
Удушливый газ.
Следили
С планет издали,
Как в вечный простор
Время влекло позор
Земли.
Было так.
Но опять и опять
За ратью рать
Шла умирать,
К Вердену,
В Перемышль,
В Эрзерум,
Под крики,
Под гулы,
Под шум.
Полки
По всем дорогам земли
Шли,
Шли,
Шли.

И опять Эривань.
Асфальт и дождь.
Осень, туман.
Ветер уныл и тощ.
Собираясь домой,
Перед лавкой сидит
Амо,
Ветру подставив скулу лица.
Проходит мимо толпа,
Зевает.
Мокрая улица
Слепа и тупа.
Жует, пережевывает
Первые ломти мглы,
Подальше засовывает

Беженцев толпы
В углы.

А там,
По дворам
Гостеприимных церквей,
Валяются женщины, —
Голод в глазах.
Каждый вечер щенятся,
Рожают детей,
Как собаки,
На грязных, голых камнях, —
Рожают
В сумерках душно-сырых
Для милосердного бога детей,
Маленьких Иисусов,
Кривых
И больных.
Глядит из церквей везде
Бог.

Он весел... вот-вот
Запоет.
Он не знает тревог.
Течет
Слюна по его бороде,
Он шевелит седые усики.
У него на глазах
Рождаются здесь,
На грязных камнях,
Маленькие Иисусики,
Один за другим — череда!
Он ждет, что люди придут
Из Нью-Йорка сюда
И откроют детский приют!

Как отец в день крестин,
Улыбается он,
Сказал бы охотно:
«Мой сын! . . .»
Да немного смущен:

Нет кроваточек тут...
Но — из Нью-Йорка придут!

Было так.
Было так.
Было так.
Собираясь домой,
Перед лавкой своей
Сидел Амо.
Мечталось ему:
«Почему
Теплого ветра нет?»
Размышлял:
«Как тесен весь свет!
Русские взяли Багдад.
Но почему
Вот эти бежали назад?
Зачем
Здесь сидят?
Пусть идут
В Битлис иль в Басен!
А то — зачем же весь шум?
Зачем, спеша,
Взял Эрзерум
Непобедимый Андраник-паша?»

От великих мыслей устав,
Достойный Амо
Пошел домой
Есть пилав.
Солнечный диск был ал.
А перед лавкой Амо,
На асфальт упав,
Мальчик больной
Умирал.
Было так.

Был то ярок, то тускл горизонт.
Но Амо
Не видал,
Как Погос
Добровольцем ушел на фронт

И назад
В лубках руку принес.

Не видал,
Как он стал «джанбезар».
А когда
Не шли покупать, —
В летний жар
И в осенней тени,
Амо,
Чтоб от скуки не спать,
Пел долго:
«Мёр Айреник!»

ГЛАВА 4

Эривань.
Иначе: Наирй.
Иначе: это — грань
Веков.

Десятков и сотен веков.
Смотри!
Страна веков — Наири,
Крест мировых дорог,
Где сошлись,
Где слились
Запад и древний Восток.
Древний край Наири,
Кровавый вопросительный знак,
Вбитый издревле в века.
Вокруг — таинственный мрак,
И тайна его глубока.
Смотри!

В мире нет другой Наири!
В те дни
Бед и тревог,
Там, где крест мировых дорог,
Где грань
Веков,

Где Наири-Эривань,
На улице скучно-прямой,
Меж разных грязных домов,
Стоял торговец Амо;
И еще, вновь на битвы готов,
Под пули и под штыки,
Стоял джанбездар
Погос.
И, кроме того,
Надвинув очки
На самый нос,
Почтенен и стар,
Еще — учитель Сого.
Учитель Сого,
Гениальный сын Наири,
Выступая из мрака веков,
С древней стрелой в руке,
Писал
На мгле веков,
Как на песке:
«Шесть вилайетов... шесть...»

Это можно было прочесть.
Но как
Мог знать
Сого
Иль Погос из Мушской земли,
Для чего
Шли за зубья Карпатских гор
Или жгли
Реймский собор!

И плача
Над страной Наири,
Учитель Сого
От зари до зари
Спрашивал:
«Для чего? Для чего?»

А там,
Лицом к лицу,

Боец к бойцу,
Кровью залиты,
Утомленные за лето,
Бьются —
Погос,
Юсуф,
Иван
Или —
Ла-О,
Ганс,
Жан,
Парижанин,
Берлинец,
Москвич,
Крестьянин,
Рабочий,
Батрак,
Бьются под бранный клич...
Было так.

И
По их крови,
По трупам их,
Из Парижа в Багдад,
Из Багдада в Лион,
Шло,
На железных ногах своих,
Чудище-Миллион!
Шло
Из гранитов Берлина,
Из желтой Москвы,
Путь держа на Багдад,
Сжигая зелень травы,
Опаляя фруктовый сад,
Шло,
От зари до зари,
Через древний край — Наири.

Чудище-Миллион, —
Вместо головы
У него чудовищный рот.

Вместо головы
У него бездонный живот.
На полях,
К трупам склоняясь,
Оно пьет кровь и грязь.

Чудище-Миллион
Было одето в виссон,
В золотом венце,
С улыбкой на сальном лице.
Оно пело победную песнь —
Песнь
Про святую войну,
И, у этой песни в плену,
Весь
Мир,
От морей до морей,
Шел на убой —
Умирать.
Опять и опять
Шла за ратью рать,
Миллион,
Миллион,
Миллион
Людей!

И никто не видал
Конца
Бойне той,
Этой игре мировой:
Шла везде вокруг
Мировая игра. . .
Но вдруг
Один Иван закричал:
«Стойте! Стойте! Пора!»
Он ушел
И схватил красный флаг.
Он ушел
И спросил:
«Кто наш враг?»
И ураган

Его зов подхватил, —
Зов к рабочим всех стран!

Этот зов,
Этот крик
Вдруг
Всю землю зажег:
Север, Юг,
Запад, Восток.
Москва
Красное знамя взнесла,
Подавая знак,
Делая первый шаг.
И глаза всех
Обратились к Москве.
И весь мир —
Мир рабочих,
Бедняков и крестьян —
Понял зов,
Твой зов, Москва!
Загудев, как один океан,
Повторяя твои слова.
И над миром гром этих слов
Прогремел, могуч и суров,
Зов —
К рабочим всех стран!

ГЛАВА 5

Где крест мировых дорог,
Где сошлись,
Где слились
Запад и древний Восток,
Где край веков, Наири, —
Посмотри:
Стоит
Учитель Сого.
Он размышлял, отчего
Русские полки
Обратно прошли,
Покинув Багдад

И Муш,
Назад.
Отчего,
За шагом шаг,
Снова вторгался враг —
Губить,
Разрушать
И жечь.

В краю веков, Наири,
Вновь тупился варварский меч.
Вновь сменяли сад
Пустыри.
И в поле пустом,
Где прежде гулял покос,
Спал
Последним сном
Непогребенный Погос.
А у лавки своей,
Перед тем, как идти домой,
Сидел Амо
В прохладной тени
И, стараясь не спать без гостей,
Пел долго:
«Мёр Айреник!»
Но Эривань —
Это грань
Веков,
Это край,
Где был древле Масис.
Дух Наири
В Эривани воскрес,
И складки трехцветных знамен
Высоко вознеслись —
До небес!

Спит,
Спит Погос
Вечным сном,
Непогребен,
Как спят бедняки,
И, надвинув очки

На самый нос,
На наирский нос, —
Посмотри!
Стоит
Учитель Сого,
Древний сын Наири,
Выступая из мглы веков,
С древней стрелой в руке.
Он пишет
На мгле веков,
Как на песке,
И можно прочесть:
«Шесть вилайетов... шесть!»

А из красной Москвы
Радио,
Как гром,
Далеко, далеко
Рассылает призывы кругом.
Из красной Москвы,
Из края в край,
Доходит зов:
«Вставай!
Пробуждайся,
Рабочий народ!
Вперед,
Мир бедняков!»

Из красной Москвы
По всем дорогам
И без дорог,
С Севера на Восток,
На весь мир:
В Багдад,
На Инд,
В Кашемир —
В каждый край
Доходит зов:
«Вставай,
Мир бедняков!
Все — за мной!

Это наш последний
И решительный бой!»

И вот,
В ответ
На призывный крик,
С наирских полей,
Всё звонче, звучней,
Прогремел броневик.
С Ширакских полей
В древней стране
Наири,
Со всех сторон,
Был повторен
Могучий крик!

Красные вихри пошли
По всем дорогам
И без дорог,
Пробудилась
От долгого сна
Древних времен страна,
Пробудился
Красный Восток.

Ты,
Древняя страна Наири,
Ты, грань веков,
Встала, ликуя, ты
На радостный зов!
Железная птица, ты,
Древняя страна Наири,
Встала в лучах зари.

Там, где крест мировых дорог,
Где сошлись,
Где сплелись
Запад и древний Восток,
Ты воскресла
Опять,
Опять,
Гореть,

Пламенеть,
Сиять!
Красное знамя ты
Вознесла
Ввысь, где светла
Синева.
И опять
Звенят с высоты
Твои слова!

Выступая из мглы веков,
Стоит
Мушский поденщик, Погос.
Он миру несет
Правду неведомых слов,
Он ответит
На древний, грозный вопрос!
С железной песней в груди,
Он пред миром стоит впереди,
Там, где крест мировых дорог,
И, ликуя, глядит на Восток!

эпиграф

Слышишь?
Повсюду
Звон,
Железа звон.
Жизнь,
Новая жизнь,
Со всех сторон.

Помнишь?
«Титаник» плыл.
Над водой — торжественный дом.
Праздник радостно выл,
Танцевали пары кругом...
И вдруг —
Пронзительный крик,
Рыдания,
Вопли,

Стон . . .
И под звуки
Марсельезы
Поник,
Погиб
Гигант последних времен.
Потонул,
Пошел ко дну,
Над ним сомкнулась вода.
Он ушел . . .
Но куда?
Дни летят,
Быстро, быстро летят.
Дни — огонь,
И летят во тьму.
Хочешь,
Я душу твою возьму,
Больное твоё бытие,
И брошу её,
Как железный диск, —
Но куда?
В пурпурные грядущие дни!
Грядущие дни!
Ныне встают они.
Под упорным трудом
Возникает за домом дом.
Стоит Иван,
И Чинг-Фу,
И Погос,
И Ганс —
Люди всех стран!
И я говорю:
Будет мир —
Общей радости дом!
Из Пекина Чинг-Фу
С тобой, Погос,
Сольется в привете одном!

Пусть
От этих надежд
В сердце будет кровавый след,
Я их не возьму назад!

Я всё ж воспую
Славу твою,
Мой могучий,
Железный
Брат!

Воспою
Громко я
Борьбу твою,
Твой могучий, огромный труд!
Эти строки
Спела воля твоя,
Эту песнь
Твои руки поют!
Даже пусть
Эти дни
Обманут нас.
Сердце мое
Подобно тебе!
Год за годом, за часом час
Буду петь
О твоей судьбе!
Я — с тобой,
Я всегда — с тобой!
Я пою
Славу твою.
Лучших песен на свете нет!
Силен я
Лишь твоей судьбой,
Я, ничтожный,
Последний
Поэт!

1920—1921

296. РАДИО МИРА

Слова в душе моей — грохот и гул,
Грохот и гул тревог. . .
Бурей и смертью ветер пахнул.
Сумрак сгустился, на сердце лег.

Север и Запад, Восток и Юг
Вздыбились вновь, —
И со всех сторон
Песни летят, как стрелы вьюг,
Как раздирающий душу стон.

Боль пораженья — раздумий мрак...
Боль пораженья — траур сердец...
Вслушиваюсь: нет, это не так,
Это не смерть, не конец!
Новый огонь пылает в глазах,
Ратники есть еще — вон, погляди:
Руки — из бронзы, грозен их взмах,
Жгучий кремь в груди.
Да, нелегко нам... Горечи вслед,
Поднят невидимую волной,
В сердце из сердца — горячечный бред:
Плач ли, смех ли больной... .

Но обернись! — пошатнулись и те,
С кем ты тягался в неравной борьбе:
Мир их — в страхе, как в пустоте, —
Злобу вскармливает в себе.
Лондон и Рим, Париж и Берлин,
Токио и Нью-Йорк
Сон сегодня видят один:
Новый кровавый торг... .

Это от них лихорадка пришла,
В их головах гнездо она вьет!
Снится им танк, месящий тела,
Кровью харкающий пулемет;
Снится им, выплыв из пустоты,
Пушечное тупое жерло;
Снятся в стальной чешуе киты,
В море вдавившиеся тяжело;
Снится, что корма устали ждать
Пасти этих китов;
Снится, что каждый из них опять
Смерть изрыгать готов... .

Что ж, может, зря мы за правду свою
Бились из века в век?

Может, рабу в жестоком бою
Зря показалось, что он — человек?
Может, напрасно мечтали мы
Выковать радость в свободном труде —
Чтоб на земле не осталось тьмы,
Чтобы — лишь солнце везде? . .
Нет, не впустую тянулись дни
Ссылок, решеток, оков!
Тягу к свободе вбирали они
Из глубины веков.
Медленно, за столетье — шаг,
Веру, в которой — наша судьба,
Сквозь лабиринт пирамид и шахт
Вынесли сильные руки раба.
Тысячи тропок, а путь — один:
Эры соединив,
Шли издалека мы — шли от Афин,
Шли от Мемфиса, от Фив.
Шли, чтобы волю и счастье найти, —
В шрамах, таврах, живые едва . . .
Вот она, цель векового пути:
Красная наша Москва!
Радости вешние голоса
Держит победно она над собой.
Плещет, волнами достав небеса,
Армий наших приборь.
Армии эти не устрашить
Бурей, громами, свинцовым дождем . . .
Выстояли! Отныне нам — жить.
Битвы последней ждем.

Так подымайте ж, враги, на дыбы
Всех своих черных железных коней!
Мы ведь теперь не рабы,
Мы с каждым днем сильней.
В гости зовем, окажите честь, —
Нас ожиданье издревле томит.
Все приходите, сколько вас есть!
Грудь на грудь! Свинец на гранит!
Поле отыщем, встрече под стать, —
Чтобы остаться навек там могли

Полчища, вздумавшие растоптать
Новое солнце всей земли.
Пусть потемнеют от ваших стай
Север и запад, юг и восток.
Пусть, обезумев, хлынет в наш край
Опустошительный черный поток.
Хлыньте к нам, гунны, со всех сторон,
С криком гортанным на всех языках,
Хлыньте набегом из всех времен —
Мы без остатка развеем ваш прах!
Пот наш горячий для вас — как вино. . .
Верьте же: потом своим
Вас в этой битве — всех, заодно! —
Насмерть мы напоим.

Ждем! . . И пока на земле не умрут
Ветер и солнечный свет,
Песня и человеческий труд, —
Смерти и нам здесь нет!
Лондон, Париж, Нью-Йорк, Берлин —
Все приходите! Ждем!
К встрече готова страна-исполин
С гордым и светлым челом.
Ждем! . . Отгрохочет последний бой —
И победивший народ
С этой планеты, такой голубой,
Черный ваш след сотрет.
И никогда не угаснет впредь
Радость, которую мы разожгли:
Радугой будет сиять и гореть
Братство рабочих всей земли.

1921

297. ЧАРЕНЦ-НАМЕ

Вашу мысль увлеку сегодня
Я, каменных песен певец,
Бездомный и голодный
Поэт — Егише Чаренц.

Я покинул отчизну рано,
Моя родина — ханский Маку.
В груди моей солнце Ирана,
Я расстаться с ним не могу.

В крови моей небывало
Горит Наири тоска. . .
А мозг мой алым-алым
Огнем накалила Москва.

Запах роз опалает грудь мне,
Мой мозг пылает в огне. . .

А теперь послушайте, люди,
Чаренца шах-наме. . .

1

Словно солнце огненное из Маку
Переброшенный в Наири,
Оттуда в Москву, —
Ныне жизнь свою
Солнцем,
Кровью,
Золотом
Я пою.
Каким чудом сегодня мне
Повернуть колесо моих дней?

Пусть песнь моя
Уносит вас —
В Наири,
В детство —
В Карс. . .

Я в Карсе
Опять,
Опять. . .
С опущенными губами ребенок,
Я снова
Вижу мать —

Грудь —
Подобие двух воронок. . .

Еще душа моя, как стрела,
Спокойно лежит на луке дней.

Вдали грустно звонят колокола. . .
Вот отец, в неизменной чухе своей. . .

Лицо как серебряное блюдо,
Точно нож кривой — его нос.
Время посыпало пеплом грудь
Черных его волос.

В своем лачаке, с рассветом
Идет за водою мать. . .
Слышен свист наирского ветра. . .
Хочется громко кричать. . .

И душа, протянув ладони рук,
Подобно ребенку-сироте,
Просится вдаль, на солнечный юг,
Где солнца диск блестит в высоте. . .

А когда моя мать
Снег волос своих ранний
Покрывала отблеском хны золотым,
Мне казалось — до самого Тегерана
Могу я дойти по ним. . .
В Индокитае очутиться. . .
Овладеть сокровищами шахской казны. . .

Детство. . .
Златокрылая птица.
Желтоватое золото хны. . .

2

Под солнцем спелым и грузным
Я родился в Маку золотом,
Под жарким крылом Ормузда,
В 1897-м.

Рассыпало солнце Ирана
Ширазские розы в груди,
Но ветер наирский рано
Грусть в сердце разбередил...
И едва глазам моим солнце открылось,
В старый город
Тем ветром я был унесен...
В бесцветном Карсе я вырос,
Вдали от родных сторон.
Еще спали глаза с дороги,
Когда древняя наша тоска
Обняла меня на пороге,
Словно старый верный слуга.

(В нашем доме он вырос когда-то,
Жил у деда еще, и вот
Ныне старый, подслеповатый,
Ждал, когда его бог приберёт.

Мы «апи» его звали. Бывало,
Брал меня погулять старик.
Помню, всё проливал и ронял он,
И клялся душой Наир.)

Эта грусть в старом доме отцовском,
Точно кошка мурлыча, жила,
Но душа мечтала о солнце,
Улыбаясь, света ждала.

Эта грусть, что затмила смолоду
Солнце детства, сиянье дня,
Точно старый учитель, в школу
Однажды свела меня.

И на холсте моей памяти,
Скрыв Иран и солнце, она
Начертала дыханьем пламени
Старинные письма.

(Мог ли знать я,
Что этих писем поток

Для крыльев моей души
Откроет в грядущем
В положенный срок
Небес бескрайнюю ширь!

Чтобы потом,
Через горы дней,
Тысячекратно всё вернуть,
Дав белым холстам
Моих кораблей
Солнце и ветер в путь!)

Мое тихое детство,
Излучавшее свет
Небесной голубизны,
Ты как озеро
На серебряном диске луны,
Было —
И вот тебя нет!
Слабый свет твой погас,
Не успев сверкнуть...
Да и было ли ты
Когда-нибудь?

8

И вот я не мальчик, а юноша
Четырнадцати лет.
Теперь, подруга юная,
Буду петь твой далекий светлый след...

Астхик — это имя
Храню с тех пор
В горячем сердце моем,
Как парус,
Летающий в морской простор,
Пусть оно останется в нем.

О, как часто,
Чтоб душу согреть теплом,

Возвращался я в мыслях назад,
Вспоминал час за часом,
День за днем
Карса зеленый сад...

Вспоминал я —
Что?
Сам не пойму...
Того лета
Улыбку твою
Несмелую,
Бескрылую...
Рубашку мою
Помнишь — белую?..

Не помнишь?
Ах, да что там в памяти рыться!
Нет ничего.
Всё исчезло в тумане.
Осень
Унесла с собой листья —
Желтые бабочки воспоминаний.

Прости меня,
Ты была лучшей,
И ты излучала
Чудесный свет...

Но я был лишь глупым юношей
Четырнадцати лет.

4

И
Вот —
Двенадцатый год —
Помню этот миг,
Свой первый поцелуй
Отдал
Тебе,
Астхик...

Нет крыльев у памяти!
Иран...
Я хотел его пламени...
Роз Шираза, краснее ран...
Но нашел...
Распростертое...
На постели...
Холодное тело...

Прости,
Астхик Кондахчян,
Мой светлый друг, прости...
Я
В жизни
Прошел
Много разных стран,
Но оставленного
Не возвратил...

Дорогая,
Светлая
Астхик,
Прости,
Прости,
Прости...

5

И в том же году,
Между другими,
С миром сердце мое примирив,
Еще одно
Появилось имя,
Это имя —
Страна Наири.

Появилось.
Наверно, до этого не было.
Наверно, не было роз.

Явилась,
На плечи мне положив
Бесконечной печали груз.

Показалось —
Вижу
Во мгле бездорожья
Голубую девушку солнцеекую...
На древнюю пыль была похожа,
На совесть в кровоподтеках...

Были желтые раны
На губах ее, белых как мел...
Сердце ей отдал сразу,
Воспеть ее
Захотел...
.

6

О песни первые мои,
Вас
Вспоминаю —
«Три песни»...
Кондахчян Астхик...

Я пепел совести моей
Разворошу на миг —
И никогда
В прошедшем
Не расскаюсь...

7

Я и сам не знаю,
Как случилось,
Что в конце пятнадцатого года
Я из сада в Карсе
Очутился
В армии, готовой для похода.

Доброволец.
Войско армян.
Винтовка. Пушки. Бомбы.
И вот — виноградники Вана.
И вот — Рубен, Вардан.

И вот друзья новые:
Из Нью-Йорка, Турции, Басена.
Смерть,
Смерть,
Смерть —
И никому нет спасенья —
Ни воину, ни девушке, ни женщине. . .

Я думал, хоть на миг
В этом огненном окруженье
Найду твой светлый лик. . .

Но нашел только трупы стынувшие
И увидел землю одну,
Которую ты покинула,
Спасаясь от черных пуль. . .
И спустилась тоска старинная
Всей тяжестью мне на грудь. . .
И как чудо блеснул передо мной
Твой неуклонный путь. . .

8

(И кому какой интерес,
Что в те дни в Тифлисе оповещение
Напечатала типография «Прогресс»
О руке моей, сломанной при паденье?
И «Гир» на витрине, серой от пыли,
Книжонку малюсенькую положил. . .
Кому в сердце стихи мои
Боль заронили?
Кого тронул строк моих
Дантовский пыл?)

9

А
Потом
В пятнадцатом году,
Когда я по Москве бродил,
Я почувствовал ужас
И, точно в бреду,

Трепет
Могучих крыл. . .

Казалось,
Последний мира шатер
Встал предо мной,
Но вновь поднялся
В небесный простор
Иранского солнца
Щит золотой. . .

В душе зажглись средь темноты
Огни ширазских роз. . .
О сердце мое, запуталось ты
В прядях девичьих волос. . .

Проснулись года, как заржавший табун,
Пронесшийся в тишине. . .
Проснулась любовь. . .
Карине Котанчян,
Далекая Карине. . .

10

«Радуга». . .
Солнце там
Сквозь наирский туман
Запылавшую душу мою пленило,
Чтоб погас навсегда
Огонь моих ран.
Жарким солнцем Ирана была
Наири заплаканная голубизна. . .
И тоска гнетущая всё росла,
Золотыми огнями зажжена.

(Еще не было в этом холодном мире,
Еще не было солнца-Наири. . .)

11

Москва.
Семнадцатый год.
В сердце — солнце Ирана пылающее.

Это жадное солнце
Хотело сжечь
Год
Наступающий.

Январь.
Февраль.
Двадцать шестое...
Оторвалось, как камень от скалы...

Солнце-рабочий,
Красный от зноя,
Покатил, расшатывая миры...
Что?
Глыбу.
Камень громадный,
Что века
На наших плечах покоем,
Сосал нашу кровь жадно,
Дышал холодом полюса.

Покатился.
И вдруг —
Миг ли, два ли —
Помедлил,
Прежде чем упасть с вершины.

Впереди открылись бездонные дали.
И раздавил он старую машину...

.
Остановился в самом начале,
И так стоял в тишине...
Позади — годы, как мрачное небо...
Медлил,
Точно боялся разбега...
Карине...
Глупая Карине...

В душе моей солнце Ирана
 Пылало диким огнем,
 И грусть Наири, как рана,
 Таилась в сердце моем.
 И зачем летел он за мною вдаль,
 Сокол страсти твоей наяву и во сне?
 Обаянье плоти твоей — печаль...
 Карине...
 Туман-Карине...

Как камень, застрявший в дороге,
 Что сорвался с горной гряды,
 Душа в непорочной тревоге
 Ждала последней беды.

Должна была камнем упасть
 Тоска по тебе, Карине,
 Чтоб грусть Наири слилась
 С иранским солнцем во мне.

И вот —
 Июнь,
 Июль...
 И вот —
 Сентябрь,
 Октябрь...
 Молот встретился с наковальней.
 Посыпался град ядер.

Красные бомбы песней кровавой
 Взорвались в мозгу моем...
 И я отдал мечты мои
 Ветру шальному
 Под этот грохот и гром.

И тоска по тебе упала,
 Как камень, давивший грудь.
 И с солнцем Ирана смешалась
 Наири вековая грусть...

Дата жизни —
 Восемнадцатый год.
 «Вечер».
 «Возвращение».
 «Утро».
 Душе от старых оков
 Освободиться так трудно. . .

Восемнадцатый
 Огненный год.
 Всесожжение в красном огне. . .
 С новым звоном во мне
 Наирское солнце встает.

Пожар.
 Бесконечный огонь.
 Кровь незаживших ран.
 И вдруг — тоска по тебе,
 Как луч, пронзивший туман. . .

Всесожженье.
 Восторг.
 Свет и гром.
 Растрата страсти вдвоем.
 И души свободной полет. . .

Это был восемнадцатый год.

Сома. . .
 Люси Тараян. . .

Жгучее льется вино,
 Разгораясь в сердце моем,
 В крови моей зажжено,
 Разрывает давящий гнет,
 Она — там, она — есть, она — вот,
 Эта женщина, эта страна. . .

И толпа огню предает
Землю, где рождена.
Она там — Люси Тараян —
Средь ширазских роз и лучей,
Средь наирских гор и полей,
На просторах скифских степей. . .
В душах тех, кем пожар зажжен,
Кто страну огню предает. . .
Запылал земной горизонт. . .

Так было в тот красный год. . .)

16

Девятнадцатый.
Красная Армия.
Разлились
Черные потоки.
И повсюду звенят твои яркие,
Крылья твои широкие.

.
Станция.
Войска.
Войска.
Красные воины.
Ночь близка.
И над красным войском
Повис
Черный мрак
Ожидания,
Страшный, глубокий. . .
А там — взгляни —
Видны
Огни,
Неясные, далекие. . .
Утром
К плечу плечом
Встанем
И в бой пойдём.
Врагу —
Разгром. . .

.

Это было здесь — не в веках, —
В девятнадцатом году.

О, как была велика
Тревога в моем мозгу!

Душу я отдал огню,
Чтоб ее укутала алость...
Это здесь
В девятнадцатом году
Начиналось...
Красная Армия собралась,
Отряд за отрядом,
И во взорах людей зажглась
Радость, яркая радость.
И был так близко —
Просто рядом —
Тот грядущий мир,
О котором мечталось...

Даже лист последний — и тот
Верил, что ЭТО придет...
Оно было там, за окном где-то,
На восторженный лик его
Солнце пролило столько блеска!..

Никогда не забуду тебя —
Тараян...
Станция Тихорецкая.

17

(И разве,
Товарищи
Красноармейцы,
Этот бой
Не воспел я тогда же?
Я посмотрел на синие рельсы
И понял: всё это наше.

И в красном пожаре пылали,
Стремясь друг к другу,

Дождливый гуман
Древней, как мир, наирской печали
И солнце твое, золотой Иран.

Я понял: для того чтобы вы могли
Стать одним целым, необходимо,
Чтоб раньше соединились огни
Парижа
С огнями Пекина.

Еще должен огонь
Опалить нам грудь,
Жечь сердца нам, ярый и красный...
Но я нашел, нашел уже путь,
Пусть бесформенный, шаткий, неясный...)

18

Страна Наири меня зовет
Своей тоскою древнею.
К концу подходил девятнадцатый год,
Когда я вернулся в Армению.

А там опять
Кровь и мрак —
В городе Ереване
Хумбапет Дро, дашнак,
Поднял трехцветное знамя.

Поднял вблизи Масиса.
И хлынули слезы народные.
И тени
С землистыми лицами
Наполнили город голодный...

Куда
От боли мне деться?
Как камень она тяжка...
Мне снова привиделось
Детство...
И Карс —
Моя тоска...

.

Карс.
 Конец девятнадцатого года.
 То же небо как шелк,
 Солнца синий котел,
 Те же журчащие воды.

Но солнце напрасно трогает
 Глаза ослепших зданий,
 Напрасно даль Наيري
 Слушает вод журчанье. . .

Виденных в детском сне людей,
 Похожих на тени,
 Милых до боли,
 Не было больше со мной. . .
 Превратилось в точило мечей
 Детство мое голубое,
 Зеленый тополь мой. . .

И зачем мне смеяться, когда, в свой срок,
 Взволновав весь зал и фойе,
 Важный критик
 Вдруг громогласно изрек,
 Что родился великий поэт. . .
 Что с песней вместе горит
 Пламенный этот певец. . .
 Ликуй, страна Наيري,
 Ликуй, Егише Чаренц.

Двадцатый год.
 Ереван.
 Февраль.
 Март.
 Май. . .
 Привет,
 Товарищ Сарухан,
 Мусаел,

Авис,
Тавакал. . .

Привет всем вам,
Вашей воле,
Твердой как гранит,
Жгучим огням Москвы,
Алым розам твоим, Иран.

.
Ереван.
Первое мая.
По улице Астафян
Идет за колонной колонна.
Восторженные лица. . .
И красные знамена
Встают перед Масисом,
Как пламя полыхая.

Все, все
Идите,
Кричите,
Пусть крик ваш
В небе потонет!
Зигзаги на дорогах —
Это несутся кони,
Ереван, как брата с сестрою,
Соединив с Москвою.
Сыплется прах старых зданий
От ударов
Железной длани.

Грядущего света блик
Горит у меня внутри. . .
Обретя свой подлинный лик,
Встала радостная Наири.

21

Двадцать первый раздел.
Двадцать первый год.
В двадцать первом году — что случилось?

Пусть душу грядущее вберет,
Чтобы солнцем она озарилась.

Читатель, дай своей песни ножом
Рассеку души твоей нервы...
Я был Красной Армии бойцом,
Наирской армии первой.
И впервые Масис наш, седой, как пророк,
Тогда увидел воочью,
Как чудо, о коем мечтать не мог, —
Борьбу наирских рабочих.

А
Когда я
Домой вернулся, там
Уже ждала меня
Наири... эта женщина-мечта,
Губы — розы,
Глаза — два огня.

Так много лиц прошли, маня,
Но в сердце навек твой лик,
О светлая любовь моя,
Арпик, моя Арпик...
.

22

Теперь я живу в Москве,
В голове у меня золотой вихрь.
Роберт Оуэн у меня в голове,
Он теперь грядущее сторожит.

Стихи, поэмы пишу. Спешу
В мечтах к грядущим мирам.
Наири моя, тобой дышу,
Люблю тебя, огненный мой Иран.

Я теперь далеко от вас... Но нет!
Я сегодня ближе к вам из Москвы,
Как стрела, за бегущей газелью вслед
С натянутой спущенная тетивы...

Было в душе моей три стрелы,
Прилегающих плотно к луку дней.
Теперь умчались, взлетев из мглы
В радостный вихрь
Зоревых огней.

Не забуду вас, —
Ныне слились вы в одной, —
Скоро мы вот так полетим
С тетивы времен, трехконечной стрелой
Куда-нибудь в Индокитай, Пекин. . .

Примите меня, я предан вам —
Ты, Москва, пылающая огнем,
Мой золотой, золотой Иран,
Моя Наири, мой отчий дом!

1922

298. Я И ИЛЬИЧ

*Эпизод из моего путешествия,
совершенного на машине времени Уэллса
в 2500 год*

Туда, во время. . .
Ни одного усталого мускула.
И ты.
И он.
И я.

Разрезают воздух
Года. . .
Моя воля — машина
Накануне пуска.
Уэллс — мысль моя.
Лечу.
Мысли летят.
Года проходят:
10, 20, 50. . .

Что это?
Как будто просыпаюсь. . .

Смотрю вокруг:
Где я?
Незнакомая местность.
Впереди движется
Какой-то предмет. . .
Вглядываюсь —
Интересно,
Что это?
Передо мной
Шар земной
Через столько-то сотен лет. . .
Подо мной
Сети, сети, сети.
Внизу что-то шумит.
Это ветер.
Ветер словно крыло. . .
Я лечу,
Опираясь на что-то.

Спускаюсь.
Лечу,
Легкий,
Почти невесомый.
Но нет.
Я неподвижен.
Сердце стучит.
Ко мне навстречу —
Снизу — что это?
Поднимается
Солнце. . .
Выше,
Выше,
Всё осветив,
Поднимается солнце,
Точно лифт.
Луч — крыло.
За ним шар земной,
Солнцем зажжен.
Ближе.
Ближе.
Тянется вверх —

Этаж
За этажом.

Вверх.
Вверх.
Вверх.
Сквозь синеву
Вижу Киев,
Вижу Москву...
Что-то скрипит...
Дышу с трудом.
Я невесом.
Но я существую!

Трррах...
Приземляюсь,
Взвихрив траву.
Куда я попал?
Как будто в Москву?
Прохожие смотрят,
Не веря себе, —
Эй, проводите меня в РКП.
Не понимают.
Поглядывают на меня осторожно.
Я и сам побаиваюсь слегка...
Но я отчаянный.
Что?
Не можете?
Ладно,
Тогда проводите меня в ВЧК.
Там будут мне рады.
Примут меня как надо.
Видите кепку мою?
На ней звезда.
Ботинки потрепаны —
Не беда.
Не верите?
Нет?
Я — большевик.
Вот мой партбилет.
Смеются.

Не слушают.
Идут.
Нет,
Стоят.
Почва двигается.
Асфальт пополз. . .
Кровь
Ударила в мозг —
Сигнал:
А!
Понятно,
Это
Еще Камилл Фламарион предугадал!
Смотрю вокруг —
В сердце восторг.
Вот
С неба
Спускается город.
Вот они, люди!
Оглядываюсь вокруг. . .
Люди?
Человек или паук?
Приближается кто-то,
Как будто старик
(Я читал о нем
В какой-то из книг),
Нет,
Не старик,
Дитя,
Подросток. . .
Убежал!
Вот другой
Смотрит в глаза,
Его взгляд погружается в меня,
Завораживает
Мой мозг. . .
Как будто
Проявляет ко мне интерес. . .
Что?
Моя фамилия?
Чаренц.

А Чаренца
Вы
Понимаете, мистер?

«Ха-ха-ха!» —
Смеется,
Этот, наверно, меня понимает.
У него в голове машины-мысли.
Он весел.

Вот
Тот,
О ком я читал,
Подлетает ко мне,
Мою руку трясет.
Должно быть, профессор.

Старый.
Добрый.

«Откуда?
С какой из планет?
С Луны?»

-- «Я земнородный».

-- «Есть знакомые?»

--- «Нет».

А это что за странный предмет?

В наше время, знаете,
Называлось пулеметом...

Простите, мистер,

Что вы сказали?

Лошадь?

Такая?

Таких не видел, сколько живу.

Наша лошадь

Была живая.

Наша лошадь ела траву.

Наша лошадь, простите,

Была красива...

Автомашина?

Да.

Это я понимаю.

Но, извините, уважаемый,

Автомашина по воздуху

Не курсировала,

Она по земле разъезжала.
Что? Сейчас полетим?
Мне немного того,
Страшновато...
Как,
На этом?
На этом вот маленьком?
На пулемете?
По воздушной трассе?
Что? Не надо бояться?
Хорошо.
Я согласен».

Садимся.
Машина стартует.

Летим,
Летим,
Летим в высоту.
Внизу солнце,
Луна,
Марс,
Сатурн...
Под нами
Какой-то громадный шар...

Летим.
Профессор со мной.
Сидит сзади.
Вонзил в меня мысли —
Должно быть, исследует.
Пусть исследует,
Я знаю —
Ход мыслей
Неисповедим...
Летим.
Профессор говорит:
«Что?
Старое?
Старого нет.
О чем вы мечтаете?
Какая там пушка?»

Кому она
Сегодня нужна?
Там внизу
Мировая коммуна.
Старого нет.
Старое
Спит вечным сном
В веках.
Здесь был
Ерсовнарком,
Здесь —
Ерревтрибунал,
Здесь — Ерчека.
Там был
Нью-Йорк,
А там — Мичиган».

Приближаемся.
Вот она,
Земля!
Я ее узнаю
Издалека. . .
Впервые вижу
От берега до берега
Атлантический океан.
Вот Америка. . .
А там Тихий океан.
Сапог Италии.
А там?
Ураган,
Столб пыли. . .
Всё туманом заволокло. . .
Нет, не туман,
Это стекло!

Из-под стекла
Земля
Потекла —
Шар земной!

«Куда?
В Ереван?»

Смеется.
Я молчу.
Его белая борода
Прижалась
К моему плечу.
Приближаемся.
Словно плывем,
Прижавшись друг к другу.
С юга,
С севера,
Снова с юга...
Наконец приземляемся...
Перекур.
Подходят — кто это?
Говорите, люди?
Ха, ха!
Почему ж они
Похожи на кур?

Вот Ереван...
Теперь уже близко.
Старичок, ты меня разыграл!
Это — Нью-Йорк,
Или Сан-Франциско!
(Хоть не видел
Ни того, ни другого я.)
Поглядеть бы сейчас,
Как там наш квартал,
Как живут, и вообще, что нового...

Оставляем в сторонке пулемет.
Идем по улице.
Смеется народ.

Думаю: армяне.
Эти меня поймут.
Эй,
Что это?
Тут
Надо в оба смотреть...
Идут...

Наперерез...
Окружают...
Называю фамилию,
Может, вспомнят:
«Чаренц».
— «Чаренц?»
— «Чаренц...»
Отходят...
А, сейчас я поймаю тебя,
Старичок!
Разве это — мой Ереван?
Обман!
Ереван был грязным поселком...
Кричу,
Фыркаю,
Зову старичка.
Мозг напряжен.
Нервы дрожат.
«Если это по-твоему
Ереван,
Тогда покажи Арарат!»
— «Арарат?»
Вон!»
— «А где же снег?
Слышишь? Эй,
Хочу снега,
Чтоб было белым-бело!
Это что там за зданья?
Пирамиды какие-то...
Сплошное стекло...»

Скользит земля.
Бежит из-под ног.
Сердце словно сковало
От этих чудес...
«Эй, старичок, старичок, старичок!»
Нет старичка.
Исчез.

Бегу по городу.
Люди,

Люди,
Люди!
В конце концов,
Люди вы или призраки?
Налетают на меня,
Пролетают сквозь меня
И дальше летят —
Странные призраки. . .
«Эй, эй. . .»
Уже далеко!
«Вот вы, пожалуйста,
Скажите,
Где я нахожусь?»
Смотрят мне в лицо
Странные жители.
Молчат.
Только хихикают.
Да что они,
Какие-то дикие?
Может, глухие?
Или сам я глухой?
Бегу от них.
А они за мной. . .
Нет, я неподвижен.
Что-то мчится внутри меня.
Я весь — бег.
И никого знакомых.
Ну хоть бы один человек!
«Старичок, старичск!»
А его как не было.
Бегу в панике.
В мозгу рябит от дрожи. . .
Глаза сводит от ужаса.
Бегу.
В голове всё кружится. . .
«Эй, люди! . . Прохожие! . .
Одно только слово! . . —
Кричу. —
Видите --
Наступает последняя тьма. . .
По-мо-ги-те-е-е!
Вам добром отплачу. . .

Поймите,
Схожу с ума!..»

Проходят.
Глухи и немые.
Во всей вселенной
Ни одного знакомого!

Мчусь по городу.
Выхожу на площадь.
Что это?
Кто-то
Ко мне приближается...
Я его узнаю,
Видел как будто
В жизни моей вчерашней...
Ближе, ближе...
Но что это —
Человек
Или башня?

Наконец-то!
Ракетой
Мелькнуло мгновенье...

Наконец-то
Знакомый!
Он расскажет мне всё.
Посидим, побеседуем.
Он рассеет сомнения...
Улыбается...
Вот он
Преодо мною встает —
Один знакомый
Во всей вселенной,
Вот
Приближается —

БЮСТ ЛЕНИНА...

Это он,
Ильич...

«Эй, послушайте...
Идите скорей!
Все сюда!
Я его знаю.
Он мне знаком.
Эй, вы,
Если вы существуете!
Я из этого мира —
Ведь это,
Если не ошибаюсь,
Земля?
Или другая планета?
Ну и пусть,
Всё равно.
Эй, прохожие,
Вы понимаете?
Я его видел...
Это было давно...
Мы оба жили в то время.
Я его слышал...
Это было давно,
Но как будто вчера...
Это было мгновением...»

Люди!
Слушайте!
Этого вам не постичь...
Через столько-то лет
На земле,
Которая так изменилась,
Мы встречаемся снова —
Я и Ильич...
Он глядит —
Улыбкой лицо озарилось —
Он меня узнает!»
Время, время,
Хоть ты
Заметь этот миг,
Раздели со мной
Радость эту
И прими

Из столетий
Мой радостный крик,
Моего ликованья
Ракету!

1923

299. ИСТОРИЯ ПАХАРЯ САКО

(Крестьянская поэма)

Крестьянин, этот мой рассказ
Не выдумка, а жизнь сама.
Пойми ж всю правду, без прикрас,
Коль хватит у тебя ума.
Итак, послушай, землероб,
Как некогда твой брат Сако
Пошел за барином в окоп
И возвратился без руки;
Узнай, как жил солдат Сако,
Чего добился в те деньки,
Как стал он, сын своей страны,
Врагом неправой той войны.

1

Лачуга пахаря Сако
Стояла на краю села.
Жилось бедняге нелегко,
Судьба не щедрой с ним была.
Две пяди пахотной земли,
В густом бурьяне да камнях,
В сторонке от села легли.
Как ни трудись — всё недород,
Хоть сила и была в руках.
Сако работал круглый год,
А толку? Черствый каравай.
Как быть в неурожай с нуждой?
Хоть в батраки к чужим ступай.
Он сам-то парень молодой,
Да старики — отец и мать.
Семью-то надо содержать!

Вот так и жил бедняк Сако,
 Когда нагрянула война.
 Никак не мог понять Сако,
 Зачем, кому она нужна.
 Какие немцы? Разве он
 Видал хотя бы одного?
 И без войны он изнурен, —
 Вот это он отлично знал.
 Не понимал он ничего,
 Пока рассыльный не сказал:
 Прислали, мол, бумагу тут, —
 В солдаты молодых берут.

На свете не слышал никто,
 Чтоб на войну шел богатей,
 Но знает целый свет про то,
 Что ждет бедняцких сыновей.
 Пришли, собрали бедный люд,
 Не тронув старосты сына.
 С чего ж Микú так берегут,
 Что за цветок «не-тронь-меня»?
 И у Амбó, знать, есть «рука»,
 Влиятельная есть родня.
 Кто состоятелен, как Сет, —
 Тот белый получил билет.

Безмолвно на краю села
 Стоял отец — старик седой,
 Кручина на сердце легла,
 Не справиться ему с бедой.
 Обняв Сако, рыдала мать
 И немца-дьявола кляла.
 Откуда ей — старухе — знать,
 Что тут не немец виноват,

Что не в германце корень зла, —
Другой есть в мире супостат:
Виновны царь и богатей
В несчастье скорбных матерей!

5

Откуда было бедной знать,
Что враг у матери один,
Что все богатые, вся знать
Виновны в том, что отнят сын!
Они затеяли войну
И научили враждовать
С чужой страной свою страну,
Чтоб слаще пить и есть жирней.
Немецкого солдата мать
Там, на родной земле своей,
Не осушает старых глаз,
Как мать армянская сейчас.

6

«Прощайте», — прошептал с трудом
Сако родителям седым,
В последний раз взглянул на дом,
На вьющийся над кровлей дым
И вдруг увидел среди села
На серой лошади Мику:
Смеясь, с котомкой у седла, —
Видать, на жатву он спешит;
А позади, вослед сынку,
Сам староста. Ох, грозен вид!
Огромный выпятил живот
И приказанья отдает.

7

Вот так в один печальный день
Пошел наш пахарь воевать.
На дом легла унынья тень,
Беспомощны отец и мать.
А староста вдруг поднял крик:

«Пусть хлеб твой на́ поле сожнут,
Твой сын в солдатах, ты — старик,
Пошлю работников-жнецов,
Тебе всё на́ дом привезут».
И вышло так в конце концов:
Со всей засеянной земли
Лишь горстку хлеба привезли.

8

Ну, а Сако? Сако — солдат:
Бей немца, только и всего.
Но вдруг противника снаряд
Попал прямехонько в него.
Упал Сако, лежит в крови,
Кружится под Сако земля.
Пожалуй, храбрецом слыви,
А от такого дух замрет.
Лежит, рукой не шевеля,
Вверху чернеет небосвод,
И чудится, что мать над ним
Стоит с кувшином ледяным. . .

9

Глаза он в Питере открыл:
В каком-то лазарете он,
С отрезанной рукой, без сил,
Лежал, к постели пригвожден.
Тут принесли письмо ему,
Прочел, и гнев прожег нутро.
Заплакал парень. . . Но к чему?
Плачь иль не плачь — таков удел:
Взял староста всё их добро,
На землю их весной сел.
Еще писал ему отец,
Что мать-старуха умерла,
Что сам он обнищал вконец.
Такие-то у нас дела. . .
Не может ли сынок-солдат
Прислать родителю денегат?!

Поплакал, вспомнив мать, Сако, —
 Лежит в сырой земле она.
 И начал размышлять Сако:
 Откуда же взялась война?
 И ради интересов чьих
 Бедняцкий трудовой народ
 Несчастливых сыновей своих
 Шлет проливать чужую кровь,
 Самих навстречу смерти шлет?
 Бедняги гибнут вновь и вновь,
 А тысячи здоровяков
 Сидят у денежных мешков?

Он вспомнил тысячи солдат —
 Ребят из своего полка,
 Всё бедняки, всё — свой же брат,
 В мозолях трудовых рука.
 Кто ж их от дела оторвал,
 Заставил кинуть отчий дом
 И в огненный отправил шквал,
 Винтовки сунул в руки им,
 Поставил под прямым огнем,
 Свинцовым ливнем проливным,
 Велел им с кем-то воевать
 И чьих-то пушек жертвой стать?!

Так думал-размышлял Сако
 Да вспоминал родимый край.
 Вдруг новость услышал Сако, —
 Пришли, сказали: брат, вставай,
 Нет больше трона и царя,
 Свободна русская земля!
 Что ж, ладно, ежели не зря
 Толкуют, — был ответ Сако.

И, радость с братьями деля,
Оставил лазарет Сако.
Шел, словно вновь на свет рожден.
Но перемен не видел он.

18

Царя-то вправду больше нет,
Но прежнее житье-бытье:
Не царь, так царствует кадет,
Командует офицерье,
Опять идут на фронт войска,
До замиренья далеко,
Как прежде, смотрит свысока
На «серую скотинку» знать.
Был в канцелярии Сако,
Просил харчей и денег дать —
Да где? Вы́соко залетел!
Никто и слушать не хотел.

14

От голодовки жив едва,
Как брел Сако — не знал и сам...
Вдруг разнеслась кругом молва:
«Товарищ Ленин едет к нам.
А Ленин человек большой!
Немало нас, — а ну, сочти! —
А Ленин среди нас — старшой,
Всех за собою он ведет».
Глядь, — ни проехать, ни пройти —
Идет по улицам народ:
Все на вокзал, и стар и мал.
Рабочий люд вождя встречал.

15

И сердце екнуло в груди:
Рабочих друг — крестьянам друг.
Тут поезд подошел. Гляди,
Вагонов целых двадцать штук!

Тут вышел Ленин на перрон,
«Ура» кричали что есть сил,
Кричал и пахарь наш, и он
К рабочим сильным голосам
Свой голос присоединил.
Заговорил тут Ленин сам,
Сказал немного слов простых,
Но не забыть вовеки их. —

16

Он говорил: «До сей поры
Вы воевали для господ,
Теперь штыки у вас остры, —
Найдется дело им, народ!»
Он говорил: «Ваш враг — буржуй,
На смерть он шлет рабочий люд,
Буржуи — как там ни толкуй —
Хотят не мира, а войны;
Им любо, что солдаты льют
Кровь бедняков другой страны.
Руками вашими добыть
Хотят весь мир, а вас — сгубить».

17

«Довольно! — Ленин продолжал, —
Кровавой хватит с нас войны!
Буржуй, твой черный день настал, —
Тебя изгоним из страны.
Не с немцами воюем мы,
Народ ни в чем не виноват, —
Невежественные умы
Везде погружены во тьму,
А нам любой рабочий — брат.
Пошлем же свой привет ему, —
Пусть на буржуев встанет он,
Пусть будет старый мир сметен...»

«На фронте мир, война — внутри...
 Предъявим богатею счет,
 Посторонись, мол, убери
 Раздутый, жирный свой живот.
 А как сведем мы счета с ним,
 Увидим палача в гробу —
 Крестьянам землю отдадим,
 Рабочим — фабрику, рудник.
 Итак, вставайте на борьбу,
 Направьте на буржуя штык.
 То будет наш последний бой,
 Трудящихся победный бой».

Вот что им Ленин говорил.
 Сако всё понял. До конца.
 Он вспомнил край родных могил,
 Смерть матери, нужду отца
 И старосту с его сынком.
 «Поеду и насквозь проткну
 Злодея старосту штыком», —
 Решил Сако и в поезд сел.
 ...Всё изменилось за войну.
 Стоит наш пахарь, бел как мел:
 Села родного не узнать.
 Где дом твой? Где отец, где мать?
 Всё не твое здесь, говорят,
 Забрали землю кулаки.
 Вот всё, что получил солдат
 Взамен отрезанной руки...

Пошел расправиться Сако
 Со старостою-пауком.
 Дорогой думал он: легко
 Свалю его одним пинком.

Навстречу вышел молодец,
Сын старосты, — кабан, ей-ей, —
Здоровый, тучный, как отец.
На маузер руку положив,
Стоял он гордо у дверей.
Другие гибли, этот жив,
Обжора, на руку нечист,
Теперь дашнак-маузерист.

21

«Ага, пришел домой, «война»!
Мне целая рука твоя
Была не очень-то страшна,
Уж с половиной справлюсь я». —
Сако ему: «Уйди ты с глаз,
Ты нашу землю мне отдашь?!»
— «Такую землю дам сейчас, —
Мику сердито проворчал, —
Что испечешь себе лаваш.
Ступай отсюда прочь, бахвал!»
Ус покрутил одной рукой,
За маузер держась другой.

22

Ну, что ж тут делать?! Хоть умри.
Однако правда в мире есть.
Сако отправился в Гюмри,
Чтоб в поезд поскорее сесть, —
В Москву решил поехать он:
Ни бар, ни старосты там нет —
Советский правый есть закон.
Там землеробу кто-нибудь
Поможет иль подаст совет.
В Москву, в Москву, хоть труден путь!
Что скажет о судьбе армян
Товарищ Ленин, Ленин-джан?

Добрался до Гюмри солдат
 И у вокзала встретил там
 Знакомца-земляка. Свой брат!
 Поговорили по душам.
 Рабочим был тот паренек,
 Он ремонтировал состав.
 Сако он знал немалый срок,
 Знал и отца его и мать.
 Сказал он: мы добьемся прав,
 Дашнаков нужно лишь убрать.
 А как по шее им дадим,
 Так и Советы учредим.

Хороший парень. . . Вскоре он
 Тихонько показал дружку:
 Железный у депо дракон
 Стоял, как будто начеку.
 «Наш бронепоезд, брат Сако,
 Отсюда мы дадим сигнал.
 Чего там ехать далеко, —
 Ты оставайся с нами, друг!»
 Ну что ж, тот парень дело знал. . .
 И вот через неделю вдруг
 Раздался клич: «Пошли, пошли.
 Дашнак не спит, так не дремли!»

За власть Советов бедняки
 Ведут свой справедливый бой.
 Сако, хоть нет второй руки,
 Сражался храбро и одной.
 В Гюмри взвивался красный флаг,
 И в Баязете он алел,
 И в Карсе. Но хитер дашнак, —
 Плетет паук обмана сеть.

Жил долго в рабстве земледел,
Легко ль свободу разглядеть?
Советской власти правоту
Не разглядишь сквозь темноту.

26

Тут с войском тысячным своим
Пришел Сепух-маузерист.
Пять суток — пламя, грохот, дым,
Пять суток — пуль свинцовых свист
Ох, бились наши! А потом
Ушли за горный перевал.
Сако заправским был бойцом,
Как следует большевику, —
В те дни большевиком он стал.
С друзьями двинулся в Баку,
А там, и года не прошло,
Поехал вновь в свое село.

27

Ну, отпрыск старосты, держись!
Но нет Мику, простыл и след.
Другой народ, другая жизнь.
Дашнаков и в помине нет.
А тех, кто не успел «пропасть»,
Сако немедленно убрал.
Советская в деревне власть,
Крестьяне принялись за труд.
Затих кровавый дикий шквал —
Ни англичан, ни немцев тут,
Ни с чужеземцами войны,
Ни с недругом своей страны.

28

В селенье сельсовет — закон,
В нем председатель — наш герой.
В газете «Пахарь» пишет он
О земледелии порой,
А о войне заговорят

Иль там о чем-нибудь таком, —
Бывалый большевик-солдат
Начнет про Ленина рассказ,
Про то, что сказано вождем.
Ты, пахарь, в этот новый час,
В безрукого Сако взглядишь,
Его послушай, поучись.

29

Пример хороший для тебя
И сам Сако и эта быль.
Простых людей и труд любя,
В глаза мы не пускаем пыль,
Войны и крови не хотим,
Но если враг придет опять —
Ему по шее мы дадим:
Такая армия у нас,
Что с нами трудно воевать.
Мы одного хотим сейчас:
Да сгинут барин и банкир
И будут всюду труд и мир...

1924

**300. БАЛЛАДА О ВЛАДИМИРЕ ИЛЬЧЕ,
МУЖИКЕ И ЦАРЕ САПОГ**

1

За красной чертой — что шаг,
То враг.
И хрипло,
Когда от волнения в горле першит,
Доносится с фронта шифр.

Волнение катится в Кремль,
Клокоча.
Вестей, донесений поток
Врывается в Кремль
И потом
Проходит сквозь мозг Ильича.

Ильич в кабинете.
Движенья спокойны, легки.
Читает, дает указания.
Мысли
Сосредоточенны, сжаты,
Нависли,
Как кулаки.

Сидит он,
Пишет, нахмутив брови,
Перебирает, листает, шарит
В бумагах...
Со светом настольным вровень —
Огромного лба полушарие.

Напрягся всеильный ленинский гений
Стальной пружине под стать...
Такую армию нужно создать,
Чтобы не знать поражений.
Необходимо... Вопросов бездна.
Необходимо, чтоб не было меж,
Мотыги.
Необходимы газеты, книги,
Ликбез.
Из тех, что в рабстве были вчера,
Должны быть выкованы профессора.
Любой ценой.
И каждая труженица-кухарка,
Всю жизнь отдававшая варке и парке,
Должна научиться править страной!

Вопросов бездна,
Конца им нет.
Не отвлечешься, недорешив.
Однако с фронта доносится шифр...
Депеши захлестывают кабинет.

2

Всё выше горы забот и дум,
Ильич дробит их подряд и размалывает.
А время проносится, как самум.
А времени мало!

Но что это?
Рядом какой-то спор.
Басят во весь голос...

Ну и народ!
Ильич поднимается,
В глазах — задор;
Подходит к двери
Плечом вперед.

Подходит,
Приоткрывает чуть-чуть,
В ушах — говорок старика:
Пришел-притащился, мол, издалека.
Хочу, говорит, к Ильичу.

Ильич настораживается...
Э-эх, мужик!
Мужик нуждается в паре сапог.
Выпрашивал не у чужих.
Сказали — нету. Никто не помог.
Похлопали разве что по плечу.
Вот он и пришел к Ильичу.

У секретаря иссякают слова.
Какие придумать,
Чтоб он ушел?
Мужик несговорчивый,
Врос в пол.
Отважишься вывести?
Кишка слаба!

Ильич не торопится,
Хоть недосуг.
Глаза улыбаются — два луча.
И вдруг открывается дверь,
И вдруг —
Порывистый шаг Ильича.

«Откуда?»
— «Из самой Сибири».
— «Давно?»

— «Да месяцев этак четыре.
Сын — красноармеец
Со мной заодно...»
— «Землей обеспечен?»
— «Теперь-то богат».
— «В Москву — по делам?»
— «Делегат.
Косилки нужны мне, плуги.
Отправил уж большую часть».
— «Еще что?»
Пора уж сказать «сапоги...»
Глядит испытующе на Ильича.

Э-эх, мужик!
Мужик нуждается в паре сапог.
Выпрашивал не у чужих.
Сказали — нету. Никто не помог.
Похлопали разве что по плечу.
Вот он и пришел к Ильичу.

Хохочет, берется Ильич за бока,
Трясет улыбающегося мужика.
В глазах — лукавство и нежность.
Потом садится,
Становится строг,
И пишет —
«По принадлежности.
Снабдить подателя парой сапог».

Э-эх!
Надевает мужик треух.
Отходит к дверям...
«Благодарствую, друг».

8

За красной чертой — что шаг,
То враг.
И хрипло,
Когда от волнения в горле першит,
Доносится с фронта шифр.

И снова напрягся мозг Ильича.
Нещаден времени вихрь.
И снова мысли взлетают, мчат,
И всё — ничто
Перед силищей их.

...Э-эх, мужик!
Тебе нужна была пара сапог,
И Ленин
Не выслушать тебя не мог.
Все нужды твои понимал он!

А дел было много у Ленина —
Дел,
Которые он обессмертить сумел,
А нашего времени
Мало!

1924

301. ДЯДЯ ЛЕНИН

1

В этот вечер отец возвратился с завода с винтовкой.
Был он строг, даже мрачен, обычно веселый такой.
Сын к нему подбежал и полез на колени неловко.
Но отец отстранил его доброй и жесткой рукой.

Молча сели за чай. Молча пили. Молчали и пили.
И куда-то смотрел — через голову сына — отец.
И с лицом, почерневшим от гари и въедливой пыли,
Наконец он поднялся и слово сказал, наконец.

Он потряхнул головой и чуть-чуть улыбнулся: «Вот
так-то...»

А потом он добавил: «Ну, только не плакать, жена».
А потом сжал кулак: «Снова лезет с войсками Антанта!
Повозиться придется, но армия наша сильна.

Был Деникин сперва, а потом Колчака мы громили.
А теперь вот поляков Антанта на нас повела,
Но рабочие руки побьют ее снова, как били...»
И отец, разойдясь, говорил, говорил у стола.

Подросту, поживу, мол,
Шофером, нет, летчиком стану.
И буржуев добыю, мол,
С аэроплана! . .
Но сегодня Ивану
Ночь не в ночь, сон не в сон.
Завтра едет с винтовкой отец воевать,
Завтра будет сам Ленин отца провожать,
Ну а он-то, Иван,
Как же он?

Неужели сидеть ему дома велят?
Неужели не пустят: «Подрости, маловат! . .»
Он ведь Ленина знает!
Знакомый, родной
Ленин смотрит с портрета
Из ниши стенной.
Смотрит с теплой улыбкой, совсем как живой,
А на скольких плакатах рисуют его
Рядом с Марксом!
Недаром отец столько раз
Их показывал сыну — двух великих людей,
Даже есть в букваре — вот открой хоть сейчас —
Два портрета знакомых рабочих вождей.
А под ними — их песня,
Зовущая в бой миллионы:
«Вста-вай,

про-кля-тьем

за-клей-менный. . .»

И отец говорил, глядя сына рукой:
«Да, сынок, Ленин умный и храбрый такой,
Что, как в мире ни много прекрасных людей,
Как, сынок, ни широк белый свет,
А второго такого, как Ленин, нигде
Нет».

Вот какой, значит, Ленин!
И он говорить
Будет завтра отцу, как бороться и жить,
И отец будет, стоя недалеко,
Слушать Ленина, слушать с винтовкой в руке.

Да не чудо ли это!
Ну а он? Как же он?..
На глаза паренька опускается сон...

Паренек засыпает, сдвинув крылышки тонких
бровей,
С первым твердым решением в жизни своей...

8

Он проснулся в испуге — отца уже не было дома.
Побыстрее оделся и вышел.
Какой-то отряд
Шел, сверкая штыками, — Иван не увидел знакомых,
Но пошел чуть поодаль, шагая с рабочими в лад.

Вот и Красная площадь!
Бушует она и рокочет,
Словно здесь
Целый мир
На рабочий собрался парад.
Как отца отыскать?
Все мужчины — в одежде рабочей,
Штык плывет за штыком,
За плакатом алеет плакат.
А с мужчинами жены
В косынках идут, в полушалках...
Попытался он парню в кожанке
На плечи залезть сгоряча,
Но пришлось убедиться,
Что парень — не дедова палка:
Дал щелчка
Да еще пригрозил, недовольно ворча.

Вдруг как будто приборь
Через Красную площадь плеснул
И разлился, знаменами алыми вспенен.
Пожилая работница
Тихо сказала: «Вот Ленин!»
И соседу сосед
То же имя негромко шепнул,

И от этого вдруг
Родился нестихаемый гул:
«Ленин, Ленин...»

И решился Иван — будь что будет! —
Тому же, в кожанке, соседу
Сунул ногу в карман,
Ловко прыгнул на плечи
И — сел.
И немедля отметил,
Свою торжествуя победу:
Тот не только не сбросил его,
Но, кажись, и не злился совсем!

И как будто весь мир подарили Ивану.
С трибуны, —
Да, с дощатой трибуны, которая очень близка, —
Ленин речь говорит, обращаясь к солдатам коммуны,
К уходящим на битву рабочим войскам.
Над штыками, что встали стальной стеной,
Ленин руку простер,
Как с портрета, висящего дома.
Вот он — рядом, знакомый, родной,
Даже голос его
Показался Ивану знакомым.
Показалось Ивану, — и это на правду похоже, —
Что и Ленин его хоть немножечко знает, быть может,
Может, знает, что мальчик, играя, буржуев сражает,
И, наверно, Ивана за это вполне одобряет.

Ну, а если всё так,
То сегодня — немедленно даже! —
Он пойдет к Ильичу
И глубокую тайну расскажет.
Всё расскажет:
Как станет он летчиком, крылья расправит,
А пока пусть Ильич и его бить Антанту отправит.

Так, на близкого Ленина глядя, мальчишка мечтал.
Вдруг окончилась речь и громово взметнулось «ура»,
Он кепчонку сорвал и, как все — громче всех, — закричал,

И рабочее знамя взметнулось, как пламя костра,
И ударил, как буря, над миром «Интернационал»...

Всё победней, всё шире
Гремел «Интернационал».
Знал Иван эту песню
И видел: в огромной толпе
Все стояли без кепок, и Ленин без кепки стоял,
Пел и Ленин со всеми, и с Лениным мальчик запел.

А толпа превратилась в прямые квадраты колонн:
То отряд за отрядом на бой посылала Москва,
И знамена, знамена со всех волновались сторон,
И мальчонка читал по складам на плакатах слова.

...И увидел Иван в ту минуту отца наконец.
Жаль, к нему не пробиться — отряды идут без конца.
Все на Ленина смотрят, на Ленина смотрит отец,
Ленин смотрит на всех и, как всех, провожает отца...

А Иван всё мечтал: вот он вырос, и, гордый собой,
Он идет среди летчиков, плечи расправив свои...
Он мечтал и не знал, что Ильич в те минуты на бой
Провожал и его, — начинались надолго бои!

1924

392. ЛЕНИН И АЛИ

1

Есть город такой — Москва.
Говорят, что город тот
Велик и необыкновенен.
Говорят, что он главнее даже Мэкки,
Потому что нет на свете человека
Большого, чем Ленин,
А Ленин в Москве живет.

Далека от Трапезунда до Москвы дорога.
Да и кто же через море пешком пойдет!

Вот когда бы золота было хоть немного,
Мог бы сесть Али на пароход.
Если много золота — поезжай в каюте,
Если мало — можно ехать в трюме,
Но то и другое — всё равно по сути;
Главное — доплыть до города Батуми.
А оттуда едут до Тифлиса люди,
А потом — Ростов,
Нет, Баку сперва,
А потом пойдешь, пойдешь — и будет
Наконец

Москва!

И живет там Ленин,
Который так велик,
Как самый великий халиф,
Но он такой халиф,
Что глаза его добры,
Что он понимает сердцем
Жизнь бедноты-фухары!..

Вот потому-то на корабли,
Исчезающие за синевой,
Взглядом влюбленным смотрит Али —
Лодочник портовой.

Корабли уплывают в широкий мир,
Руки Али устают,
И за это пять с половиной лир
В месяц ему дают.

Он гребет и гребет по волнам без конца,
Вместе с солнцем нужно ему вставать
И грести,

не стемнеет пока,

А хозяин-ага

любит гребца

Погонять,

погонять,

погонять,

Как вьючного ишака.

А что же любит Али,
Кого он любит — Али?

Любит он корабли,
Исчезающие вдали.
Но больше всего Али
Любит, любит до слез,
Ленина светлый портрет,
Который привез матрос...

В лодке своей вез
Али матроса тогда.
Спросил у матроса Али:
«Ленин большой халиф?»
Урус отвечал: «Да».
«Очень большой, чок?»
Урус отвечал: «Да,
Соображай, паренек:
Если Ленин — вар,

То буржуй — ёк.
Буржуй, то есть занги,
То есть толстый агá,
Буржуй, то есть враги.
Ленин есть — нет врага!»

Понял с тех пор Али:
Да, Ленин большой халиф,
Он больше любой горы,
Но он такой халиф,
Что знает жизнь фухары.
И знает и любит с тех пор
Далекого Ильича
Али — портовый гребец,
Тоненький, как свеча.

2

Траурный этот день
Всю землю в печаль одел,
Из дальней Москвы идя.
И каждый рабочий в мире,
Казалось, осиротел:

Закрылись

глаза

вождя.

Компартия в этот день
Сплотилась, сжалась в кулак,
Чтобы сплотить людей
Перед лицом беды.
В Москве, в Тбилиси, в Баку —
Что бы ни думал враг —
Были как сталь тверды
Большевиков ряды.
Советский народ-великан
У траурного кумача
Поклялся рабочим всех стран
Идти
по пути

Ильича.

В антенны врывалась волна,
Летя над простором земли,
И долетела она
До порта, где жил Али.

В тот день руки Али
От весел совсем затекли.
Каждый мускул болел,
Ныл и тянул домой:
Хватит, мол, нам, гребни
К дому, хозяин мой.

8

Был вечер.
Прибрежной кромкой
Плелся Али домой.
И вдруг увидел матроса,
Пошел за ним по пятам,
Чтоб руку пожать и громко
Урису сказать «Салám»,
Чтоб руку пожать и тихо,
Всем сердцем и всей душой,
Сказать матросу по-русски:

«Ленин — карашо. . .»
Но в глазах у матроса
Как будто погас огонек,
На море взглянул он косо
И выдохнул:
«Ленин — ёк».
И всё.
И больше ни слова.
Ушел.
В порту — тишина.
А на Али сурово,
А на Али штормово
Обрушилась горя волна.

4

Ночь.
Трапезунд во сне.
Пес ни один не лает.
Лишь полицейский плетется,
Как пес, от стены к стене —
Улицу охраняет —
Да черные сосны дрожат,
Как будто ночь сторожат,
Да среди сосен в пыли
Крадется гребец Али.
Куда?

Вот знакомый дом —
Серп и молот
На нем.
И толстяк полицейский,
Плечи вобрав, как трус,
Проходит вдоль дома,
Вдоль вывески:
«Консулат рус».

Прошел полицейский за угол. . .
От сосен к дверям два прыжка,

Али нажимает кнопку
Дверного звонка.
Где-то звонок трепещет,
Гулко трещит вдали,
Но громче звонка сердце
Бьется в груди Али.
Дверь открывается.
Сторож,
Видно, еще не спал.
Сторож бывал на взморье,
Сторож гребца узнал.

«Консула?
Но ведь за полночь.
Иди-ка домой, паренек...»
И вдруг появляется консул...
«Ленин — ёк?»
И, головой поникнув,
Консул стоит в тишине...
И скорбно Али уходит,
Как тень скользя по стене.

Ждут его завтра весла,
Бредет Али, как во сне,
И плачет беззвучно среди ночи
Всем сердцем и всей душой,
И почему-то по-русски
Бормочет: «Нет карашо...»

5

Что еще?
Ничего...
Но над ширью земли
Встанет новое утро в рассветных лучах.
— Привет архадашу Али!
— Победа пути Ильича!

1924

303. СТАМБУЛ

*Памяти Мустафы Субхи
и других коммунистов*

1

Веками не молкнет
Легенды гул —
И в мой врывается стих. . .
На черном коне
Прискакал в Стамбул
Грозный султан Фатих.
Сверкало под ним
Седло серебром.
Дрожали земля и твердь.
Он в Айя-Софию
Вошел, как гром,
Единственен, как смерть.
Ударил саблей
Наискосок —
Кровь
По ступеням
Течет в песок.
Он руку в нее окунул —
И оставил
На сотни и сотни лет
На белой стене, —
На твоей, Стамбул, —
Кровавой ладони
След. . .
Прошли века
И еще века,
Но до сих пор
Пятнает рука
Не только белый мрамор стены —
Пятнает чело страны.

2

Ты жив, Фатих,
Поныне жив —
О смерти слух
Был явно лжив.

Бедой грозишь великой.
Следы кровавой пятерни —
Не смыты временем они,
Видны
На лбу твоей страны,
Заброшенной и дикой.
Пусть нет тебя,
Но гриб-Стамбул —
Он соки тянет, как тянул,
Из высохшей и нищей
Твоей страны,
И правнук твой,
Твоею вскормленный сырой,
Твоей кровавой пищей,
Он люто правит — правнук —
Страной рабов бесправных. . .
О да, Перá теперь не та,
Не та теперь Галáта.
Но над Стамбулом
Образ твой
Витает, как когда-то.
Пусть государство в наши дни
Не платит дань мечетям, —
Бедней от этого они
Не сделались, заметим, —
Пусть твой гарем,
Султан Мечит,
Отныне пуст
И Время
Коня, как всадник, горячит,
Просунув ногу в стремя, —
Но эта пленная страна
В тенетах прежних бьется,
Хоть и *Республикой* она
Турецкою зовется. . .
Лежит пресыщенный Стамбул —
Великолепный Пóлис.
На толстом брюхе
Он стянул
Огней рекламных пояс.
Халвой объевшись и нугóй,
Мошной хвалясь тугою,

В Европе он — одной ногой,
И в Азии — другою. . .
Турецкий борется народ.
Беду, что встала у ворот,
Лицом к лицу встречает.
А он — Стамбул —
Под гром и шум
Джазбандов —
Веселится.
И в варьете, и в синема
Он сводит сам себя с ума, —
В театрах и в отелях,
В витринах и в постелях.
Он жирно ест
И сладко пьет,
Подобно старой шлюхе,
Танцует танго и фокстрот
И терпит оплеухи.

Одет во френч
Или во фрак,
Он — иностранец,
«А ля франк». . .

Ты поражен, султан Фатих,
Ты даже, кажется, притих.
Что со Стамбулом стало? . .
А ничего!
Лишь за века
Пообтесался он слегка,
Но изменился мало.

8

Стамбул танцует —
К страданиям глух.
Рот в улыбке оскален.
Перá
(Конечно, почтой, не вслух)
Издевается над Кемалем.

Ну что ж, читатель,
Войдем, пора,

В квартал богачей —
Ночную Пера.

Вот «Токатлян»,
А вот «Splendid»,
Потные,
Красные лица...
Войдем,
Посмотрим на эфенди, —
Как эфенди веселится.

Индус-швейцар
Примет пальто.
Нельзя же в пальто
И в шляпах...
Теперь принюхайся:
Что это,
Что
За восхитительный запах?
Узнаёшь —
Аромат
Лориган-Коти...
Теперь прислушайся:
Скрипка.
Потом саксофон.
Им по пути.

.
И — нежно, таинственно, гибко —
Женщины...
Женщины...
Женщины
Прекрасней вечерней зари.
Их губы
Любому обещаны.
Нравятся?
На!
Бери...
Танцуют, прижавшись тесно,
С розами на груди.
Каждая — бестелесна.

Шик.
Лориган-Коти. . .

Но вслушался
Хорошо бы ты —
И сквозь духов дуновенье
Услышал бы
Жаркие шепоты,
Не шепоты — шелестенье.

Шелка
Колышатся,
Шурша:
— Как ваша кожа хороша. . .
— О, эта шея. . .
— Ах, паша. . .
— Я ваш. . .
— И губы. . .
— Жить, греша. . .
— Шепните, сколько. . .
— Шестьдесят? . . .
— Нет, больше. . . —
Губы шелестят.

Пашу разгорячил фокстрот,
Паша желанием томится,
Но он не будет торопиться,
И женщину он подберет
Себе попозже. . .
Кто же рядом
С пашой танцует?
Погляди,
С ним рядом
Важный эфенди,
С ним рядом
Вкрадчивый китаец,
Индус,
Месье,
Синьор
И сэр,
Являя светскости пример,
За ней презренье скрыть пытаюсь. . .

И женщины...
Как много рыжих...
Всё это — русские княжны.
Хоть дороги,
Но как нежны...
Из-под ресниц
Лучами брызжут...
У них загадочные лица.
Таким плати — не прекословь.
В их жилах древняя струится,
Струится голубая кровь...

.
Танцуют эфенди и герр,
Месье, паша, синьор и сэр,
От женской близости пьянея.
И тот,
Чей кошелек полнее,
Здесь может каждого купить
И каждую...
Здесь всё продажно.
Здесь биржи властвует Закон.
Лишь были б деньги,
Вот что важно,
А цену установит он.

На тело женщины,
На совесть
Министра, —
Если есть она, —
Неукоснительно и быстро
Вам будет сказана цена.

Оценит всё —
Любовь, измену —
Стамбула жадная душа.
Идут в одну и ту же цену
И проститутка
И паша.
Митрополичьим цену ризам
Назначил — глазом не сморгнул...

.
Джазбанд —

Он стал твоим девизом,
Он Гимном стал твоим, Стамбул. 1

Берлина, Лондона и Вены,
Нью-Йорка завывает джаз:
Все Кулиджи и Чемберлены —
Довольные — пустились в пляс.

Стамбулу Запад дал толчок —
Стамбул вертится, как волчок. . .

Хотя от прошлого лишь феска
У вас осталась, эфенди,
Хоть вы — с пластроном на груди,
Но явственно, хоть и не резко,
В вас различаем, приглядысь,
С Фатихом родственную связь. . .
Таким, Стамбул, тебя я знаю.
Не усомнясь ни на момент,
В лицо тебе, Стамбул, швыряю
Я этот нежный комплимент.

В ночи томительной и жуткой,
Под пошлый, рыночный твой гул,
Международной проституткой
Я назову тебя, Стамбул.

4

Такая же длилась глухая пора,
И так же она веселилась — Перá,
Когда к Трапезунду
В полуночный час
Их вез деревянный баркас.

Под музыку
Так же неслась она вскачь, —
Успели пропеть петухи,
Когда, навалясь,
Гнилозубый палач
Душил коммуниста Субхи.

Вот так же Стамбул
Вождедел и потел,
Свое получая сполна.
А двенадцать безгласных,
Растерзанных тел
Качала морская волна.

.
Такая же длилась глухая пора,
Как пулей подавленный бунт,
И так же она веселилась — Перá,
Когда их везли в Трапезунд. . .
Только — нет! —
Их дело не убито!
Ликовать, паша, повремени!
Встав из мрака,
Гордо и открыто
По Стамбулу
Вновь пройдут они!

Час неведом,
Неизвестна дата,
Но пускай умрут мои стихи,
Если не придет в Стамбул расплата,
Не вернется
Коммунист Субхи!

Никакого
Здесь не будет чуда,
Он наступит —
Этот грозный час:
Кто Антанту
Вышвырнул отсюда,
Эфенди,
Тот вышвырнет и вас!

Тем,
Кого сегодня тешит пляска,
Старческую кровь их горяча,
Уготована другая ласка, —
Уготован
Поцелуй меча.

Славлю я моряцкую походку, —
Он придет в Стамбул, матрос Али,
Он придет, чтобы схватить за глотку
Тех, что в рабство Турцию вели.
Время с ним
Придет совсем иное,
И клеймо,
Что некогда легло
От руки Фатиха
На родное
Родины печальное чело, —
Знаю,
Верю —
Поздно или рано,
Как бы ни был путь его тяжел, —
Тот кровавый след
Руки султана
Соскребет
Турецкий комсомол!

1924

204. СТЕНА КОММУНАРОВ В ПАРИЖЕ

Памяти Александра Мясникова

Стена коммунаров —
Вот она, предо мной. . .
Ограды выщербленной остатки.
Это то, что когда-то
Было стеной,
Пожелтевший обломок
Каменной кладки.
На нем,
Как точки,
Пуль следы. . .
И еще —
Некий скульптор
Резцом провидца,
Накаленным от гнева,
На камне стены
Высек
Искаженные яростью лица.

И еще изваял он женщину.
Вот
Стоит у стены,
Лик прекрасен и юн,
Обращен на врага
Пылающий взор,
Грудь открыта,
Руки простерты:
«La Commune est morte —
Vive la Commune!»

Это
Душа Коммуны.
Из ее сердцевины
Поднялась она...
Утихнет ли
Гнев ее ярый?
А вокруг —
Женщины, мужчины,
Вот они —
Парижские
Коммунары.

Гнев в сердце пылает,
Горит в голове...
Хочу сосчитать их,
Но смогу едва ли —
Нет числа им...
Это их
Уложил Галиффе,
Штыками,
Направленными
Из Версаля...
Это по их трупам,
Как по лестнице,
Тьер
Подняться посмел...
Их сюда
Приводили группами.
Ставили
К стене
На расстрел...

Пули свистели...
Кровью слепили
Глаза...
Попада́ли
В виски,
Лбы,
Лица...
Проходили
Сквозь тело навывлет,
Чтобы в камень
Навеки впиться...
И долго, долго,
Не умолкая,
Смертельный свинец свистел...
Перед этой стеной
Вставала другая —
Стена
Из мертвых тел...

Руки сложив на груди,
К камню прижавшись телом,
Гневно
В лицо убийцам
Плевали
Перед расстрелом...

Мать, как красное знамя,
Дитя поднимает...
Ни страха, ни жалоб.
Точно самум
Гремели слова,
Клеймя негодяев:

Vive la Commune!

.

Их нет.
Но по-прежнему ярко
Горит
Из-под каменных век
Взор девушки-коммунарки,
Где гордость и гнев навек,
В этих камнях стародавних

Вы издавна дороги мне.
Вы песни моей друзья.
Мне кажется, вас во сне
Видел когда-то я...

Сколько раз наяву и во сне
Пережил я вашу судьбу —
Последний ваш гнев,
Последний жар во лбу...
И оставался потом
Вот так прислоненный к стене...
Сколько раз солдаты штыком
Грудь протыкали мне...
И, как бывало не раз
У гибели на краю,
Опять меня случай спас,
Жизнь защитив мою...
Хотите, у этих руин
Вам расскажу о себе?
Кровавый случай один
В жестокой нашей борьбе...

.
Это было в маленьком городке.
Шел восемнадцатый год.
Мы отбивали штурм врага,
Потерям теряя счет...
Враг окружил нас со всех сторон...
Мы попали в мешок.
Вскоре отряд наш был сметен...
Белые вошли в городок...

Мы с товарищем — два бойца —
Оружье бросив, ушли.
Белые конники без конца
Шныряли по улицам, резали, жгли,
Обшаривали каждый тупик...
Через изгородь
Я в чей-то сад проник.
Товарищ мой шел за мной...
Но в последний миг
Его настиг
Вражеский верховой...

«Ты откуда?»
— «С позиции. . .»
— «Где винтовка твоя?»
— «Бросил. . .»
— «Да ты красный, никак?»
— «Да. . .»
И хлестнув коня,
На него наехал казак. . .
Мой товарищ
На помощь звал меня. . .
Но всадник
На землю его свалил. . .
Он упал плашмя. . .
И шашкой беляк
Ему череп надвое раскромл. . .
Я бежал через сад
От расправы казачьей. . .
Потом укрылся
В какой-то лачуге. . .
Вышел,
Бродил, как кошка прячась. . .
Кровь рекою лилась
По всей округе. . .
Поймали меня.
Обыскали лениво.
Не нашли ничего
И не тронули, но поверьте —
То, что после со мной случилось
Было хуже самой смерти. . .
Меня погнали в такие места,
Где смерть
Могла быть девизом жизни. . .
Всего нас было около ста.
Нас гнали в поле
Дорогой ближней.

Я видел
Сотни людей на улицах
С перерезанным горлом,
С пробитой головой. . .
Знакомые лица. . .

Знакомые люди. . .
Теперь — гора трупов на мостовой. . .
Но довольно об этом.
Против вокзала
На двух столбах, гордо и прямо,
Как на двух огромных ногах,
Стояла фирмы «Сиу» реклама.
Сейчас
На этом щите качались
Пять повешенных —
Это были большевики. . .
И какие-то бабы
Похабно смеялись
И плясали, показывая языки. . .
Вот и вокзал. . .
Почти в самых дверях
Еще четыре товарища
Висели
На двух невысоких
Газовых фонарях,
Ноги — почти у самой панели. . .

От вокзала погнали нас в поле.
А там
Конвой расставили с тылу,
Дали лопаты. . .
До крови, до боли
Рыли мы
Братскую могилу. . .
Две тысячи наших,
Теснимые стражей,
Мы свалили,
Как кучу протухшей рыбы. . .
И раненых
С мертвыми вместе, туда же,
Тех, кого спасти могли бы. . .

Понимаете вы, какие муки
Душа моя
Вынесла в этот час?
Казалось, в могилу
Братские руки

Меня кладут заживо
Тысячу раз...

А утром,
Когда я вернулся оттуда,
На площади уже стояла виселица.
Вокруг было много разного люда.
Женщины, разодетые, напудренные,
Точно пришли в кабак веселиться...
Тут же несколько белых попов,
Седовласых, важных,
В полном облачении,
Из уст их священных
Как мутный поток
Лилось
Какое-то невнятное пенье...

И вот, вижу — ведут
Нашего военкома, голого,
С окровавленными ногами...
Шел он твердо,
Высоко подняв голову,
Как будто в глазах своих
Нес красное знамя.
Под виселицей
Ящик стоял из-под мыла,
На нем надпись: «Бодло».
На тот ящик пустой
Встал он —
Казалось,
Сейчас он с силой
Перевернет ногою
Весь шар земной...

Он обвел острым взором толпу,
Как клинком
Вражьей рати скосил, —
Взгляд был гневен и смел.
И тут на меня посмотрел военком...
Понимаете вы?
На меня он смотрел...
Неужели узнал?

Или понял, что взгляд суровый
Был как казнь для меня,
Как плаха сама...
Я глаза опустил
А когда поднял снова,
Он висел уже...
Как не сошел я с ума!

.
Пер-Лашез,
Ты слышишь?
Так шкуру я спас.
Но стало сердце суровым.
Вскоре Красная Армия
В город вошла.
Не прошло и трех дней,
А руки мои не раз
Были
От липкой крови багровы...

.
Да, товарищи,
Понимаете вы,
Сколько стен Пер-Лашеза,
Стен муки и мужества,
Есть и у нас?

И с тех пор,
Как под этими стенами пал
Наш последний товарищ,
Продолжается
Наша борьба
Каждый день,
Каждый час...

Но у нас есть другая,
Иная стена.
В Москве, на севере.
Далеко отсюда.
И хоть дорога туда длинна,
Любому борцу
Из рабочего люда,
Будь он в Лондоне,
В Руре,

В любой стране,
Известно
О той стене.
То стена Кремля.
Под ее камнями
Лежат те,
Кто мог бы
Лежать рядом с вами.

Это новый, Красный Пер-Лашез,
Иной —
Стена победы,
С ней нашу славу
Мы обрели,
И этой стеной
Сегодня
Гордимся мы по праву.

Это — триумфальная арка,
Оттуда
Берем мы начало,
Ею надвое мир разделен,
Камень к камню
С борьбою она вставала,
Это
Наш
Красный Пантеон.

Может быть, вам не верится,
Что есть такой Пантеон на земле,
Что лежат там верные ленинцы,
Павшие в Октябре,
Павшие
В нашем первом бою,
Когда гимн Октября впервые
Зазвучал в нашем краю,
Разрастаясь
Подобно стихии?

И еще другие лежат там —
Когорта великих мужей,
Революции нашей
Глашатаи,

Открыватели
Новых путей.

Но средь этих гробниц
Нет
Гробницы,
Что была бы столь величава,
Как эта —
Свидетельница наших побед,
Нашей славы.

В ней лежит
Ленин,
Наш вождь —
Слышите вы меня?
Вождь,
Какого в истории не найдешь
Ни вчера,
Ни раньше,
Ни в древние времена.

Ленин —
Нашего класса
Душа и мысль,
Плоть от плоти рабочих масс,
Каждая частица его мышц
Боролась
За дело нашего класса.

Ленин —
Как шар земной.
Как мир вобрал в себя жизнь,
Так Ленин
Вобрал в себя,
Смешал с собой
Десятки тысяч
Рабочих поколений.
Класс
Вложил в него
Свое величье.
Он был волей,
Энергией,

Синтезом сил.
Он был дисциплиной
Сотен тысяч,
Класса,
Что жизнь изменить решил.

Сколько пота,
Усилий, мучений,
Понадобилось десяткам поколений,
Чтобы в мир наш
Явился гений,
Каким был
Ленин. . .
Сколько понадобилось силы
От севера до юга,
От востока до запада. . .
Так волю нашу
Сплотил он,
Подготовил победу
Нашего Завтра. . .

.
Стена коммунаров —
Вот она предо мной. . .
Ограды выщербленной остатки.
Это то, что когда-то
Было стеной,
Пожелтевший обломок
Каменной кладки.
На нем,
Как точки,
Пуль следы. . .
Пригнали группами
Сюда. . .
Закопали
В братской могиле
И думают,
Что уже навсегда
Грядущее
Задушили?

Слышите,
Братья павшие?

Мы к вам идем!
Гулом нашего марша
Мир потрясен. . .

Мы несем вам
Красное отмщенье.
Видите?
У времени лихорадка. . .
Напряжено до предела мгновенье,
Корчится мир
В родовых схватках. . .
Друг против друга
Два лагеря —
Это битва
Нового со Старым.
Старое задыхается,
Воет,
Хочет задушить Новое
В ярости.
На север уставив глаза,
Пустые, как плевелы,
Бредит новый Рур:
Трупы,
Трупы,
Трупы,
Мяса эшелоны. . .
Знает —
Неизбежное
Придет с севера.
Конечно, там, на севере,
Главный бастион.

И разве смогли бы
Наши укрепления
Выстоять,
Давая отпор врагу,
Если бы не залило
Наше течение
Всё —
От Индокитая
До Зангу?

Если б нашим дыханием
Не дышала
Грудь Парижа,
Лондона,
Брюсселя,
Если б в каждой части
Земного шара
Не прорастало
Октябрьское семя?

Если б эхо
Борьбы нашей классовой
Не проникало
Во дворцы и трущобы,
Париж сегодня
Не трясся бы,
Как больной от озноба.

Вижу
Внизу
Кипенье улиц.
Слышите?
Мычит ужас...
Рабочие кварталы —
Слышите? —
Встрепенулись...
Ужас,
Как красная месть,
По Парижу
Течет на Пляс Этуаль...
Сгущается сумрак рыжий,
Завесой скрывая даль...

Огней теряются грани,
И тихий безмолвный плач
Этуаль сотрясает в тумане...
Слушайте, слушайте, слушайте!
Скоро
Над городом встанет
Солнце — красный палач.

1925

305. ЭЛЕГИЯ, НАПИСАННАЯ В ВЕНЕЦИИ

(Отрывки)

2

Он видел воды Арпачая,
Далекий видел он Гюмри,
В тумане прошлого встречая
Сиянье утренней зари.
Он говорил: «Встает из мрака
Далеких дней, к себе маня,
Мой домик на полях Ширака,
Что сохранился от огня.
Там — мирного ручья теченье,
Ввысь устремились тополя
И слушают потока пенье,
Клонясь, ветвями шевеля.
И листья падают с шуршаньем
На кровлю — и шуршанье их
Сравнил бы я с людским рыданьем,
Когда хоронят дорогих».
В том домике он жил когда-то,
Писал. Там встретили б его
Лист желтый, роза, луч заката,
Любовь и песен торжество.

3

Бродил он много. Подытожил
По сушам, по морям пути.
Везде встречал одно и то же,
Не в силах правды обрести.
Он видел в городах заводы.
Спешат рабочие туда
Под закоптившиеся своды
Для подневольного труда.
В тех городах одна нажива
В почете. Деньги — там закон.
И мир господ, тупой и лживый,
Власть разжиревших — видел он.
«Толпа же, — так он думал с болью, —
И терпелива, и смирна,

Чужому служит своеволью,
Ему покорствуется она».
Враждою к богачам пылая,
С тоскою он на тех глядел,
Кого пригнула доля злая,
Кому сужден раба удел.

.

6

... Я поделился с ним рассказом
О том, что новый день принес,
Какие силы встали разом
Над миром тех неясных грез.
О блеске нашего рассвета,
О том, как ясно утро это,
О том, как сердце бодро, смело
О дне теперешнем запело
И будущем. Сказал я: «В нашем
Советском мире жизнь кипит,
Мы новый путь другим укажем,
Теперь никто у нас не спит.
Что взорам неприметно старым,
Что крылось в недрах, в глубине,
То солнечным, лучистым шаром
Зажглось теперь. Как по весне
Лед рушат воды и оковы
Разбиты тягостной зимы,
Так бури благовест суровый
Над нами услышали мы.
Чтоб уголь, взятый слой за слоем,
В огонь преобразился, в дым, —
Мы нижние пласты откроем,
Теперь стремиться к солнцу им.
Грозы необычайной шквалы
(Ее зовем мы Октябрем)
Рост принесли нам небывалый,
Мы к свету новый мир ведем.
Никто не ведал этой силы,
Она нова, и, чтоб ее
Мы утвердили, нужно было
Сперва смести с дорог старье.

Она ему противостояла, —
Ведь не спясть в одну семью
Ствол дерева, поток металла,
Язык огня, воды струю.
Вот появившиеся тыщи
Бойцов. Им, загнанным под спуд,
Давали камень вместо пищи
За пот, за их кровавый труд.
Мы жили нищими, страдали,
Зима ломилась к нам, грозна.
Но мы борьбой весну призвали,
Сменила холода весна.
Октябрь для нас явился датой
Рассвета — разве ж не позор
Бежать, тоскуя, как когда-то,
От бед любви на кручи гор!
Теперь мы верим в жизнь, не ропщем,
К борьбе готовые всегда.
Вдохновлены мы делом общим
И общей радостью труда.
Отдельная в том мире праха
Твоя дорога залегла.
Мы ж — армия, нам нет числа,
Мы строим дружно и без страха
Жизнь беспредельного размаха.
Пускай наш путь сегодня крут,
Но мы — творцы свободной жизни,
Повсюду мы в своей отчизне,
Всё создал наш упорный труд.

.

Ты думал — ветерка дыханье
Пускай Заро овеет тень.
Высокое в том месте зданье
Возносится. И каждый день
Гудит машин семья стальная,
И каждый вольт и киловатт
Энергию всё вновь родят,
Мир напряженьем наполняя.
В полях, где каждый экипаж
Был в редкость, — словно из темницы,
Машина мир выводит наш.

О, посмотри, труба дымится
И сыплет искры Гидрогэс!
Рази, железная десница,
Мир старый, чтоб он не воскрес,
Тьму, что колышется вокруг,
Былое, ставшее болотом, —
Чтоб отравить нас не могло там
Оно в грядущем. Я недуг
Воспоминаний знаю. Жив он,
Тот мир, лелеемый тобой!
Еще не кончен грозный бой
С ним, вкрадчивым, гнилым и лживым!
Да, старое не всё мертво.
Прокрадываясь втихомолку,
Оно теснить нас будет долго,
Пока не свалим мы его.
Жив дух твой и в моем краю,
Поют еще строфу твою,
И дозревает тихо там
Тобой прославленный баштан.
И с ним, с твоими тополями,
Со всем, что ты воспел у нас,
Машин грохочущее пламя
Единоборствует сейчас.
И этот бой немой, подспудный,
Бой неустанный, обоюдный,
Трудней, чем много лет назад
Стрельба с Октябрьских баррикад.
Тот мир еще расселся грузно,
Его не отошла пора,
И многие поют искусно
Слова, что ты пропел вчера.
Но всё же поздно или рано,
А ветхий мох, тягучий ил,
Что липнул к твоему баштану,
Мы соскребем, набравшись сил.
Когда блеснет в унынье хижин
Свет электричества, то знай,
Что будет к смерти мрак приближен,
Терзавший наирийский край.
Когда мы прорубаем длинный
Туннель, то мощная кирка

Не горы рубит, а века
И разрушает мир старинный,
Объятый страхом. Не устать
Громить нам древние твердыни,
Удар — и новый пласт отныне
Открыт для жизни. Крепнет рать
Бойцов. Уже могучей стала
Она — и движется вперед.
Тверда, как залежи металла,
Свежа, как блеск весенних вод.
И широко идет рабочий
Всё нарастающий прибор.
На их плечах из мрака ночи
Рассвет приподнят золотой.
Они идут. И в мощном гуле
Собою полнят всю страну.
И наши песни захлестнули
Восторгом звучным тишину.
И землю сотрясают эти
Шаги, и мощи где предел?
Таким в незамутненном свете
Я будущее разглядел.

7

Оно прозрачно, ясно, мудро.
Я вижу — вот раскрылось утро,
И вся Советская страна
Сиянием озарена.
Вот — связана железной сетью
И сел, и городов семья,
И будни нашего столетья
В веселом шуме вижу я.
Восходят радостные зданья,
В них свет, непобедимый свет,
И хижин, где жило страданье,
Где свет был чудом, больше нет, --
Тех нор, нам издавна знакомых,
Где люди жизнью насекомых
Томились, веря, что злой бог
Благословлять их участь мог.
Жизнь крепнет, всё преображая,

В стране обильны урожаи,
И мир вокруг широк, един
Без заграждений и плотин.
Страна — одно большое поле,
Ее смочил рабочий пот.
Враждебных нет народов боле,
Брат брату руку подает.
И люди разогнули спины,
Идут, уверенно дыша.
Взор ясен, в сердце нет кручины,
Упорен их свободный шаг.

.

1925

306. БАЛЛАДА О ДВАДЦАТИ ШЕСТИ

1

Когда блеснут лучи восхода,
Сползет туман и даль ясна,
И просветленный, как природа,
Баку проснется ото сна,
Когда над миром полусонным
Гудки заводов закричат,
Сзывая изо всех районов
К работе пролетариат,
И мимо зданий, рельс, обочин,
Попарно, группами, гуськом,
Идет на вахту люд рабочий,
Призывным поднятый гудком, —
В час этот к вышкам и заводам,
Свершая вечный свой маршрут,
Сливаясь с шествием народным,
Они по городу идут.

2

Их двадцать шесть. Вдаль на дорогу
Задумчивый уставив взор,
Идут походным маршем в ногу,
И с ними Красный Командор.

И так, в молчании глубоком,
По городу идет отряд,
Они с рабочим людом к докам
И к вышкам нефтяным спешат.
Они спешат с толпою слиться,
Войти в поток ее живой.
Прохлада им ласкает лица,
Встречает песнею прибой.
И ветер, долетев из порта,
Им Севера привет несет.
Идет железная когорта,
Чтобы начать военный смотр.

8

Так, шаг чеканный не ускоря,
Не нарушая четкий строй,
Выходят на бульвар у моря
И вскоре на берег морской.
Здесь небо — смесь свинца с опалом,
Здесь вечно плещется вода.
Стоят, привязаны к причалам,
Качаясь на волне, суда.
А там, вдали, суда другие
Скользят по вспененным волнам,
Отдавшись голубой стихии,
Плывут к персидским берегам.
В туманной дымке исчезая,
Идут к Ирану, к Энзели,
Везут из ленинского края
Кровь огненосную земли.
Они следят за кораблями,
Не в силах взора отвести,
Шепча беззвучными губами
Им вслед: «Счастливого пути!»

4

Им видятся еще другие,
Невидимые корабли,
В тумане дали голубые
И берег солнечной земли.

Суда, что с песнею матросской,
Взяв нефть и погрузив мазут,
Идут к причалам Красноводска,
Цистерны в Астрахань везут.
Они на это, как на чудо,
С восторгом и тоской глядят,
И песня радости оттуда
Летит, приветствуя отряд.
В глухих полях, средь запустенья
Мерещатся им чудеса —
Пред ними новых поколений
Встают железные леса,
И голос молота стального
Уже доносится сюда,
Гудки зовут, и всё готово
Для первых подвигов труда.
Слышна им поступь смен бессонных,
Чьим пылом всё освещено,
И кажется — сердца миллионов
В лад песне бьются, как одно.
Колонна смотрит в восхищенье,
И радостью сияет взор...
Но вот меняет направленье,
Дав знак рукою, Командор.

5

И вновь среди улиц, сердцу милых,
Идут, как на передовой,
И входят, миновав Баилов,
В преображенный город свой.
Промчались безвозвратно годы,
И с ними старый мир исчез,
Смирившись, отступили воды,
Оставив новых вышек лес.
Там, где кричали птичьи стаи,
Кипел прибой, волна росла,
За вышкой вышка вырастает,
А скважинам и нет числа.
Ликует край раскрепощенный,
Бурлящий, как водоворот.

По нефтепромыслам колонна
Железной поступью идет.
Черны от сажи и мазута,
Пред ними вышки встали в ряд,
Построившись, как для салюта,
«Привет, Степан!» — ему кричат.
Покрыты сажей руки, лица,
Здесь всё кипит — ленивых нет.
И Красный Командор дивится,
Шепча: «Товарищи, привет!»
И твердым шагом буровые
Обходят не спеша они,
Вокруг бормочут, как живые,
Колеса, шестерни, ремни.
И обратясь к рабочим массам,
Речь начинает Командор,
И тихий голос звуком ясным
Машин перекрывает хор.

6

Он говорит: «В борьбе суровой
Не уроните славный стяг,
Ведь с каждой скважиною новой
Вы к цели делаете шаг.
Пред вами солнечные дали —
Недаром жизнь, как целину,
Для вас когда-то мы вспахали,
И пали, выиграв войну.
Нас было двадцать шесть — но было
Мильоны имя нам — народ!
И как нас пуля не убила,
Так и усталость не убьет.
Пока крепки, как цепи звенья,
Все, до последнего борца,
Нет правде нашей пораженья,
Нет маршу нашему конца!
Смелей, товарищи, мы с вами —
Идите же всегда вперед, —
Узка тропинка меж камнями,
Зато к вершине нас ведет!»

Так, обратясь к рабочим массам,
 Речь вел о долге Командор,
 Звучал спокойно голос ясный,
 Машин перекрывая хор.
 И вновь отряд чеканным шагом
 Идет, как песни ритм, незрим,
 Воспламенив сердца отвагой,
 Высоким мужеством своим.
 И смотрят, смотрят в восхищенье,
 И радостью сияет взор. . .
 Но вновь меняет направленье,
 Дав знак рукою, Командор.
 Бьет ветер в грудь, но ветераны,
 Чеканя шаг, идут вперед,
 И вот проходят Балаханы,
 Заходят в шахту, на завод.
 Плечо к плечу и к локтю локоть —
 Здесь трудятся без слов и поз,
 На потных лицах гарь и копоть,
 И пахнет нефтью от волос.
 И так, пока не заалеет
 Веселый полдень, как костер,
 Повсюду побывать успеет
 С отрядом верным Командор.
 Сквозь шум моторов и трансмиссий,
 Вливаясь в их привычный ритм,
 Звучит негромко голос чистый —
 Так он с народом говорит.
 И, словно песни ритм незримый,
 Внушает, шепчет без конца,
 Вселяя пыл неугасимый
 И волю к подвигу в сердца.

Но шумный полдень на пороге,
 И рассыпается отряд,
 И, каждый по своей дороге,
 Все по делам своим спешат.
 Степан в задумчивом молчанье,

Не глядя — путь ему знаком —
Идет в Цека на совещанье,
А Джапаридзе — в Совнарком.
Так все они, скользя как тени
Средь сутолоки городской,
Заходят в двери учреждений,
Незримые в реке людской.
Идут, чтобы разжечь отвагу,
Влить веру в молодую грудь,
Чтоб указать пути ко благу
И мужество в сердца вдохнуть.
Великий труд. Но враг проклятый
Таится где-то близко, здесь...
И так с восхода до заката
Обходят город двадцать шесть.
Подбадривают, наблюдают,
Повсюду рядом, но в тени,
Пока вокруг не замигают
Баку вечернего огни.
И лишь когда тьма скроет город
И море, серое, как жель,
Идут по знаку Командора
На краткий отдых двадцать шесть.

9

Так каждый день с зарею новой,
Одной заботою томим,
Проходит Командор суровый
И двадцать пять друзей за ним.
Идут среди доков, вышек, скважин,
Пройдут, осмотрят там и здесь
Все двадцать шесть солдат отважных,
Героев красных двадцать шесть.
Перекрывая гул моторов,
Шум ветра, оклики бригад,
Негромким голосом, но твердо
Они рабочим говорят:
«Еще дружнее, еще упрямей
Трудитесь, мужество храня,
Смелей — уже не за горами
Сиянье Завтрашнего дня.

Пока крепки, как цепи звенья,
Все до последнего борца,
Нет нашей правде пораженья,
Нет маршу нашему конца!»

1927

**807. БАЛЛАДА О ПОЛКОВНИКЕ ТОМСОНЕ,
ПАРНЕ-КОМСОМОЛЬЦЕ И ЗАБАСТОВКЕ**

Мой Баку, мой Баку, город, сызмала сердцу родной,
Сколько былей в том городе сером услышано мной!

У меня есть товарищ, — давно мы с ним дружбу ведем, —
Опоясывается он тонким и узким ремнем.
Прост рубашки его и примятого кепи покрой,
Ненаписанной повести он настоящий герой.
Он рабочий простой; в нем кричащего нет ничего.
Балаханские промыслы — место работы его.

Мой Баку, мой Баку, город, сызмала сердцу родной,
Сколько былей в том городе сером услышано мной!

Тот рабочий, о ком собираюсь я речь повести,
Щуплый юноша нынче, — тогда был ребенком почти.
Это было в тот год невеселый, когда издали
Оккупанты в наш город с открытого моря вошли.
Как хозяева, плотно осели у нас чужаки,
Город взяли за горло, рабочих зажали в тиски.
Придавил пролетариев Томсона тяжкий сапог, —
Друг далёко от них, ну а враг — беспощаден и строг.
Но когда же рабочий насилье терпел и молчал?
Он незримо боролся, в нем пыл боевой не мельчал.
В дни, как многих товарищей, злобой бессильной горя,
Бросил враг в казематы тюремные и в лагеря,
Ранним утром, когда над землею чуть брезжил рассвет,
Срочно парню явиться подпольный велел комитет.
В комитете сказали: «Ты — взрослый, ты — в силу вошел.
Паренек ты неробкий — недаром вступил в комсомол.
Твой родитель рабочий, ты сам пролетарий. Так вот —
Видишь эти листовки? Возьми же и спрячь их! Идет?»

Забастовку готовят рабочие наши сейчас, —
Тот полковник — свинья — ополчился свирепо на нас.
Всех рабочих задумал он поработить — каково?
Ты вот эти листовки подкинешь солдатам его.
Ты на улицу выйди и, будто совсем незначай,
В суматохе их все, как афиши, кругом разбросай!»

Мой Баку, мой Баку, город, сызмала сердцу родной,
Сколько былей в том городе сером услышано мной!

У мальчишки сияние солнца в душе разлилось,
Словно стал он хозяином города. Сердце насквозь
Беспредельная радость мальцу в этот миг проняла:
Погляди, мол, какие ему доверяют дела.
Он листовки за пазуху сунул... Велел комитет —
Порученье он выполнит. В этом сомнения нет.
Побежал, побежал он, — навстречу ему батальон,
Маршируя, тянулся — и что-то грозящее он
На мгновенье почувял, но тут же, как бы незначай,
Подобрался к солдатам и тихо промолвил: «Гудбай!»
Про себя усмехнулся; «Гудбай!» — повторил он опять,
И, листовки достав, стал их под ноги людям бросать.

Мой Баку, мой Баку, город, сызмала сердцу родной,
Сколько былей в том городе сером услышано мной!

Что за бойкий мальчишка, разносчик ретивый какой...
И проклятье сдержав, офицер размахнулся рукой,
Парня смелого нашего в голову он, что есть сил,
Двинул; нашему парню он голову раскровянил.
Капли красные наземь закапали. «Будет беда», —
Не помедлив, смекнул он, и в ту же минуту, когда
Офицер приготовился снова взмахнуть кулаком,
Он исчез средь толпы, суматошно кипевшей кругом.

Мой Баку, мой Баку, город, сызмала сердцу родной,
Сколько былей в том городе сером услышано мной!

Запыхавшись, промчался он сквозь полицейских кольцо,
И, залитое кровью, сияло восторгом лицо.
Раны тотчас промыли и перевязали ему,
Уложили в постель в потаенном и тихом дому.

А потом был Баку забастовкой охвачен большой.
Были наши подпольщики той забастовки душой.
Поднялся пролетарий — захватчикам наглым в ответ,
И полковника волю подпольный сломил комитет.
Пролетарий бакинский не стал бессловесным рабом!
А, трудящийся люд попиравший в упорстве тупом,
Содрогнулся надменный полковник, увидев: нас — тьмы,
И товарищи все из Баиловской вышли тюрьмы.

Мой Баку, мой Баку, город, сызмала сердцу родной,
Сколько былей в том городе сером услышано мной!

Так да здравствует стачка, да здравствует наш комитет,
И малец-комсомолец — герою горячий привет!
Да живет наша сила и наше в борьбе торжество,
И да здравствуют люди рабочие мира всего!

Мой Баку, мой Баку, город, сызмала сердцу родной,
Сколько былей в том городе сером услышано мной!

1928

308. МОЙ ТОВАРИЩ ЛИПО

(Баллада о детстве, лотерее, борьбе и героизме)

Памяти товарища Липарита Мхчяна

Когда вспоминаю детство — сердце вином горчит...
Был у меня товарищ, по имени Липарит.

Стоит его мне вспомнить, сразу передо мной
Город встает знакомый, край Наири родной...

Я вижу одну картину сквозь времени сизый туман —
Летняя улица в Карсе и на углу мальчуган...

Дремлет Карс, провожая заката луч косой...
Какой он живой и ловкий, этот мальчишка босой!

Вот он сидит на камне, лет десяти с небольшим,
Старый низенький столик стоит, как всегда, перед ним.

В нем колесо посредине, вокруг мальчишек гурьба:
Детская лотерея, копеечная судьба!

Клади одну копейку, и, если фортуна щедра,
Получишь коробку спичек, булавок десятка два.

Голубоглазый мальчик, он сердцем не забудт...
Он часто с нами дрался, и часто бывал избит.

Если судьба улыбалась и спички выигрывал ты,
Липо колесо подталкивал и спорил до хрипоты.

Мы знали его больную и очень бедную мать —
Он был там один кормилец, всех должен был содержать.

Сколько бы ни вспоминал я детство, за годом год,
Голубоглазый мальчик передо мной встает.

Я вижу, как он склонился над колесом своим...
С тех пор миновали годы, растаяли, словно дым.

Его потерял я из виду... Яркие, как огни,
В мир пришли грозовые, всем памятные дни.

Прошумели битвы, как бури, и, закалясь в огне,
Вся жизнь переменялась, как в сказке или во сне.

Старые классы пали, новые поднялись.
Дни яркие, точно пламя, зорь огневая высь...

Однажды на бой мы встали, и Ереван был взят.
Но маузеры дашнаков отбросили нас назад.

На рассвете мы отступили... И тут в селенье,
Встретился мне неожиданно далекого детства друг...
вдруг

Два месяца мы воевали, одной присяге верны,
И вот когда повстречались — в последние дни войны!

Липо, мой старый товарищ, давно Липаритом стал,
В военной гимнастерке не первый год воевал.

Он был у нас комиссаром — душой и сердцем полка,
В длинной серой шинели — не узнаешь издалека!

И всё же его узнал я, подошел и взглянул в лицо:
«Липо!.. Ты Карс наш помнишь? Помнишь твое
колесо?»

Он улыбнулся, но строго, как будто всё спрятал в душе:
«Завтра мы выступаем. С зарей будь готов, Егише.

А то колесо из Карса... его уже нет давно.
Теперь колесо иное мы движем, и не одно.

Уж это не лотерея, а воля и борьба.
На рассвете мы выступаем. То-то будет завтра пальба!

Дашнаки всё шутки шутят, им кажется, это игра...
Прощай, потолкуем завтра, в Ереване. Сейчас мне пора».

.....
На рассвете мы в бой выходили...
На рассвете Липо убили.

На рассвете в бою с врагом,
Встретив победу, пал военком.

Пал в бою
Военком,
Умирая от ран,
Пал Липо
На пути
В Ереван...

На рассвете вдруг вырос вдали Ереван.
На рассвете с полком мы вошли в Ереван.

На рассвете победой увенчанный полк
Красный гроб взял на плечи и в город вошел...

На рассвете ни вздох не раздался, ни стон —
Лишь
Над гробом его
Колыханье
Знамен...
И знамена, склонясь,
Трепетали легко,

И в молчанье лежал мой товарищ Липо
В этих красных одеждах войны
Пред полком. . .

Слава,
Слава тебе,
Боевой
Военком!
Слава, слава тому,
Кто, средь грома атак,
Пал,
Услышав
Победы
Ликующий шаг. . .

.
Ушел мой старый товарищ, армии славной боец.
Но каждому солдату завиден такой конец.

Он лежит
В саду Коммунаров —
Слава,
Слава тебе,
Знаменем ярче пожара
Ставшему
В нашей борьбе!

Видел бы ты, что стало
С Армией Красной твоей, —
Нет такой силы в мире,
Что устояла б пред ней!

Здесь,
В саду
Коммунаров,
Спишь ты
Спокойным сном.
Слава тебе
Вовеки,
Наш доблестный
Военком!

1928

Весь город спит. Хоть недалек рассвет,
Еще темно. В гостинице дешевой
Шаварш пирует, храбрый хумбапет,
Всё пьет и пьет, опухший и багровый...
Мужчина грузный, ростом молодец,
Шрам через всю скулу под правым глазом, —
Считал он украшеньем свой рубец,
Особенно, когда бывал «под газом».
Шрам и усы. Как два снопа, блестя
Ржаной великолепной желтизною,
Они стекали вниз, как два ручья,
Шаваршу придавая вид «героя».
Под дугами густых бровей блуждал
Взор мутный, словно кровь таил под спудом...
Себя непобедимым он считал
И нации армянской главным чудом.
Шаварш всё пил. Угрюмый истукан,
Сидел он во главе стола, как старший,
И каждый опорожненный стакан
Еще плотней сжимал уста Шаварша.
Вокруг него, как дети вкруг отца,
Сидел его отряд, и до рассвета
Вино лилось, и пили без конца
За славу и здоровье хумбапета.
Егор-игдирец, рядом с ним Аро,
Татик, качах Сако — головорезы,
Которых сам побаивался Дро,
Хоть и ценил их ружья и обрезы.
Он вызвал их к шести часам утра...
Наверно, чтоб послать отряд на дело...
Все пьют — они на это мастера, —
Пока заря в окне не заалела...
Шаварш угрюм. Тревога как змея
Вползает в грудь — ни шум однообразный,
Ни крепкие напитки, ни друзья
Не прогоняют думы неотвязной...
Дро приказал явиться ровно в шесть...
Зачем зовет? Опять играет в прятки?

Он только намекнул, что дело есть,
А ты сиди, отгадывай загадки...
Зачем потребовался хумбапет?
Куда его пошлет? Не так-то просто
Предугадать... Идти туда или нет?
Кто даст совет? Кто знает Дро-прохвоста?
И можно ли уйти от этих лап?
Добром не сделаешь — заставит силой...
Вчера Шаварш грозил разрушить штаб,
Всех разогнать... Ну кто там заправили?
Дрянь! Обрусевшее офицерьё!
Проборчки, напудренные лица...
Перчаточки... крахмальное белье...
И сосункам он должен подчиниться?
Они ж от мушки штык не отличат,
А про войну слышали только в школах!...
Чему учиться у таких ребят?
Что видели они? Девчонок голых...
И эти сопляки, которых он
С собою может в баню взять, решили,
Что хумбапет им будет подчинен,
Безропотно потерпит их засилье!
Хотят владеть страной! Какая прыть!
Всей армией руководить из штаба!
Правителей продажных утвердить...
Склониться? Что он — кошка? Или баба?
А этот Дро, игдирский хумбапет,
Который был героем-террористом,
Он с ними заодно... А в чем секрет?
Да в том, что хочет быть у них министром!
В военные министры метит Дро,
Он хочет сам командовать парадом...
А дальше что? Предвидеть не хитро —
Игдирицев соберет... Тогда отрядам
Придет конец — обезоружит всех...
Убьют, а трупы выбросят собакам...
Чтоб штаб его дурацкий без помех
Мог процветать...
Тут всё покрылось мраком
В глазах Шаварша. Мысли в голове
Смешались — от излишка ли спиртного,

Иль от досады. . . Так минуты две
Дремал Шаварш.
Очнулся. Выпил снова.
И мысли вновь, одна другой черней,
Полезли. . .
Дро. . . С ним разговор короткий. . .
Вчера убил двоих своих парней
За то, что те по пьянке из пролетки
Кого-то вытряхнули на панель
И, плюнув в господина, смылись быстро!
И началась такая канитель. . .
Как оказалось, плюнули в министра!
Угнали министерский экипаж. . .
Вай, подлецы! Да он-то что за шишка?
Что — мир он спас, министр премудрый ваш?
Подумаешь, запачкалась манишка!
Дро поступил с парнями как бандит —
Он вызвал их в милицию обманом:
Велел им объявить, что их простит,
Они пришли, и при каком-то пьяном
Их повели, как будто на допрос,
А в коридоре выстрелили в спины. . .
Без шума, без свидетелей. . . Прохвост!
Да разве поступают так мужчины?
Он многих так на тот отправил свет —
Так был Тевик застрелен, брат Егора. . .
Простит ли Дро Егор? Конечно, нет!
Теперь навек Шаваршу он опора.
Вот он сидит, в стакан уставив взгляд,
И спьяна обнимается с соседом,
С Аро из Карса. . . Он теперь как брат
До гроба хумбапету будет предан.
Да, это не какой-нибудь бандит,
Он может положиться на Егора, —
Теперь уж до конца не разлучит
Ни глупая обида их, ни ссора. . .
А Дро хорош. . . Мне нрав его знаком. . .
Нет столько яда и в зменном жале. . .
И тут Шаварш ударил кулаком
Об стол, да так, что рюмки задрожали. . .
И голову на локоть уронив,
Согнувшийся, застыл в оцепененье. . .

А шум всё рос, и в нем звучал мотив
Турецкой песни. . . Где он это пенье
Слышал? Когда? Не помнит. . . Пел Сако.
И так была знакома песня эта!
И снова где-то в сердце, глубоко,
Тревога уязвила хумбапета.
Хотелось встать и плюнуть на лаваш,
И опрокинуть стол. . .
Уж утро близко.
А всё еще колеблется Шаварш —
Идти ли к Дро? Кто знает цену риска?
Полез за маузером. . . Эх, пальнем!
Но тут разжалась вдруг рука Шаварша, —
Мужчина он — не юбка ведь на нем,
И в жилах кровь течет, не простокваша. . .
Пусть Дро силен, но ведь своих ребят
Не станет зря губить он, и при этом
Все знают — за Шаваршем ашират. . .
И тут предстали перед хумбапетом
Ночь. . . Алагёз. . . истощный лай собак. . .
Мычанье угоняемой скотины. . .
Проходят через села. . . Всюду мрак. . .
Повозок скрип да топот лошадиный. . .
В повозках дети, женщины сидят
На тюфяках, на тряпках, на посуде. . .
Скот впереди. А сзади ашират,
Шаварша ашират, все эти люди
Из Хнуса. . . Их война согнала с мест,
Чтоб разбросать по свету, а у многих
Всё отняла — родителей, невест,
Жен и детей, и кров, и скарб убогий. . .
И эти люди, всё и всех вина
В своих несчастьях, уж на всё готовы —
Поджечь, убить, разрушить — за коня,
За куль муки. . . Кто встретится, любого,
Кто б ни был — турок, русский, армянин,
Не всё ль равно — всех ждет одна могила. . .
Лишь выжил бы в арбе малютка сын,
Старуха мать от голода не выла. . .
Из Хнуса в Алашкерт, оттуда в Карс. . .
И сколько их, что вечным сном уснули

На перепутьях этих государств
От голода, от тифа или пули. . .
На всем пути их — смерть. . .
Те, что дошли
До русской стороны, той, для которой
Так много крови пролили, земли
Обетованной, — от войны и мора
Бежали и надеялись. . . На что?
Остались снова под открытым небом!
Ни помощи, ни жалости, — никто
Не приютил, не поделился хлебом. . .
И это — братья? Родина? В тепле,
Устроенные, сытые, сидели. . .
Как проходимцев на чужой земле
Их встретили. . . Наверно, обрусели!
Войны не нюхали! И тут пришло на ум —
Не потому ль бежали с поля брани,
Не потому ли сдали Эрзерум,
Карс и Алекполь? Горе вам, армяне!
От этих дум пылала голова. . .
Он горько усмехнулся, налил снова
И выпил. . . Чьи-то лица и слова
В мозгу мелькали — образы былого. . .
Сако всё пел.
И горечь всё текла. . .
И вдруг Шаварш так явственно, так живо
Припомнил ночь близ тюркского села, —
Они три дня почти без перерыва
Сражались здесь. . .
Под утро, вспомнил он,
Всё пробудилось от густого дыма —
Его ребята с четырех сторон
Селенье подожгли. . . Неукротимо
Рвались они туда — и вот, как смерч,
Ворвались во главе с Шаваршем. . . В страхе
Все схоронились. . .
Сея кровь и смерть,
Он, с маузером, на коне, в папахе,
По улице скакал во весь опор,
И вдруг — конь на дыбы. . .
Он видит чудо —
Пред ним был ангел. . . Он глаза протер —

Нет, женщина... Но кто она? Откуда?
Поводья натянул он, конь заржал,
Но покорился... И, глазам не веря,
Шаварш от напряженья весь дрожал...
Она взглянула... Боже, что за пери!
Глаза горят от ужаса и слез...
Белее снега перед хумбапетом
Сверкнула грудь — как зимний Алагёз,
Когда туман сползет перед рассветом...
Шаварш коня сдержал, что было сил
Поводья натянув...
В тот миг, весь в черном,
На взвившемся коне, что землю бил
Копытами и ржаньем непокорным
Звал в путь хозяина, остолбенев
Пред женщиной в смятенье и восторге,
Он был ужасен — весь порыв и гнев,
Над ней поднявшись, как святой Георгий...
В ее глубоких словно ночь глазах
Был ужас... Это краткое мгновенье
Казалось веком... Он почувал страх,
Что женщина исчезнет, как виденье,
Как облако, тумана зыбкий лик,
И только он да конь в селенье этом
Останутся... Но в этот самый миг,
Как пена белая, пред хумбапетом
Упала женщина:
«Курбан сани!
Сян мяным игитым!.. — она кричала, —
Возьми меня с собою, эрмяни!
Мян сяварым сани, игит!»
Сначала
Он думал, что ослышался, что сон
Всё длится... Конь, дрожа от нетерпенья,
Едва стоял... И тут увидел он,
Как из дверей какого-то строения
С кинжалом выскочил солдат, крича:
«Не дам, Шаварш! Моя добыча! Сука...
Из рук удрала!.. Ну так получай!»
Потом раздался крик... И смолк. Ни звука...
И на мгновенье всё застлал туман...
Сверкнул клинок...

Шаваршу почему-то
Почудилось, что он как будто пьян...
Навек запечатлелась та минута
В душе его, захочешь — оживи,
И всё опять воскреснет, как когда-то:
Тень маузера, женщина в крови,
Конь, рвущий удила, и труп солдата...

Что это было — наважденье? бред?
Не слыша ни мольбы людей, ни клятвы,
Жег, бил, стрелял и рушил хумбапет,
Покрыв село снопами красной жатвы.
Ни женщина, ни отрок, ни старик
Пощады не нашли в селенье целом,
И всё оно казалось в этот миг
Привязанным к коню безгласным телом...
В мозгу Шаварша, погрузясь в туман,
Горело тело женщины, как рана...
В ту ночь, как волк, он был от крови пьян,
Волк, потерявший женщину...
И спяна
Шаварш ударил по столу рукой
И снова выпил... Но не полегчало.
Он вытер ус и вспомнил вдруг с тоской
Коня...
А песнь Сако еще звучала.

2

Уже во мгле поблескивал рассвет,
За окнами гостиницы алея,
А за столом отважный хумбапет
Всё пил и пил, от хмеля тяжелея.
Все были пьяные. Обняв Аро,
Татик всё целовал его. Угрюмый
Егор, ворча и проклиная Дро,
Всё пил... Шаварша вновь томили думы.
Их нити, разметавшиеся вдруг
По незапамятным путям былого,
Под старой песни заунывный звук,
Вокруг злодея Дро кружились снова...

Уж утро осветило Ереван;
Всё обагрив, как красные чернила,
Рассвет, зевая, прогонял туман,
И брань Егора — вот что первым было
Ему приветом — брань и воркотня...
Весь город спал сном грудным, нездоровым,
И утро наступающего дня
На всё ложилось грузом стопудовым...
Спал город, беспокойно, тяжело,
Лишь чей-то голос, детский или женский,
Внизу у входа бился о стекло,
Пронзая визгом этот сон вселенский...
Шаварш всё размышлял, идти иль нет.
Осталось два часа, а значит, надо
Решенье принимать... И хумбапет
Решил: да, он пойдет. Но без отряда.
Ребята будут за городом. Их
Он известит, по-видимому, скоро.
С собой возьмет он только четверых:
Аро, Сако, Татика и Егора.
Да, только их. Достаточно ему.
Дро, может быть, подстроил им ловушку...
Он может всё — упрятать их в тюрьму
Иль спровоцировать и взять на мушку...
На всё способен он...
И мутный взор
Куда-то пред собой уставив тупо,
Шаварш увидел вдруг знакомый двор
Милиции и два прикрытых трупа
В углу двора — Тевик, Егора брат,
И Агаси... И на песке опилки,
Чтоб кровь закрыть...
Казалось, парни спят,
Лишь маленькие ранки на затылке...
В них выстрелили сзади...
Вот их суд!
И маузер рука схватила в гневе,
Кровь в голову ударила... И тут
Он опьянел...

То не осенний ветер листья бьет,
Не пререзает темноту ракета,

То хумбапет Шаварш с отрядом пьст,
В гостинице пируя до рассвета.
Да, это он вдруг встал из-за стола
И маузер схватил, чтоб тот зловеще
Пел песню смерти, песню тьмы и зла,
Всё громче, беспощаднее и резче...
За ним его ребята всей гурьбой —
Егор, Татик, Сако и остальные...
А город пистолетною пальбой
Всё бредил, как тифозные больные...
Сквозь забытье неясно слышал он
На розоватом предрассветном фоне
Хор маузеров, что звучал сквозь сон
Фрагментами трагических симфоний...
Стреляли парни из оконных ниш,
Уставясь на восход, стреляли спьяна,
И пули прыгали на крыши с крыш,
Среди молочно-белого тумана.
И в этой мгле, куда-то ввысь спеша,
Поверх всего массива городского,
Шаварша одинокая душа
Летела, словно туча, что готова
Бураном снежным охватить весь свет,
Всё лихорадкой потрясти кровавой...
Стреляли парни, глядя пулям вслед,
Туда, где жертв своих ждала расправа...
Шаварш к ним повернулся:
«Все за мной!»
И выскочил... И потекли из горла
Ругательства и хохот затяжной,
И снова брань... Он подозревал Егора:
«Егор, нас Дро зовет для важных дел...
На небо нас пошлет, к твоим братанам!..»
И маузер Шаварша вновь запел
Песнь гибели...
В своем задоре пьяном
Был хумбапет ужасен — он шагал,
Шатаясь, чуть не падая, а сзади
Его ребята, каждый как шакал,
И трезвого ни одного в отряде,
Все пьяные...
Так шел Шаварш вперед,

Не видя ничего в хмельном угаре,
Его трясло, горел от жажды рот,
И тут же, у ворот, на тротуаре
Его стошнило. . . Парни с двух сторон
Стопились, окружая перекресток. . .
Смолк маузер. Раздался хрипый стон. . .
Там кто-то умирал. . . Старик? Подросток?
Кому какое дело, что восход
Прекрасного наирского светила
Встречает хрипом искаженный рот?
Кого задело это и смутило?
Шаварш воспрял.
И вот, собрав людей,
Он удалился грузными шагами.
А сзади двое маленьких детей,
Скелетики с большими животами,
Вдруг бросились к блевотине его
И стали пожирать, припав к ней жадно,
Как псы голодные, уж ничего
Вокруг себя не видя, пищей смрадной
Поспешно рты набив. . . И только страх,
Что чей-нибудь пинок иль окрик зычный
Прогонит их, поблескивал в глазах,
Да голод их, безумный, безграничный. . .

.
.

По городу шагает хумбапет,
За ним, шатаясь, пьяные ребята.
Уж в утро превращается рассвет,
Проснулся город. И спешат куда-то
Прохожие, стараясь проскользнуть,
И словно в лад ночному их кошмару,
Вокруг распространяя страх и жуть,
Шагает хумбапет по тротуару.
И маузер хватает:
«Эй, ты, марш. . .
К стене лицом! — замедлив шаг нетвердый,
Кричит он встречным. —
Я иду, Шаварш!
А ну-ка, становись к забору мордой!»
«Шаварш идет!» — кричит толпа парней,
Грозь прохожим с хохотом и бранью. . .

И человек встает лицом к стене,
Боясь противиться его желанью.
И скольких он ни встретил в этот час,
Всех повернул к стене или к ограде.
Безропотно был выполнен приказ, —
В то утро страх читал он в каждом взгляде
И тешился, хоть честь невелика.
Так, с важностью, бросая гордо взоры,
Он прошагал всю улицу, пока
Не встретил человека вдруг, который
Лица не повернул. . .

Что было сил

Орал Шаварш: «К стене!» В ответ на это
Тот маузер спокойно зарядил
И так стоял напротив хумбапета.
Шаварш смутился. . . Всё казалось сном!
Хотел стрелять, но в это же мгновенье
Его ударил кто-то кулаком,
И он упал, сначала на колени,
Потом плашмя, к чужому сапогу
Припав щекой. . .
И словно в чаще леса,
Померкло всё. . . Казалось, что в мозгу
Протянута железная завеса. . .
Он не слышал, как затрещал забор
От выстрелов, как дрогнула защита,
И не почувствовал, когда Егор
Свалился на него, как брус гранита. . .
Не видел, как отряд его вразброд
Бежал, не знал позорного разгрома. . .
Сквозь забытье казалось, кто-то жжет
Ему железом ухо. . .
Только дома,
Когда пришел в себя и вспомнил взгляд
Прохожего с усмешкою несносной,
Он понял — это ж хумбапет Сумбат,
Его, Шаварша, старший брат и крестный. . .

.
.

Ноябрь-декабрь 1928

310. ДЕТСТВО

Детство мое златокудрое...

Гурген Маари

1

О детстве очень многие писали.
Оставив самых древних в стороне,
Припомним, кто писал о нем. Едва ли
Ответит список истине вполне.
Бросаю взгляд в младенческие дали,
Пришла пора о том писать и мне.
О муза, верным другом будь моим,
Чтоб детство я воспел вослед другим.

2

Писали все — Толстой, Руссо, Д'Амичис,
Флобер, Бальзак, Зорян и Маарі...
И этим я, пожалуй, ограничусь.
А ты, читатель, строго не смотри
На два последних имени. Из тысяч
Имен — всегда заметней два иль три.
Судьба имен превратна. В этом я
Схожусь с новейшей критикой, друзья.

3

Поверить ей, в угодьях нашей прозы
Или стиха — Шекспиры, Данты, По...
Воспой художник жестяные розы —
Тотчас же критик пылко скажет «О!»,
В азарт войдет и, не меняя позы,
Вас возведет в любое божество.
И вот вы — гений... Почему же нет?
Вчера Верхарном стал один поэт.

4

По одному тому, что он, старея,
Стал, как Верхарн, поэтом городов.
Не отличал он ямба от хорей,
Сонет сложил он из восьми стихов,

Однако же, судить его не смея,
Скажу: его отметив меж певцов,
Был все-таки высокий критик прав,
Ему хвалу достойную воздав.

5

Каким же складом будет нам полезней
Писать — чтоб песнь, храня душевный жар,
Была и трезвой, как утюг железный,
И милой, как товарищеский дар. . .
Чтоб ритмом скуки, худшей из болезней,
Не заболел читатель, млад и стар.
О мой Вольтер, о Гиль, о Буало,
Спасите вновь, коль будет тяжело. . .

6

Бесчисленное множество размеров
Использовали мы. Поэт лукав,
Он в объясненье множество примеров
Нам приведет, и будет вечно прав.
Не стих из недомеров и обмеров —
Меня влечет сегодня даль октав,
Где строки все и сдержанны, и сжаты,
Как строем в ряд идущие солдаты,

7

Где стих ступает, зная свой черед,
А не толкаясь, как быки на случке. . .
Не так, как ветер злой в лесу ревет,
Сгоняя тучи, разгоняя тучки,
Хочу воспеть я день минувший тот. . .
О детство, ты навек уже в отлучке. . .
Ты было серым, будничным. . . По праву
На этот раз я выберу октаву.

И вот я вижу пепельную даль,
 Какой-то город, пепельный, невнятный.
 Стесняет горло странная печаль,
 И я готовлюсь с нежностью приятной
 Воспеть былые дни, которых жаль,
 Куда глядим с тоской невероятной.
 Но... вместо элегических утех —
 Вскипает вдруг неудержимый смех,

Смех неуместный, словно озорник...
 Да... были дни. Светлы на удивленье.
 Был город, что и сер и невелик.
 Да мой отец, его ожесточенье.
 Да спячка, как навек застывший миг.
 Вот всё мое родное окруженье,
 Безмолвное, как спящий без греха,
 Когда не слишком мучает блоха...

О, райская пора... В невольном вздохе
 Я слышу элегическую грусть,
 Ту самую, чьи ахи или охи
 Наш Маарі запомнил наизусть
 И нам воспел... Былые дни неплохи.
 В один из них, попробую, взглянуть...
 Я — в новом. Утро в солнечных накрапах
 Цветет, сияет. И бессмертный запах

До моего доходит носа... (Друг
 Читатель мой, запомни эти точки,
 Что после «носа». Я их смысл не вдруг
 Раскрою, но — почти без проволоочки.)
 Так слушай же... Младенческий досуг
 Я буду петь, летя от строчки к строчке:
 Но мягче будь! Я скоро допою
 Новеллу эту легкую мою.

Я не повинен в том, что не смогу
 Окрасить детство краской голубою.
 Его представив раем, я солгу.
 Да будет мне позволено тобою
 О ясном деле, в дружеском кругу,
 Начать невольню темною строкою.
 Кто материнский поцелуй и взгляд
 Вам восплет. А я . . . тот аромат.

Сняло всё, как после умыванья, —
 Мне тот рассвет запомнился навек —
 Весны и воздуха благоуханье,
 Дыханье розы белой, будто снег.
 В рубашке новой, синей — звонкой ранью
 Я шел — десятилетний человек,
 Под окнами хозяина, чей сын
 Одеждой мог похвастаться один.

Все знают это детское волненье —
 Впервые платье новое надеть!
 Весь мир окрестный, как крокет весенний,
 Тогда расцвечен — любо поглядеть.
 Обновка, что мелькала в сновиденье,
 Уже твоя. И хочется запеть,
 Когда рубашку, сшитую как раз,
 Тебе протянет мама. . . Добрый час!

Итак, в рубашке синей, к этим окнам
 Я подошел, спокойствие храня,
 Чтоб сын хозяйский прямо-таки лопнул
 От зависти, завидевши меня. . .
 Был франтоватым, некрасивым, злобным
 Хозяйский сын, гулял, детей дразня.
 Меня увидев сверху из окошка,
 Он скрылся впуоть, сказав: «Постой немножко».

Я видел, как глаза его блеснули.
 Ушел он, чтобы выйти на крыльцо?
 Или сестру позвать? Плеч не сутуля,
 Я ждал его, гордец из гордецов.
 Я бросил взгляд наверх. . . И мне плеснули
 Какой-то желтой жидкостью в лицо. . .
 Я понял всё. Но поздно понял я. . .
 Рубашка тоже вымокла моя.

В глазах моих обида зарябила.
 Но стоит ли мне дальше говорить
 О том, как мать меня потом бранила,
 Когда я всё пытался объяснить,
 Как убираться велено нам было
 С того двора — за то, что злую прыть
 Я проявил, мстя всей своей душою
 За благовонье, сверху пролитое.

Толстой, Жан-Жак Руссо, Флобер, Д'Амичис
 И Маари — на помощь вас зову,
 Чтоб, инцидентом тем не ограничась,
 Воспел я нежно детства синеву,
 Обрызганную (есть ли в том комичность!)
 Той жидкостью, что я не назову.
 Я и теперь, когда мне говорят
 О детстве, — этот слышу аромат.

Вот вам и всё о детстве. Этот час —
 Ярчайший час младенческого рая.
 Так сверху изливалась каждый раз
 Какая-нибудь нежность. И когда я

Восстать пытался, мать меня тотчас
Корила, в страхе, мне добра желая,
Чтоб я любую сверху благодать
Как поцелуй учился принимать.

20

И верно — этот запах. . . Из тумана,
Который — память наша, говорят,
Он в душу мне вползает постоянно,
Как некий яд, прошедшей жизни яд.
И я теперь не знаю, как ни странно,
Что вспоминаю, что туманит взгляд —
Мое ли детство или то бывшее,
Что нам легко дарило только злое?

21

Что ж, славься, райское благоуханье!
Тот, пропитавший детство, аромат.
Поэтов детские воспоминанья
Его в себе застенчиво таят.
Твой златоустый, полный обаянья,
Слог, мой Гургэн, не тот ли аромат
В себе скрывает? . . Впрочем, чья заря
Иначе пахнет, мягко говоря?

22

Да будет славен запах тот злосчастный.
Отныне, кто и что ни говори,
Писать не стану больше о «прекрасной,
О ясной, яркой свежести зари».
И ты, Гурген, красиво, но напрасно
Раскрасил детство. . . Нет, мой Маари,
Давай шагнем в грядущее, и в нем
О нашей. . . яркой старости споем.

1930

311. НОРК

1

На солнечном холме, у склона,
Открытый для ветров и гроз,
Благоуханный и зеленый
В селенье старом тополь рос.
В земную глубь уйдя корнями,
Он в светлый час и в пору тьмы
Чуть слышно шелестел над нами,
И тополь тот любили мы.

2

И вот пришел нежноречивый
Терян, печальный наш поэт,
И в песне грустной и правдивой
Был тополь Норка им воспет.
И полюбили мы поэта,
Что, ухватившись за листву,
В заветной песне нам поведал
Свою наирскую тоску.

3

То был наирский дух. Страдая
В разлуке с родиной своей,
Домой из северного края
Вернулся он, как Одиссей.
Вернулся грустный и усталый
Из стран чужих и городов
В свой дом пустынный, обветшалый,
В глухой и темный край отцов.

4

Пришел поэт и снова в дали
Ушел искать мечты и сны,
Но здесь осталась песнь печали
На старом дереве страны.

И прячась, как скворец бескрылый,
Среди густых его ветвей,
Та песня помощи просила,
Участия к тоске своей.

5

О тополь Норка, песне-стону
Ты вторил ропотом глухим,
Мы, ухватясь душой за крону,
Внимали жалобам твоим.
И эта песня, что повисла
На дереве страны родной,
Нам навевала сны без смысла,
Маня несбыточной мечтой.

6

Так на холме, лучом согретом,
Вел старый тополь свой рассказ,
И нам казался он заветом
Отцов и дедов в смертный час.
От гроз и бурь не защищенный,
Им вопреки, он к небу рос,
И нам казалась эта крона
Убежищем от страшных гроз.

7

Как горлица с крылом подбитым,
Душа наирская с тоской,
Скорбя о горе пережитом,
Стонала в муке вековой,
Стонала голосом Теряна,
Последнего ее певца,
Что нет спасенья в мгле туманной,
Что в мире мраку нет конца. . .

О том, что тьма вокруг всё гуще,
 Что настает наш смертный час,
 Что ветер злобный и могучий
 Растопчет и развеет нас
 И вырвет, поздно или рано,
 Наш старый тополь, в чьей листве
 Душа последнего гусана
 Трепещет в страхе и тоске. . .

О, как был близок и понятен
 Душе наирской, что жила
 Под гнетом, словно под проклятьем,
 Но выстояла, как скала,
 Как близок был тот страх всечасный,
 Что, песней став, в урочный час,
 Как якорь, людям неподвластный,
 Связал священной цепью нас.

Но вот, как гул далекой лавы,
 Предгрозовой донесся шум,
 И грянул ураган кровавый,
 Как сокрушительный самум. . .
 Та буря грозная, слепая,
 Оставив страшные следы,
 Неслась, в пустыню превращая
 Селенья, города, сады. . .

Своей косою смертоносной
 Она, как луг, за рядом ряд,
 Косила край наш плодоносный
 И наших песен светлый сад,
 Косила урожай священный,
 Его снопам теряя счет, —
 Гусанов наших вдохновенных
 И весь бессмертный наш народ. . .

Уж острие косы проклятой
 Грозило тополю, что рос
 Один в долине Арарата,
 Когда к нам ветер гул донес
 И животворная, иная,
 К нам, с Севера, издалека,
 Домчалась буря, затопляя
 Весь край, как вешняя река.

В дни гроз и горя без предела
 Наш тополь выстоял едва,
 Под злобным ветром поредела
 Его священная листва.
 И, как топор в руках у ката,
 Лишь злу подвластный одному,
 Над ним кулак родного брата
 Уже навис, грозя ему. . .

Уже сухую сердцевину
 Наш дух покинул. . . В вихре дней
 Покорно преклонив вершину,
 Ждал тополь гибели своей,
 Когда его, наполнив силой,
 Иная буря сотрясла
 И сердце вновь оздоровила
 Внутри зачахшего ствола.

И в первый раз с того мгновенья,
 Когда, стирая горя след,
 Его баюкал нежным пеньем
 Последний Наири поэт,
 Грозы живительной дыханье
 Коснулось высохшей листвы,
 Страхнув, как пыль, след увяданья
 С его поникшей головы.

С тех пор как с песнею печали
 Ушел поэт наш, в первый раз
 Нам мира пламенные дали
 Запели, призывая нас,
 И оросили дух наш сирый
 Росию радости святой,
 Чтоб он взлетел в просторы мира
 Вслед за бессмертною мечтой. . .

И дух наш, знавший лишь бессилье
 Да горе на своем веку,
 Могучие расправил крылья,
 Забыв бесплодную тоску.
 Оставив свой очаг и лиру,
 Впервые он пустился в путь
 И полетел навстречу миру,
 Чтоб на простор его взглянуть.

Преодолев земные грани,
 Освободясь от вечных пут,
 Для пламенных своих мечтаний
 Искал он огненный сосуд.
 Той буре радостной, победной
 Он отдал дум заветных пыл,
 Мечты высокие поведал
 И всей страной услышан был.

Наполнили иные воды
 Рек наших быстрых берега,
 И солнца нового восходы
 Зажгли Армении луга.

От верной гибели спасенный,
Наш тополь снова к небу рос,
Шумя зазеленевшей кроной,
Ждал песен радостных и роз.

20

Но долго дух наирской песни,
Лелеемый дыханьем бурь,
Парил, как птица в поднебесье,
Впивая солнце и лазурь.
И долго буря нас метала,
Нам в лица пламенем дыша,
Чтоб стала песня — из металла
И закаленной — душа.

21

Напрасно тополь, боль скрывая,
Ждал новой песни и певца,
Манила нас тоска иная,
Страна без края и конца. . .
И прежде чем с зарею алой
Вошли мы с новой песней в дом,
Нас долго солнце закаляло
Своим спасительным огнем.

22

И так, внимая скорби мира,
Вдали от гор страны родной,
Душа наирская парила,
Кипя тревогой мировой,
Зажженная живою искрой,
Впитав огонь, как благодать,
Искала мудрости и смысла,
Чтоб песни новые создать.

И долго в солнечной стихии,
 Огнем живительным дыша,
 Забыв поля, ручьи родные,
 Парила Наири душа,
 И в первый раз в полете этом
 Весь мир как свой восприняла,
 И с Севера идущим светом
 Стряхнула пыль веков с чела.

И вот она, как светлый вестник,
 Вновь возвращается в свой дом,
 Чтоб возвестить могучей песней
 О ликовании своем,
 Но уж не жертвою вчерашней,
 Не одинокой сиротой, —
 Она в грядущее бесстрашно
 Глядит, неся огонь святой. . .

Сегодня голосом громовым
 Она поет для всей страны,
 Звучит трубою в песне новой,
 Чьи звуки остры и сильны.
 Лишь иногда в осенних стансах
 Припомнит грусть прошедших дней,
 Да в книгах праведных армянских
 Тоскует о мечте своей.

О Норк, не ты теперь святыня,
 Мечта манящая не ты, —
 Встал новый Ереван отныне,
 Нам в душу смотрит с высоты.

То Норк другой, то Новь иная,
Иным огнем и красотой
Его зажгла страна родная,
Другою думой и мечтой.

27

О Норк, твой тополь, грезой ставший,
Для нас навек благоухан,
Как аромат листвы увядшей,
Навеки близок нам Терян.
Но старая листва увяла,
Блеск золота ее погас,
И всё, что жило, миновало, —
Всё стало песнею для нас.

28

Мы призваны, чтоб в песнях ныне
Звучала труб гортанных медь,
Словами мудрыми твоими
О нашем ликованье петь.
Впитала камень твой и воду
Вся наша плоть и наша кровь, —
Мы вестники лучей восхода,
Несущих солнечную Новь.

29

Пусть песня обретет бессмертье,
На ветках тополя осев,
Чтоб в общем зазвучал концерте
Присущий ей одной напев.
И пусть, о Норк, живет на свете
Мечта, что ты сумел сберечь,
И наш полет сквозь тьму столетий,
И дар отцов — родная речь.

24 января 1933

312. К ГОРЕ МАСИСУ

Акселю Бакунцу, моему светлому другу

Он вышел в час, когда восток алел.
Прикрыл тихонько двери за собой,
В последний раз свой домик оглядел
И зашагал бегущей вдаль тропой.
Заря едва-едва лишь занялась,
Холодный воздух влажен был и сиз,
Но различал на горизонте глаз
Рассветной мглой окутанный Масис...

.
.

Всю ночь не спал. Копался в дневниках,
Листал страницы рукописей, книг,
Записок дерптских, — сколько было их,
Шуршащих и трепещущих в руках, —
Как жизнь его, и сложных и простых,
Сумбурных, беспорядочных порой,
Вобравших всё, что мозг его постиг,
Рисующих с такою полнотой
Величье мыслей, рвущихся в века,
И планов, зародившихся едва...
Кому он передаст их? Чья рука,
Сорвав запрета пыльную печать,
Живые эти, страстные слова
По всей земле заставит прозвучать?
А письма — пожелтевшие от лет,
В замысловатой готике письмен, —
Они ль не бурный путь его, не след
Труда и дум, борьбы, что вынес он?
Бесплодный труд, бесплодная борьба!
Опустошенность сердца и ума,
В грядущем тьма и в настоящем тьма,
Бесцельность будней — вот его судьба!

Так он сидел в плену забытых строк,
Давнишних писем груды вороша
И воскрешая, за листком листок,
Всё, чем кипела некогда душа.
Да, видел он их множество вокруг, —

Листов, листочков, малых и больших,
Носящих отпечатки чьих-то рук, —
Что вызвало, что наполняло их?
Сужденья важных чопорных мужей
Об отвлеченном, об иных мирах;
Напыщенные доводы ханжей,
Велящие пред богом пасть во прах
И следовать покорно, день за днем,
Всевышним предначертанным путем,
Не подрывая вековых основ
И не смущая бреднями народ:
Пускай и впредь, как испокон веков,
Чтит господа, гнет спину на господ!
Но в связках писем, выцветших давно,
Сухих и пыльных, как листва дорог,
Попалось на глаза ему одно —
Голубоватый маленький листок.
Подобно капле утренней росы,
Где мир как будто в зеркале предстал,
Пленяя блеском солнечной красы, —
Так он внезапно сердце взволновал.
Припомнились далекие года:
Чужбина, Дерпт. . . Мечтатель, полный сил,
Наивный, пылкий юноша тогда, —
Он полюбил. Впервые полюбил.
Воспитанный крестьянскою семьей,
Привыкшей чтить суровых правил свод,
Полумонах с нетронутой душой —
И чувство, пред которым пламя — лед!
. . . И вдруг, как сквозь волшебное стекло,
Как будто яркой вспышкой озарен,
Так ясно, словно часа не прошло,
Картину давних дней увидел он.

В сиянье золотых тяжелых кос,
Высокий лоб венчающих, как нимб,
С небесным взором, влажным, как от слез,
Встал образ юной девушки пред ним:
Как первый снег, душа ее чиста,
Но, сладостным предчувствием полна,
Какой огонь таит в себе она,
Нетронутая эта чистота!

О, как с собой боролся он тогда,
Как было нестерпимо тяжело!
Всё скрылось, унеслось. Зачем? Куда?
Он позабыл. Что было, то прошло.
Остался только голубой, как дым,
Как утренней звезды далекий свет,
Листок бумаги с краем золотым,
Прощанья и прощенья грустный след.
Листок бумаги. . . Тонкий вензелек,
Оттиснутый печаткой на кольце,
И несколько сентиментальных строк
С плохим четверостишием в конце.
И это всё.

В раздумье погрузясь,
Не ощущая времени, сидел,
Рассматривал готическую вязь. . .
Потом очнулся. Разорвать хотел,
Куда-нибудь забросить, скомкать, смять. . .
Но передумал. Бережно сложив,
Засунул в письма старые опять;
С трудом течение мыслей изменив,
Рукою по глазам провел слегка
И углубился в чтение бумаг.
Так он читал до той поры, пока
За окнами не начал таять мрак:
То близился назначенный им час.
Тогда он поднялся, чтобы достать
Из ящика знакомую тетрадь
И заглянуть в нее в последний раз.
. . . Не шевелясь, глядел он на тетрадь.
Припоминалось, будто сквозь туман:
Отец. . . В старинном архалуке мать. . .
Сражение за крепость Ереван. . .
Потом открыл потертый переплет,
Устало пробежал листок-другой,
Сперва бесцельно, поверху. . . Но вот,
Взволнованный забытою строфой
Сложенной им когда-то баяти,
Втянулся в чтение, и уже не мог
Противиться певучей силе строк,
И всё читал, забыв, что близок срок,
Что скоро день, и должен он уйти,

Оставить эту книгу, этот дом. . .
Две-три поправки внес карандашом;
Мгновенно, по привычке отмечал
Неверный знак, неточный оборот, —
И всё же непрерывно ощущал,
Как в недрах существа его растёт
Неясная и грозная в своем
Упорстве мысль. . . Он всё еще сидел,
Склоненный над тетрадью, за столом, —
И вдруг, пройдя невидимый предел,
Как вражеский клинок обнажена,
Возникла наконец пред ним она,
Безжалостная эта мысль: *о чем,
Поведать он хотел своим трудом?
Не попусту ль растрачивал свой дар,
Свое уменье, свой душевный жар?
А если то, о чем он пишет тут, —
Его мечта, певучий этот труд,
Которому так щедро отдает
Свой гений он, кровь сердца своего, —
Тропа, что к бездне край его ведет,
Ошибка, бред — и больше ничего?!*
Не первый раз в сомнениях глухих
Терялся он. Но стоило опять
Взять в руки эту старую тетрадь —
И к сердцу подступало в тот же миг,
Мучительным мечтам наперекор,
Большое, несравнимое ни с чем,
Слезами застилающее взор, —
Какая-то тоска и вместе с тем
Восторга дрожь, и нетерпенья пыл. . .
О, сладкие часы, когда душа
Бунтует и кипит в избытке сил,
И мысли, словно вырваться спеша,
Взволнованно теснятся в голове,
Перо торопят, не хотят отстать
И, в ревностном стремленье словом стать,
Трепещут, как стрела на тетиве. . .
О боже, всё, что выстрадано им,
Итог раздумий долгих и тревог, —
Неужто наважденье, горький дым,
Подхваченный стремниною челнок,

Блуждавший поначалу вкривь и вкось
И всё неотвратимей, всё быстрее
Несомый мутной круговертью дней?
Иль жизнь его — бессмысленный вопрос,
Начертанный тростинкой на песке?
Но нет! Его творение не лжет!
Нет фальши в этом чистом языке,
Певучем, как журчанье вешних вод!
Подобный песне, голос книги той
Скалу извечной косности пробьет,
И хлынет благодатною струей
Родник добра и знания в народ.
О нет, язык речей его не лжив, —
Вот он грохочет паводком вокруг. . .
И Хачатур читает, громко, вслух,
Читает, всё на свете позабыв. . .

И снова — подозрения укол.
Не в силах беспокойства превозмочь,
Вернулся к предисловию, прочел
Две-три его начальные строки
И вдруг, вскипев, хотел отбросить прочь,
Швырнуть в огонь иль разорвать в клочки, —
Но, зыбкий и неясный, в этот миг
Знакомый образ перед ним возник:
Учитель. Он узнал его черты,
Прощающий и непреклонный взор, —
О, сколько в нем светилось доброты,
Как беспощаден был его укор!
Проникнув взглядом в глубь его души,
Легко коснулся рукописи он,
Промолвил тихо: «Полно, не спеши!»
И голос был как отдаленный звон,
Как слабый отзвук чьих-то похорон. . .
Вот так же для него он прозвучал
Однажды, по дороге на Масис,
Над пропастью, средь неприступных скал,
Когда чуть было не столкнул он вниз
Проводника, опасной крутизной
Приведшего их к бездне ледяной.
Спокойный голос друга и отца,
Как и тогда, его предостерег

И вновь призвал: «Будь верен до конца
Судьбе, которой сам себя обрек!»

И он не изменил, не отступил.
Поспешно встав, заветную тетрадь
На дно шкатулки опустил опять,
Бумаги, письма старые сложил;
Запоминая, скорбно оглядел
Любую мелочь, каждый уголок,
Потом пальто потертое надел
И, чуть пригнувшись, вышел за порог.
Весенний день вступал в свои права,
И солнце из-за облачной гряды
Уже струило пурпур на сады.
На горизонте, видимый едва
Сквозь серебристый утренний туман,
Вставал Масис, лучами осиян,
Величественный, дальний, но родной. . .

Измученный ночным своим трудом,
Полубольной, с тяжелой головой,
С тяжелым сердцем покидал он дом.
Но, свежестью бодря и тишиной,
В лучах зари рождающийся день
Смахнул с души бессонной ночи тень,
И память о былом, как сон дурной,
Рассеялась, оставив за собой,
Как всё, что было и чего уж нет,
Не горечи, но светлой грусти след.
И твердым шагом, словно человек,
Которого большое дело ждет,
Дорогой, полюбившейся навек,
Не торопясь, он двинулся вперед,
Туда, где уж однажды побывал, —
В суровый край обледенелых скал,
Где, влажными туманами дыша,
Стоит Масис — Армении душа,
Чтоб на его вершине снеговой
Забиться сном и обрести покой. . .

20 февраля 1933

313. БРОНЕПОЕЗД «ВАРДАН ЗОРАВАР»

В полдень, ровно в двенадцать, пришла телеграмма,
Он ее распечатал, прочел;
Стиснул зубы, сжал губы упрямо
И плечом чуть заметно повел.
Был приказ в телеграмме двустрочной:
«Алекполь. Бронепоезд «Вардан Зоравар».
В Ереван передвинуться срочно,
Или ждите суровейших кар».
Три часа полуночи, но не до сна
Командиру: шагает, а думам — нет счета:
Всё понятно. Уловка ясна.
В Ереван залучают, как зверя в тенета,
Там оцепят и — разоруженных — к стене.
Не ребенок он — нет!
Нынче в городе не утихали
Демонстрации. Городу — не по себе.
В гарнизоне — брожение, в рабочем квартале —
Всё готово к борьбе.
Может статься, довольно удара
Одного — и капут
Той машине зловещей, тому государству кошмара,
Что «армянской республикой» пышно зовут.
К ночи прибыл Авис,
Непреклонен и рьян,
Сообщил: в Алекполе готовы подняться.
Могут сразу начать.
Позже Карс, Ереван
И другие присоединятся.
А затем как пойдет бушевать ураган,
И страна запылает отвагой героической,
Из Кавказа советское войско
На подмогу придет.
Это — так. Ну а Дро?
А Сепух? А голодный народ,
Лишь надеждой живущий,
Чужеземные крохи жующий?
Ну а Грузия? Турция? Смогут ли тут
Продержаться, пока издалека
Вихрь октябрьский не дунет? А люди-то ждут,
Нужно дать им ответ. . .

Одиноко
Он шагает, шагает, раздумьем объят.
До зари он шагает, забыв о постели.
От усталости плечи болят. . .
Свет, холодный и мутный, сочится сквозь щели. . .
Вот доносится взрыва далекий раскат,
Замирающий, слышимый еле. . .
Он, пальто натянув,
Покидает вагон броневой.
Рассветает. . . Подобно редющим тучам,
Мрак становится млечным, текучим. . .
Бодро честь отдает часовой.
Мельком глянув, молчит он. . . Чернеет пред ним
Станционное зданье; за станцией город.
И совсем неожиданно видит за мглой
Шлем бумажный. . . в том шлеме — себя. . .
О, когда это было? . . Прощально трубя,
Годы ль, сотни ль годов пролетели
С той поры, как родитель был жив и, светла,
Жизнь катилась, а школьная сцена была
Аварайром. . . И вдруг показалось на деле
Командиру, что в шлеме бумажном опять
Он на сцене стоит
И могучая рать
За плечами толпится. . . Блистая броню,
Там стоит он — Вардан Зоравар, а кругом —
Аварайр, задремавший в молчанье глухом.
Смотрит, смотрит он пристально в сумрачный дым.
Будто криком из города воздух пропорот.
Воздух страхом насыщен. Он смотрит вперед.
Он молчанье слушает строго.
Тишина потаенно дышит тревогой,
Что-то в ней,
Не смолкая, гудёт.
Иступленно топочут ли кони,
Бьется ль сердце его учащенной,
Телеграмма ли так взволновала? Но вот —
Десять выстрелов резких к нему необманно
Из предместья доходят. Он щупает лоб.
Он, порывисто руки засунув в карманы,
Начинает шагать!
Что в кармане он сгреб?

Телеграмма. Берет его снова охота
Тот приказ перечесть.
К фонарю подойдя,
Достает он бумагу, но, миг погодя,
Натыкается взгляд на знакомое что-то:
На вагонной броне, сквозь редующий пар,
Буквы желтые, надпись: «Вардан Зоравар»...
Он глядит да глядит —
И пред ним, как в тумане,
Возникает старинный рассказ
О Вардане, о Мамиконяне.
Повторяет он несколько раз
Это имя, душе дорогое,
Он же бодрствует, гордый дружиной родною.
Да, Вардан Зоравар,
Да, в кольчуге, но что-то совсем
С той поры изменилось... Он чует иное
В тишине напряженной... Та сцена, тот шлем
Для него разве не были явственней, чем
Эта ночь, это поле с задымленной далью,
Этот поезд, окованный сталью?..
О, для детского сердца с его чистотой
Разве не были жизнью и мыслью святой,
Бытием и дорогою вместе —
Аварайр бутафорский, кольчуга и сабля из жести?
И поныне — до этой вот ночи, когда
Нерешимость родит в нем поток размышлений,
Ах, не тот ли глухой Аварайр
На беспомощной сцене —
Жизнь, что прожил он? Да!
«С Аварайра мифического — и поныне
Не была разве, — шепчет он, — наша история вся
Неким вымыслом — басней, где истины нет и в помине?»
Эта банда хозяев на сцену не вышла ль, неся
Деревянные копыя, напялив бумажные шлемы?
А легенда, которой так верили все мы,
Сквозь века проходя
И свирепым огнем
Озаряя селенья во мраке ночном,
Не была разве действием позорным,
Аварайром, которому тысячелетье народ
Отдавал свою жизнь, словно плату за вход?

Разъярялся народ,
Кровь свою проливал в иступление упорном,
Лишь бумажные шлемы выдав пред собой —
То восторгом охвачен, то скорбью тупой.
Арагатской республики призрак ничтожный,
Вот он, эпоса древнего жалкий финал —
Жест с бумагой, что кровью своею народ запятнал,
Меч игрушечный,
Вдвинутый в смертные ножны!
Ну а сам командир?
В нем не прежняя ль стать,
Он не тот же ль подросток кудрявый,
Ослепленный неправдоподобною славой,
Ту же роль исполняющий гордо опять?
Огляделся он, мрачен и нем,
Горько-горько потом усмехнулся
И рукою фуражки коснулся —
Не бумажный ли носит он шлем?
Нет, из края по край
Путь огромный прошел
Средь борьбы непрестанной
И отеческим городом стал Аварайр,
Бронепоездом — панцирь жестяный.
Но еще —
Нет сомнения в том —
Шлем бумажный на нем,
Меч жестяный в руке его рьяной,
Если тот бронепоезд не двинет он завтрашним днем
К Еревану!

.
Решено.
Как от тяжкого сна пробужден,
Он, взбежав по ступеням, стремительно входит в вагон,
Свой дневник достает
И на вырванном, чистом листочке
Пишет четкие строчки:
*«Ереван. Очень срочно. Министру. — Слова
На бумагу ложатся в порядке спокойном. —
Шлем бумажный снимает «Вардан Зоравар»,
Чтобы стать бронепоездом, славы достойным».*

11—12 апреля 1933

314. REQUIEM AETERNAM KOMITASU

(Отрывки)

1

О песня, жившая в разлуке,
Вернувшаяся в отчий дом!
Свет вдохновенья, ответ муки
На сумрачном лице твоём.
Ты, что в изгнанье роковом
Века томилась на чужбине,
Сияющую торжеством
Отчизну обретаешь ныне!

2

Твои останки, Комитас,
Страна встречает величаво.
Тому, кто просиял у нас,
Как солнце, — почести и слава!
Отчизне слава, что свою
Святую землю для покоя
Тебе, родному соловью,
Отводит с нежностью такою!

3

О песня сумрачных веков,
О наш тысячелетний гений,
Видавший тысячи врагов,
Терпевший тысячи лишений!
Тебя в неволе крепостной
Взрастил народ простосердечный
Своею мукою страстной,
Своей любовью бесконечной!

4

Ты воспевала сельский плуг,
Труды на пашне спозаранья,
Полей безводных мертвый круг,
Любви безрадостной терзанья,

Скитальца, в ком живут, бурля,
Воспоминанья, укоризны, —
Блуждающего журавля,
Отбившегося от отчизны.

б

Певец, народом ты вскормлен,
Воспринял песню от него ты,
О радости мечтал, как он,
Его страданья и заботы
Ты разделял в своей судьбе, —
За то, как мудрость человечья,
С младенчества далось тебе
Народа чистое наречье.

в

Журчала тихо песнь твоя,
Но вихря знойного порывы
Спалили песнь и соловья. . .
Журчал унылый, сиротливый
Напев, сжигающий сердца,
О нашей родине бессильной
В лачуге каждого сельца
И на полях, в тиши могильной.

г

Травинкой, сорванным листом,
Сквозь пламя лютое и громы,
В дыму, горячем и густом,
Ветрами бурными несомый,
Великой мукою томим,
Почти дыхание теряя,
Ты был свидетелем немым
Погибели родного края.

Былинкой вихря произвол
 Тебя принес — и видел взор твой
 Руины городов и сел,
 Простор полей, пустой и мертвый;
 Среди руин — гурьба к гурьбе —
 Загубленный народ родимый,
 Народ, тот самый, что тебе
 Дал песен дар неповторимый. . .

Гонимый за родной порог,
 Истерзанный и опаленный,
 Ты смерть, трубившую в свой рог,
 Возненавидел испуганно. . .
 Ты уцелел, но день за днем
 Тебя тревожил ужас некий. . .
 Мечтал вернуться ты в свой дом,
 Уже исчезнувший навеки. . .

Бездомен, одинок и сир,
 Томясь изгнанием и чужбиной,
 Блуждал ты, как страдалец Лир,
 И всё горел мечтой единой
 О родине, которой нет. . .
 Блуждал, подобно нищей братье,
 И в горьком сердце память бед
 Рождала слезы и проклятья. . .

К груди прижав свирель свою,
 Где песен, сложенных тобою
 И спетых в отческом краю,
 Жило дыханье огневое,
 Ее на долгие года
 С собой увез ты в даль чужую,
 Но песней больше никогда
 Не утешал себя, тоскуя. . .

Из края в край тебя везли,
 Как нищего, что вместо хлеба
 Имеет песню, и вдали
 От родины лишь кровлей — небо.
 Никто не внял тоске твоей,
 Не пожалел тебя невольно —
 Лишь ветер обнял средь путей
 Да дождь обрызгал сердобольно.

И там, куда жестокий шквал
 Тебя принес тропой бескрайной,
 Ты слушателя не сыскал;
 Когда ж выслушивал случайно
 Тебя в безрадостные дни
 Усталый странник иль прохожий,
 Ты видел, что твоим сродни
 Их горькие мытарства тоже.

Их безнадежная печаль
 Могла ли всколыхнуть твой гений,
 В твоей душе родить могла ль
 Она тревогу песнопений?
 Вдали от родины, в пути
 Безвестном, средь полей суровых,
 Как силу мог твой дух найти
 Для пламенных творений новых?

Да, как бы ни был дух твой строг,
 И тверд, и полн любви к собратьям,
 Он на каких полях бы смог
 Дать песням жизнь, бессмертье дать им?
 Ах, семена цветов порой
 Земли родимой и не знают,
 Но семена души людской
 В отчизне лишь произрастают. . .

Насела сумрачная мгла
 На дух твой сокрушенный. . . В жилы
 Отрава едкая вошла —
 И стали дни тебе постылы.
 В те дни родимый край сполна,
 Как траурное облаченье,
 Закутывала пелена
 Погибели и разрушенья! . .

Но на клочке земли, средь скал
 Старинных и средь глины черствой,
 Где смерти противопоставлял
 Народ железное упорство, —
 Где, уцелев, сквозь тьму невзгод
 Он шел от мала до велика, —
 Уж новоявленных господ
 Бесчестная сидела клика.

От нашей родины, века
 Существовавшей, вражья сила
 Того последнего клочка
 Еще пока не отхватила,
 Но в лапах новых заправил,
 В свирепости непревзойденных,
 Его удел ближайший был —
 Стать кладбищем для истребленных!

Когда ж исчезли, сметены
 В потемки мрачные, глухие,
 «Хозяева родной страны»,
 Как все «хозяева» другие, —
 На дальнем севере рожден,
 Вослед за пламенем багряным,
 Ударил гром. . . Донесся он,
 О дне спасенья возвестя нам.

Насыщен ленинским огнем,
 Из туч, на высотах орлиных,
 Ударив, раскатился гром
 И грозно загудел в глубинах;
 Страну, которая была
 Темницею, — он сделал раем,
 Он дал нам сладкого тепла,
 Нас отчим осчастливил краем.

Нам землю дал полей родных,
 Возделываемую всеми, —
 Простор, в чьих недрах потайных
 Спит гения святое семя;
 Тот жар, что песню всё звучней,
 Всё ярче и проникновенней
 Творил до жгучих наших дней. . .
 Тот жар, которым дышит гений. . .

Наставил нас великий вождь,
 Чтоб, одолевшие невзгоды,
 Свою объединили мощь
 В союзе огненном народы,
 Где каждый бы из них творил,
 Свободно гением водимый,
 Напев свой, полный свежих сил,
 И чистый, и неповторимый. . .

Тебе знакомые в былом
 Народы, жившие в неволе,
 Сегодня в дышащей теплом
 Отчизне, средь ее раздолий,
 Жизнь солнечную создают.
 Они друг другу чужды были,
 Ну а теперь их дружен труд,
 Преграды нет их дружной силе.

Жизнь создают, где рабства нет,
 И гордо нация любая,
 Свой гений, свой бессмертный свет
 Вселенной напоказ являя,
 Повсюду славит цель одну
 Живыми звуками своими,
 Что зачинала в старину,
 Родное утверждая имя.

Могла ль мечтать в чужом краю
 Душа твоя о возвращенье
 В родимый край, в свою семью;
 Мечтать о том благоговенье,
 Что разольется вокруг тебя,
 И что к губам твоим холодным
 Чаренц приложится, скорбя
 О смолкнувшем певце народном? . .

В столице родины твоей,
 Где все в торжественной печали, —
 На пламенных сердцах людей,
 Как на огромном пьедестале,
 Лежит теперь твой труп святой,
 Безмолвствующий величаво,
 И в карауле день-деньской —
 Стоит немеркнущая слава!

Тебе — любовь, земной поклон
 Народ приносит умиленный,
 И песнями твоими он
 Баюкает твой дух сожженный,
 Знававший лишь укор судьбе
 Да безнадежность. . . И по праву
 Любовь теперь поет тебе
 И память вечную и славу.

Как будто бы тебя знал
 Я сызмала и до кончины,
 Как будто преодолевал
 С тобой бок о бок путь пустынный,
 С тобой от холода дрожал,
 Знал голода и жажды муку,
 Твою в своей руке держал
 Сухую, старческую руку!

Да, за руку держа отца,
 Гонимого нуждой проклятой,
 Вымаливал я без конца
 Хлеб горький — вдалеке когда-то;
 И, лежа во дворах церквей
 С больным отцом, пылавшим жаром,
 В бреду я тосковал острей
 О хлебе дальнем, доме старом. . .

Ветрам чужим отдав сполна
 Отцовский прах, я брел устало,
 Пока зари голубизна
 Над родиной не засверкала;
 Растаял мрак извечных зол,
 И, в утро новое влюбленный,
 Я песню вольную завел
 Тогда на лире обновленной.

Вернулся ты, отец родной,
 И то не я ль своей рукою
 В чужбинный вечер ледяной
 Закрыв твои глаза с тоскою;
 Набальзамировал тебя
 Своей любовью, чтобы тело,
 По дальней родине скорбя,
 До возвращенья не истлело. . .

Лежит страданье на лице
 Твоем иссохшем, стынет дума
 О родине былом конце
 На нем, желтеющем угрюмо;
 Повиты осенью черты,
 В них врезаны следы мучений, —
 Как страстотерпец, в гробе ты
 Покоишься, наш дивный гений!

Я понял: ты — отец моей
 Сердечной песне; смерть приемля
 Далеко средь чужих путей,
 Навеки не сошел ты в землю, —
 Нет, воротился ты назад,
 Чтоб лечь в могилу в отчем крае,
 Что ныне, мощен и богат,
 Тебе приносит розы рая. . .

На веках старческих твоих,
 На лбу твоём, как свод, высоком,
 Устах, спаленных, неживых,
 Читаю, глядя жадным оком,
 Знакомую печаль мою,
 И трепет лихорадки жгучей,
 И радость, что в родном краю
 Ты снова, песенник могучий!

С лицом, белеющим как мел,
 Отшельника и страстотерпца,
 Где навсегда окаменел
 Огонь пылающего сердца, —
 С челом отшельника, с немой
 Печалью мученика — ныне
 Вернулся ты к себе домой,
 Века блуждавший на чужбине. . .

Твой прах отчизне возвращен,
 Явился из далекой дали,
 Реликвией лучистой он
 Покоится на пьедестале, —
 В своей родной земле, где тишь,
 Росой теплою кропимый,
 Ты семя древнее взрастишь
 На славу, гений наш любимый!

Вернулся мертвый ты домой,
 Чтоб жизнью новой жить отныне
 В стране, покончившею с тьмой,
 Под небом, полным жаркой сини.
 Твоим оплодотворена
 Бессмертным прахом, мира ждущим,
 О, сколько гениев страна
 Родит в торжественном грядущем!

О родина, в тебе кругом
 Теперь не молкнет ликованье:
 То возвратился в отчий дом
 Наш гордый гений из изгнанья.
 И для чудесного его
 Возврата — мы уже создали
 Жизнь вольную, где торжество
 И где в помине нет печали!

В отчизну тысячи сердец,
 Еще томящихся в изгнанье,
 Должны вернуться наконец;
 Беды свирепое дыханье

Их на чужбину унесло, —
О, сколько там, в дали немилрой,
Скорбя, страдая тяжело,
Изгнанников душой изныло!

40

О ты, монах без клобука, —
Нет, не с крестом, но с дудкой дивной,
Стал пастырем ты на века,
Народной песней непрерывной!
Нет, не молитву ты вознес,
Но, словно в ясность небосвода,
Песнь обратил, звонкоголос,
Ты к сердцу своего народа.

41

Как песнь крылатую твою
Народ наш принял беззаветно
И сохранил в родном краю,
Так ныне с теплотой приветной
Навеки приютит тебя
Земля старинная, сырая, —
Костяк твой, сердце, что, скорбя,
Всегда горело, не сгорая. . .

42

Твое пусть сердце, наконец
Вернувшись на родное лоно,
Остынет, славный наш певец;
В земле отцов, испепеленной
В веках не раз, прах бранный твой,
Забывший мрачное былое,
Пусть вечный обретет покой
И станет нашею землею!

Усталый прах твой навсегда
Найдет покой под свежим дерном,
И на грядущие года
Он станет пеплом животворным!
Твой дух, чарующий вовек,
Здесь будет жить — и всё чудесней
Звучать в годах, стремящих бег,
Неумолкающею песней!

1936

ПРИМЕЧАНИЯ

Русский читатель впервые познакомился с Егише Чаренцем в 1926 году, когда в Москве был выпущен его роман «Страна Наири», впоследствии неоднократно переиздававшийся. Начиная с 1928 года в русской периодике Закавказья, а потом и в центральной печати стали появляться также переводы отдельных его стихотворений, баллад и поэм. При жизни Чаренца, литературная деятельность которого продолжалась почти четверть века, в различных русских газетах, журналах и антологиях было опубликовано не более двух десятков его поэтических произведений. Такая малочисленность прижизненных русских публикаций объясняется, главным образом, исключительным чувством ответственности, характеризующим отношение Чаренца к переводам своих произведений на русский язык. Эта высокая мера ответственности была обусловлена двумя обстоятельствами. С одной стороны, Чаренц, большой художник-новатор, для которого поэзия была «высоким подвигом жизни», прекрасно понимал, какое видное место он занимает в армянской литературе. С другой стороны, хорошо владея русским языком, он глубоко знал и любил русскую литературу, считал ее «гениальнейшей литературой в мире» и, рассматривая свое творчество в свете ее вершинных достижений, оценивал его очень скромно. Естественно, что Чаренца беспокоила мысль о том, смогут ли его стихи обрести достойное звучание на русском языке, не утратят ли они в переводе своей свежести, яркости и своеобразия, будут ли интересны русскому читателю. Об этой взыскательности Чаренца свидетельствует его переписка с переводчиками и редакторами в период подготовки первого русского сборника его произведений. Так, в письме от 7 апреля 1934 года к поэту-переводчику Александру Гатову Чаренц писал: «Мне очень интересно узнать, не читали ли Вы Ваших переводов, точнее, моих стихов русским поэтам: доходят ли они, понятны ли, не звучат ли тускло и шаблонно? Я очень боюсь этого: поэзия ведь штука хитрая, если она на одном языке звучит глубоко и оригинально, это еще не гарантия, что и в переводе на другой, более культурный язык, она может оставить впечатление... может быть, все мои стихи гроша медного не стоят и стыдно их даже показывать таким изощренным читателям, для которых Пушкин, Блок, Маяков-

ский, Пастернак *свои отечественные поэты!*»¹ Из этого же письма видно, какие требования предъявлял Чаренц к переводчикам, какие творческие задачи ставил перед ними. Он считал удачными такие переводы, которые передают «не только почти буквальный смысл моих стихов, строка в строку, но и (что самое главное) *подлинный стиль и дух моих писаний*». Успешное решение этой задачи было и остается делом чрезвычайно трудным, тем более что Чаренц, особенно на ранних этапах, испытывал влияние различных литературных направлений и групп и стиль его менялся в зависимости от роста художественного мастерства, развития мировоззрения и эстетических взглядов поэта. Все же ряд переводов, выполненных для намечавшейся к изданию русской книги Чаренца, достигал вполне удовлетворительного уровня и был одобрен автором. Однако при его жизни эта книга так и не вышла в свет.

Первый сборник избранных стихов и поэм Чаренца в русском переводе был издан лишь в 1953 году в Москве (Е. Чаренц, Избранное, составитель Акоп Салахян, под редакцией Игоря Поступальского). Значение этого сборника заключается, прежде всего, в том, что в нем впервые была опубликована значительная часть стихотворного наследия — большинство поэм и баллад и наиболее важные и характерные для поэтического облика Е. Чаренца стихотворения разных периодов творчества. Однако в этом сборнике наряду с удачными переводами, сохраняющими свою ценность и поныне, было и немало таких, которые изобиловали чрезмерными переводческими вольностями, неоправданными отклонениями от подлинника или же отличались невысоким художественным уровнем. Второй русский сборник вышел в Ереване, в 1967 году, к семидесятилетию со дня рождения поэта (Е. Чаренц, Избранное, составитель Г. Эмин, под редакцией Ярослава Смелякова и Геворка Эмина, изд-во «Айастан»). Хотя в это издание был включен ряд новых для русского читателя произведений, в основном из ранней лирики поэта, но в целом по своему составу оно оказалось беднее предыдущего, в нем отсутствовало множество стихотворений и поэм, чрезвычайно важных по своей общественной и художественной значимости. А новые переводы, среди которых имелись несомненно удачные, нередко страдали весьма существенными изъянами.² Кроме того, в обоих сборниках в ряде случаев были опущены авторские посвящения, эпитафии, встречались ошибки в датах, не соблюдалась авторская строфика стихотворений и т. п.

Настоящий однотомник является наиболее полным из русских изданий Чаренца. В нем отражены все этапы творческого пути поэта, представлена большая часть его стихотворного наследия. Состав данной книги обусловлен задачей показать поэзию Чаренца в характерных чертах ее развития, в идейно-тематическом и жанровом многообразии. Все переводы просмотрены с точки зрения

¹ Два письма А. Гатову. — В журн. «Литературная Армения», 1967, № 9, с. 95.

² Подробнее об этом сборнике см.: Г. Татосян, Несколько замечаний о новой русской книге Е. Чаренца. — В журн. «Литературная Армения», 1968, № 3, с. 84—92.

соответствия оригиналу и качества русского стиха. В результате многие из прежних переводов заново отредактированы или заменены новыми. Так, поэмы «Дантова легенда», «Неистовые толпы», «Слово о народе» («Песнь о народе»), «Радио мира», «Чаренц-наме», «Стена коммунаров в Париже», «Хумбапет Шаварш», «Чугунный человек», баллада «Мой товарищ Липо», «Баллада о 26-ти» и целый ряд стихотворений даются в новых, ранее не публиковавшихся переводах. Впервые на русском языке печатаются поэмы «Синеглазая родина», «Я и Ильич», «Норк», подавляющее большинство стихотворений из циклов «Три песни бледнопечальной девушке», «Страна огня», «Жертовный огонь» и книг «Радуга», «Комальманах» и других.

Новые переводы, составляющие в общей сложности более половины настоящего сборника, сделаны по академическому изданию собрания сочинений Е. Чаренца в шести томах (Е. Чаренц, Собрание сочинений, изд. АН Армянской ССР, Ереван, 1962—1968). Сборник состоит из двух разделов. В первом разделе — «Стихотворения» — в хронологическом порядке размещаются основные книги и циклы поэта, представленные избранными стихотворениями (с соблюдением авторской последовательности их расположения, авторская нумерация стихотворений в циклах при этом не сохраняется). В основу структуры этого раздела положены композиционные принципы академического издания Е. Чаренца, в котором с некоторыми дополнениями воссоздается состав и построение двух основных прижизненных изданий поэта («Собрание сочинений», тт. 1—2, М., 1922 и «Сочинения», Ереван, 1932). Стихотворения, не входившие в целостные циклы, вынесены в специальный подраздел «Стихотворения разных лет», заключающий первый раздел. В структуре этого подраздела учтены соображения Е. Чаренца, высказанные им в предисловии к «Собранию сочинений» (тт. 1—2, М., 1922). «Редактируя «Собрание сочинений», — писал Е. Чаренц, — я был озабочен главным образом тем, чтобы все издание представляло если не полную, то хотя бы приблизительную картину моего творчества до сего времени. С этой целью я разделил весь материал на два объемистых тома, причем в первый том входят лирические стихотворения и поэмы, а во второй — эпические поэмы. Как в первом, так и во втором томе стихотворения и поэмы я расположил в хронологическом порядке, имея в виду то обстоятельство, что то или иное произведение пишется в данном году не случайно, а, если можно так выразиться, по внутренней хронологии, что является самым существенным для понимания любого поэта. Это, впрочем, не совсем относится к «Смешанным стихотворениям», которые расположены хотя тоже в хронологическом порядке, но отдельно от поэтических циклов, в конце книги, чтобы не нарушать ее целостности» (Е. Чаренц, Собрание сочинений, т. 6, Ереван, 1967, с. 8). Такого же композиционного принципа придерживался Е. Чаренц и в составленном им в последние годы жизни проспекте предполагавшегося издания собрания сочинений в пяти томах, где сохранены целостные циклы и книги, а поэмы и баллады выделены в отдельный том. В соответствии с этим во второй раздел настоящего сборника включены поэмы и баллады, взятые из разных сборников поэта. В этом разделе материал расположен также в хронологическом порядке. В основу датировок в настоящем издании положены даты академического издания Е. Чаренца. Отдельные

книги датировались постом суммарной датой, она воспроизводится под заглавием соответствующей книги. Если стихотворения того или другого цикла датируются одним и тем же годом, этот год (или суммарная дата) обозначается в конце всего цикла.

В примечаниях сообщаются необходимые сведения историко-литературного, биографического и реального характера. Некоторые из этих сведений почерпнуты из примечаний А. Г. Захарян к вышеупомянутому академическому изданию Е. Чаренца (в дальнейшем ссылки на это издание даются сокращенно — АИЧ). Так как циклы в большинстве случаев представлены в наст. изд. не полностью, в примечаниях указывается количество стихотворений, составлявших тот или другой цикл. Если слова (типа «саз», «таг», «зурна» и т. п.) фигурируют в текстах неоднократно, то объяснение их в примечаниях дается при первом упоминании и, как правило, без последующих отсылок.

При составлении примечаний учтены монографии и исследования последних лет: С. Агабабяна, Л. Арутюнова, С. Гайсарьяна, А. Григоряна, Э. Джрбашяна, А. Салахяна, Э. Топчяна и других, а также мемуарная литература.

СТИХОТВОРЕНИЯ

ТРИ ПЕСНИ БЛЕДНОПЕЧАЛЬНОЙ ДЕВУШКЕ

Эти три стихотворения составили первую книжку Чаренца, изданную в 1914 г. в Карсе. *Астхик Кондахчян* (р. 1899) — имя девушки, которую в юношеские годы любил поэт. Эпиграф — из стих. «Amethyste» французского поэта-символиста Альбера Самена (1858—1900).

СТРАНА ОГНЯ

Цикл состоит из 10 стихотворений, не публиковавшихся при жизни поэта. Они дополняют характеристику ранней поэзии Чаренца, испытавшей влияние символизма. Здесь печатаются 2-е, 5-е, 6-е, 7-е и 8-е стихотворения цикла.

ЧАСЫ ВПДЕННЙ

Цикл состоит из 7 стихотворений. Здесь печатаются 2-е, 3-е и 5-е стихотворения цикла.

Радуга

Отдельное издание книги «Радуга» было осуществлено в 1917 г. в Москве, затем она в качестве самостоятельного целостного раздела была включена в первый том «Собрания сочинений» (М., 1922), в дальнейшем при жизни автора не переиздавалась. Книга открывается двумя вступительными стихотворениями, из которых в наст. изд. печ. только первое. Циклы, составляющие книгу «Ра-

дуга», печ. не полностью: в цикл «Радуга» входило 3 стихотворения, в «Голубое» — 5, в «Золотое» — 10, в «Лиловое» — 6, в «Вечер прощанья» — 4. *Карине Котанчян* (р. 1897) — подруга поэта в Карсе. В 1916—1917 гг. жила в Москве. Впоследствии работала в Армении пчеловодом.

12. *Дорога Голгофы* — дорога мук и страданий. Голгофа — гора возле Иерусалима, на которой, по библейскому преданию, был распят Христос. На пути к ней Христос подвергся истязаниям.

ЖЕРТВЕННЫЙ ОГОНЬ

Цикл «Жертвенный огонь» состоит из трех подциклов — «Вечер», «Возвращение» и «Утро», полностью опубликован в первом томе «Собрания сочинений» (М., 1922). В «Вечер» входило 18 стихотворений, в «Утро» — 22. «Вечер» написан в феврале — марте 1918 г., «Возвращение» — в июне того же года, на Северном Кавказе, «Утро» — в 1919—1920 гг. в Карсе и Ереване. Несколько стихотворений подцикла «Утро» были опубликованы в 1920 г. в армянской печати под названием «Из книги „Люси Тараян“». Первоначально Чаренц предполагал дать это название всему циклу, но впоследствии отказался от него. Люси Тараян (р. 1898) — актриса, работала в Баку, а затем в районных театрах Армении. Поэт познакомился с ней в 1919 г. в Карсе.

47—65. 8. Стих. «О невеста, бронзоликая сестра» прокомментировано Чаренцем в «Письме в редакцию», датированном 2 декабря 1929 г. и напечатанном в армянском журнале «Нор уги» («Новый путь»), № 11-12 того же года. «Это — символистское стихотворение, написанное, как видно каждому сведущему читателю, против дашнаков сразу же после подавления Майского восстания. Кто читал стихотворения моего цикла «Жертвенный огонь», тот знает, что в то время я переживал революцию как процесс романтически-эмоциональной вспышки, который берет начало в моей поэме «Сома», опубликованной в 1918 г. Словами «Сома», «Бронзовая сестра» и т. п. я изображаю вспышку революции. Весь цикл «Жертвенный огонь» написан одним и теми же символами, на ту же тему... Чтобы не вводить читателя в заблуждение, считаю необходимым сказать, что я здесь (в стихах цикла. — *Ред.*) намеренно говорю на моем тогдашнем символистском языке... Так я чувствовал в то время, и читатели знают, что я давно оставил этот отвлеченный символизм» (АИЧ, т. 6, с. 200—203). *О страна, тебя распяли на кресте.* По поводу начинающегося этой строкой трехстишия Чаренц замечает, что «речь идет о подавлении Майского восстания: именно этим подавлением «распяли» бронзовую невесту», то есть революцию, и тем самым распяли нашу страну». *Но услышит крик Спаситель...* «„Спаситель“ — та же Октябрьская революция», — пишет поэт. Майское восстание — восстание трудящихся Армении в мае 1920 г. против дашнацкого режима — было жестоко подавлено. Центром восстания был г. Александрополь (ныне Ленинакан). 15. *Сома* — одно из божеств древнейшего индийского литературного памятника «Ригведы», олицетворяет священный напиток, дарующий силу, счастье, бессмертие.

ВАШ ЭМАЛЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Цикл «Ваш эмалевый профиль» состоит из 26 стихотворений (в том числе 10 триолетов). Весь цикл впервые опубликован в первом томе «Собрания сочинений» (М., 1922). *Арменуи Тигранян* (1888—1962) — поэтесса. После установления Советской власти в Армении жила за границей.

67. *Леконт де Лиль* (1818—1894) — французский поэт, глава «парнасской школы».

УЛИЧНОЙ ЩЕГОЛИХЕ

Цикл «Уличной щеголихе» был написан во второй половине сентября 1920 г. и впервые опубликован в первом томе «Собрания сочинений» (М., 1922) с подзаголовком «Семь баллад». О характере баллад Е. Чаренца этого цикла см. примеч. 240.

84. *Наирі* — название Армении в памятниках древней письменности. *Толпы неистовые придут*. Имеется в виду восставший народ — герой поэмы Е. Чаренца «Неистовые толпы».

85. В «Избранном» (М., 1956) напечатано под загл. «Волшебство куафера» в переводе М. Талова.

87. Эпиграф в переводе В. Корчагина из стих. «Пир» того же цикла.

ПЕСЕННИК

Цикл «Песенник» печ. в наст. изд. полностью. Впервые был напечатан в первом томе «Собрания сочинений» (М., 1922). Цикл посвящен *Арпик* — Арпеник Аветовне Тер-Аствацатрян-Чаренц (1899—1927) — первой жене поэта. По воспоминаниям хорошо знавших ее современников, это была очень образованная, серьезная, обаятельная женщина, обладавшая ровным, спокойным характером. Она была подлинным другом и помощником поэта. Чаренц беспредельно любил ее, глубоко уважал и посвятил ей кроме данного цикла множество стихотворений, большинство из них опубликовано в настоящем сборнике. Эпиграф — из стихотворения Саят-Новы «Ах, не нужен мне лекарь, не нужен врач...» в переводе В. Звягинцевой (см.: Саят-Нова, Стихотворения. Вступительная статья, подготовка текста и примечания С. З. Гайсарьяна, «Б-ка поэта» (М. с.), 1961). Публикуемый здесь перевод эпиграфа принадлежит М. Павловой. *Саят-Нова* (Арутин Саядян, 1712—1795) — армянский поэт, ашуг. Жил в основном в Тифлисе. Писал на армянском, азербайджанском и грузинском языках. «Певцом, вознесшим поэзию ашугов на недосягаемую до него высоту, был Саят-Нова, мощью своего гения он превратил ремесло народного певца в высокое призвание поэта, — так писал В. Брюсов о Саят-Нове в статье «Поэзия Армении и ее единство на протяжении веков». — Саят-Нова первый показал и доказал... что этот певец не только увеселитель на пиру, но и учитель,

пророк, как бы ни казалась легкомысленны темы его песен... Он почти везде говорит о любви, но как разноцветны оттенки ее в различных стихотворениях, все эти переходы от тихой нежности к пламенной страсти, от отчаяния к восторгу, от сомнения в самом себе к гордому самосознанию художника» («Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней», М., 1916, с. 59, 62).

90. *Кяманча* — восточный народный струнный смычковый инструмент.

91. *Таг* — песня. *Авлабар* — армянский район старого Тифлиса.

92. *Гюрджистан* — Грузия.

93. *Зурна* — народный духовой музыкальный инструмент.

94. *Духаницик* — содержатель духана, небольшого восточного ресторана. *Фирман* — указ, повеление.

95. *Арак* — водка. *Шираз* — город в Иране, родина поэтов Хафиза и Саадн.

98. *Джан* — здесь: милая, любимая.

100. *Франгистан* — так в старину на Востоке называли Францию.

101. *Саз* — народный струнный музыкальный инструмент.

108. *Нарекаци* Григор (951—1003) — армянский поэт, автор «Книги скорбных песнопений», религиозных гимнов и песен. Сын епископа, он с детства жил при монастыре Нарек (на берегу озера Ван, в Западной Армении). Отсюда и его прозвище Нарекаци, что означает «из Нарека», или Нарекский. «В стихах Григория Нарекского, — писал В. Я. Брюсов, — религиозное чувство соединяется с истинным поэтическим вдохновением, и многие аллегорические гимны этого поэта остаются прекрасными, независимо от их богословского толкования. Притом Григорий Нарекский довел до высокого совершенства форму стихов, любовно культивируя «звучкопись» задолго до того, как она расцвела в лирике персидской и арабской. В этом отношении стихи Григория Нарекского являются предварением «светской» поэзии средневековья» (В. Брюсов, Поэзия Армении и ее единство на протяжении веков. — В сб.: «Поэзия Армении...», М., 1916, с. 44). *Шнорали* (Благодатный) Нерсес (1102—1173) — армянский поэт, публицист, общественный деятель. В последние годы жизни был католикосом, главой армянской церкви. Обладал обширнейшими познаниями и ярким литературным талантом. Автор многочисленных произведений религиозного и светского содержания, написанных в стихах и прозе. Наиболее значительным из них является поэма «Плач Эдессы». *Нагаш Овнатан* (1661—1722) — армянский поэт и художник. Писал главным образом любовные песни, проникнутые светлым чувством и жизнерадостностью и по своим художе-

ственным средствам и приемам приближающиеся к народной поэзии ашугов.

109. Одно из популярнейших стихотворений Чаренца. Известен отзыв о нем Аветика Исаакяна. «На меня большое впечатление произвели его «Дантова легенда» и лирический цикл «Песенник», особенно его глубоко патриотическое стихотворение «Я привкус солнца в языке Армении родной люблю...». Скажу совершенно объективно, без преувеличения, что с точки зрения патриотизма другого такого стихотворения армянскими буквами, армянскими словами, по-моему, не написано. Это уникальная, небывалая вещь» (Аветик Исаакян, С Чаренцем в Венеции. — В сб.: «Воспоминания о Египте Чаренца» (на арм. яз.), Ереван, 1961, с. 20). *Молитвой ставшие листы железописных наших книг.* «Железописными» («еркатагир») называют армянские письмена (особого графического изображения), которые в глубокой древности высекались железом на камне, на стенах церквей. Впоследствии, когда стали писать на пергаменте, за этими письменами сохранилось их первоначальное название. Все «железописные» буквы — заглавные. Этим шрифтом написаны древнейшие (до X—XI вв.) армянские рукописи религиозного, а также светского содержания, в частности труды историографов, летописцев. Слово-сочетание «железописные книги» в стихотворении Чаренца надо понимать в смысле «старинные, древние книги». *Кучак Наапст* (XVI в.) — армянский поэт, с именем которого связано создание песен-айренов (четверостиший с 15-сложными стихами). Большой популярностью пользовались его айрены, проникновенно и смело воспевающие любовь, женщину, ее красоту, земные радости. Писал также айрены правозительные и скитальческие. *Нарекаци* — см. примеч. 108. *Масис* — армянское название горы Арарат.

ВОСЬМИНАШИЯ СОЛНЦУ

Цикл состоит из 16 стихотворений, посвящен первой жене поэта (см. примеч. на с. 490).

Поэзозуриа

Книга «Поэзозуриа», как и последующая книга «Комальманах», написана в те годы, когда Чаренц в напряженных поисках новых путей в искусстве, новых форм для отражения революционной действительности испытывал влияние пролеткультовских взглядов, поэтики футуристов и творческих установок литературной группы «Лев» («Левый фронт искусства»). Это влияние заметно во многих стихотворениях названных сборников. Оно проявилось в декларативности, плакатности, нарочитой усложненности образов и метафор, в противопоставлении Железа и Машины чувствам и психологии человека, в отрицании культурного наследия прошлого. Однако эти заблуждения Чаренца продолжались недолго. Уже 14 мая 1925 года в письме, адресованном редакции бакинской газеты «Вышка», касаясь ошибок, допущенных им и другими поэтами в художественной практике предыдущих двух-трех лет, Чаренц писал: «Мы думали завос-

вать мир плакатами и жалкими агитками, которые, самое большое, могут иметь значение текущей рекламы. И полагали, что это и есть то настоящее искусство, которое нужно пролетариату. А знаете, почему мы так думали? Потому что нашим жалким интеллигентским умом мы превращали живого рабочего в будто бы «классово полезное» безжизненное чучело, а это «полезное» брали в отрыве от самого человека, повисшим в воздухе, — ведь мы «отвергали» быт и психологию. И эти, заимствованные у Лёфа, интеллигентские фальшивые монеты мы хотели выдать за полновесное золото пролетарской идеологии, за, с позволения сказать, «марксизм». Между тем это было не что иное, как самый махровый буржуазный материализм, вульгаризированный нигилизм и писаревщина» (АИЧ, т. 6, с. 425—426). Первая часть заглавия книги «Поэзозурна» заимствована, по-видимому, у русского поэта Игоря Северянина (1887—1942), называвшего свои стихи «поэзами». Книга состоит из 15 стихотворений. Впервые издана в 1922 г. в Москве.

122. *Алек* — имя, имеющее здесь собирательное значение народного песнопевца, музыканта. *Духан* — лавка, трактир, восточный ресторан.

123. По библейскому преданию, во время всемирного потопа *Ной* с семьей и животными спасся на ковчеге, приставшем к вершине Арарата. *Астафян* (Астафьевская) — тогдашняя главная улица Еревана, ныне улица Абовяна. *Айастан* — армянское название Армении.

125. *Гюмри* — старое название города Александрополя (ныне Ленинакан). *Арташес Тер-Мартиросян* (1892—1937) — армянский поэт, автор изданной в 1912 г. в Александрополе книжки стихов «Преддверие осени», проникнутой настроениями грусти и печали. «*Аполло*» — название кишиневского театра в Александрополе.

126. *Астафян* — см. примеч. 123. «*Ранги*» — армянский народный танец.

128. *Чека* — ЧК — Чрезвычайная Комиссия, созданная для борьбы с внутренней контрреволюцией и спекуляцией. *Терсит* — персонаж «Илиады» Гомера. Образ дерзкого человека, клеветника. *Канакерский склон* — по названию села Канакер, расположенного на возвышенности близ Еревана; ныне северная окраина столицы Армении. *Зангу* (Раздан) — река, на которой стоит Ереван. «*Энзели*» — восточный танец. *Давид* — герой армянского народного эпоса «Давид Сасунский». Его конь Джалали отличался исключительной привязанностью и верностью Давиду.

129. *Роберт Оуэн* (1771—1858) — английский социалист-утопист, один из предшественников научного социализма. *Алек* — см. примеч. 122. *Гюмри* — см. примеч. 125. *Наири* — см. примеч. 84. *Певец тьмы и боли, Хмурой осени*. Имеется в виду *Арташес Тер-Мартиросян* (см. примеч. 125).

Комальманах

130. Этим стихотворением открывается сборник «Комальманах» («Коммунистический альманах»), изданный в 1924 г. в Москве и состоящий из 7 произведений. В стих. «Всем поэтам» особенно сильно сказалось влияние лефовских теоретических взглядов на искусство. Утверждая, что искусство «есть производство нужных классу и человечеству ценностей (вещей)» («Леф», 1923, № 1, с. 38), теоретики Лефа проповедовали вулгарный утилитаризм. Они считали, что искусство должно только производить практически полезные вещи, и тем самым лишали его воспитательной и эстетической роли. Как и пролеткультовцы, лефовцы отрицали искусство прошлого, традиции и жанры классической поэзии, в частности любовную и пейзажную лирику. Об отношении Е. Чаренца к своим лефовским заблуждениям и ошибкам см. примеч. на с. 492—493.

131. Написано в мае 1923 г. *III Интернационал* — Коммунистический интернационал — международная организация, созданная в 1919 г. в соответствии с потребностями и задачами революционного рабочего движения на первом этапе общего кризиса капитализма (существовала до 1943 г.). *Электрификация плюс власть советская*. . . Чаренц почти дословно цитирует слова В. И. Ленина из доклада на VIII Всероссийском съезде Советов: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, изд. 5-е, т. 42, с. 159). Керзон Джордж (1859—1925) — деятель английской консервативной партии, один из организаторов военной интервенции против Советской России. 8 мая 1923 г., будучи министром иностранных дел Великобритании, направил Советскому правительству провокационный ультиматум, вызвавший гневный протест трудящихся в Советской стране и стоивший Керзону политической карьеры.

132. Написано 23 января 1924 г., через день после смерти В. И. Ленина, в Москве. Близкий друг поэта архитектор Микаэл Мазманян (1899—1971), живший в то время в Москве, вспоминает: «При жизни Ленина Чаренцу не довелось видеть его вблизи. . . Кажется, Ленин будет жить вечно и возможность увидеть его всегда представится. Однако Ленин заболел. Бюллетени о состоянии его здоровья ежедневно, несколько раз в день, вывешивались на стене Телеграфного агентства в Охотном ряду. . . Чаренц не отходил от бюллетеней. Тревожные переживания охватили его, как и всех нас. 21 января навечно закрылись глаза любимого вождя. . . С большим трудом Чаренц получил разрешение находиться в Колонном зале Дома Союзов, вблизи от гроба Ленина. Пристально всматривался он в светлые черты навеки уснувшего вождя, чтобы сохранить их для поколений, чтобы создать образ Ленина как знамени грядущего. Непосредственным выражением переживаний тех дней явилось стихотворение „Ленин“» (сб. «Воспоминания о Египше Чаренце» (на арм. яз.), Ереван, 1961, с. 67—68). Кромвель Оливер (1599—1658) — вождь английской буржуазной революции. Ганди Мохандас Карманд (1869—1948) — вождь национально-освободительного движения индийского народа против английского владычества. Рокфеллер, Морган — американские миллиардеры.

РУБАЙАТ

Рубаи — одна из форм восточной лирической поэзии, представляющая собой четверостишие, в котором обычно рифмуются 1-я, 2-я и 4-я строки, нередко заканчивающиеся редифом (см. примеч. 248). В этих четверостишиях Чаренц затрагивает различные жизненные темы, вопросы философского, этического характера (см. вступит. статью, с. 35). Поэту принадлежат два цикла рубайат, каждый из них представлен в настоящем сборнике рядом четверостиший. Первый цикл состоит из 44 рубай, 39 из них были впервые изданы отдельной книжкой «Рубайат» на армянском яз. в 1927 г. в Тифлисе.

140. *Искандер* — так называют мусульмане одного из знаменитых полководцев древнего мира Александра Македонского (356—323 до н. э.).

143. *Дервиш* — странствующий мусульманский монах. В переносном значении: бедняк, скиталец.

Эпический рассвет

«Эпический рассвет» вышел отдельным изданием в 1930 г. в Ереване с посвящением: «Посвящаю эту книгу памяти моей жены, товарища, героического друга Арпеник Чаренц (Тер-Аствацатрян), скончавшейся в ночь с 1-го на 2-е января 1927 года в ереванской первой больнице. Е. Ч.» Затем следовал эпиграф к книге — последние 4 строки стихотворения Н. А. Некрасова «Сон». Книга состоит из циклов «Оды и раздумья», «Элегии и другие стихотворения», «Эпические фрагменты», «Стихотворные новеллы» и ряда «Мелких стихотворений», часть из которых представлена в наст. изд. в подразделе «Стихотворения разных лет». В первый цикл — «Оды и раздумья» — помимо публикуемых всех его шести стихотворений включено примыкающее к нему по теме и жанру «Послание к критику N.N.», которое заключало книгу «Эпический рассвет» (в «Избранном» (М., 1956) это стих. в переводе В. Цвелева называлось «Панегирик критику N.N.»). Цикл «Элегии и другие стихотворения» представлен здесь восемью стихотворениями из девяти, «Эпические фрагменты» — двумя из трех, «Стихотворные новеллы» печатаются полностью. Арпеник Чаренц — см. примеч. на с. 490.

148. Стихотворение имеет программное значение. В нем дается поэтическая характеристика основных этапов творческого пути Е. Чаренца. В первых шести строфах поэт характеризует свое раннее, дореволюционное творчество (от «Трех песен бледнопечальной девушке» до «Радуги»), в последующих шести — революционные поэмы («Неистовые толпы», «Сома», «Всепоэма» и другие). *Я изменил однажды в ночь... Я вещь избрал невестою своей.* Имеется в виду кратковременное увлечение поэта левовскими, конструктивистскими взглядами, отразившимися в ряде его произведений 1922—1924 гг. (главным образом в книгах «Поэозурна» и «Комальманах»). См. примеч. на с. 492, 494.

149. Источник первого эпитафия установить не удалось. По Эдгар (1809—1849) — американский писатель. Второй эпитаф — из стих. В. Я. Брюсова «В ответ» (из книги «Urbi et orbi»).

150. Стих. «Я теперь не тот» (в «Избранном» (М., 1956) в переводе М. Талова под загл. «Я больше не тот») написано в период острой литературной борьбы. Армянские рапповские критики обвиняли Е. Чаренца в мелкобуржуазном анархизме, отходе от пролетарской идеологии. Поэт говорит в этом стихотворении о преодолении былых пролеткультовских и левовских заблуждений, проявившихся в его творчестве и высказываниях 1922—1924 гг. (см. примеч. на с. 492), и выдвигает программу всестороннего, реалистического изображения советской действительности, жизни и психологии нового человека. Эпитаф — последняя строфа написанного Е. Чаренцем в 1926 г. стих. «Я теперь не тот, не тот. . .».

151. *Дашнаки* — члены и сторонники буржуазно-националистической партии «дашнакцутюн», которая в 1918—1920 гг. правила Арменией. После победы Советской власти в Армении, бежав за границу, вели антисоветскую деятельность. Эпитаф — из стих. А. С. Пушкина «Клеветникам России».

152. *Я снова Пушкина читал. . .* Об отношении Чаренца к Пушкину см. вступит. статью, с. 38. В дни подготовки к празднованию 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина в беседе с корреспондентом выходившей тогда в Тбилиси газеты «На рубеже Востока» Чаренц говорил: «На произведениях Пушкина мы учились понимать, что такое настоящая поэзия, отражающая лучше, величайшие стремления человечества. Через Пушкина мы восприняли все то лучшее, что было в русской культуре. Пушкин является бездонным океаном человеческого гения, в котором каждый человек, к какому бы слою общества он ни принадлежал, может почерпнуть духовную пищу. Пушкин был поэтом и для философа, и для писателя, и для рабочего, и крестьянина. . . Народ понимает Пушкина и любит его. . . Что же касается современной советской поэзии Армении, то, как и во всем Советском Союзе, после всяческих колебаний и шатаний по путям и перепутьям старой культуры, после долгих исканий, большинство наших поэтов находит правильный путь, когда они приходят к Пушкину, обретая в нем настоящий образец не только поэтического мастерства, но и творческой методики поэзии. Ясно, что, только критически освоив творчество Пушкина как творца и мыслителя, наша поэзия сможет выбраться из тупика творческих исканий формалистического порядка и выйти на широкую дорогу подлинной советской литературы — литературы социалистического реализма. . . Таков диапазон влияния Пушкина на нашу литературу, таково его значение для нашей сегодняшней и завтрашней поэзии» («Беседа с председателем Пушкинского юбилейного комитета Армении поэтом Егише Чаренцем», газ. «На рубеже Востока», 1936, 22 мая. Цит. по АИЧ, т. 6, с. 352—354). *Минервы мудрая сова*. Минерва — богиня мудрости в древнеримском пантеоне — изображалась с совой на пле-

че, что означало: лучшие мысли приходят ночью, мудрость является к человеку на закате жизни, со временем.

153. *Аксель Бакунц* (1899—1937) — армянский советский писатель, друг Чаренца. Эпиграф — из стих. М. Светлова (1903—1964) «Клопы»; его «Книга стихов» (М.—Л., 1929) сохранилась в личной библиотеке Е. Чаренца.

154. Первый эпиграф — неточная цитата из «Героинь» (послание Дидоны Энею) древнеримского поэта *Овидия Назона* (43 до н. э. — 17 н. э.). Второй эпиграф — из стих. «Мой вечер» (1907) западноармянского поэта *Мисака Мецаренца* (1886—1908).

155. В своих воспоминаниях о Е. Чаренце, написанных в 1957 г., грузинский поэт *Георгий Леонидзе* (1899—1966) писал: «Помню, как в Ереване Чаренц пригласил нас к себе... Тогда много говорили об «Эпическом рассвете» Чаренца, и сам он читал нам стихи из этого цикла... Потом разговор перешел на поэзию. Говорили о высоком назначении поэта, о большой требовательности, которые предъявляют народ и время к поэту. Наши взгляды совпадали, так как мы были люди одного поколения, одних литературных вкусов, прошедшие сложный поэтический путь и одинаково стремящиеся выразить в строке трепет новой жизни. Совсем недавно в русском переводе я впервые читал стихи Чаренца «Послание из Еревана другу-поэту» и «Панегирик критику N.N.», и удивительно, эти стихи явились как бы стенограммой тогдашней нашей беседы с Егише Чаренцем. Он был врагом «дум скопческих и вызубренных слов», он ненавидел своих зонлов, которые хотели сломить его лиру. Он был уверен в победе своей поэзии, которая верно служила народу» (Г. Леонидзе, Памяти друга. — В кн.: «Венок Чаренцу», М., 1967, с. 34—35). Эпиграф — из стих. А. С. Пушкина «Моя родословная» («Решил Фиглярин вдохновенный: „Я во дворянстве мещанин...“»). Как сказал один поэт *хваленый*. Имеется в виду поэт В. Алазан (1903—1966), в то время один из руководителей Ассоциации пролетарских писателей Армении. Журнал этой ассоциации «Гракан диркерум» («На литературном посту») не раз подвергал произведения Чаренца острой критике с рапповских позиций.

ЭЛЕГИИ И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

158. Эпиграф — из стих. А. С. Пушкина «Воспоминание». *Я женское лицо увидел вдруг*. Речь идет об умершей жене поэта Арпенник Чаренц (см. примеч. на с. 490).

160. Стихотворение впервые опубликовано в 1930 г. к 10-й годовщине со дня смерти Ваана Теряна. Об отношении Чаренца к Теряну см. примеч. 250—252.

161. *Арпик* — см. примеч. на с. 490. Эпиграф — из стих. Ф. И. Тютчева (1803—1873) «Цицерон».

162. *Сжав губы, горе затаив в сердцах, Мы провожали гроб*. Речь идет о похоронах В. И. Ленина, в которых участвовал Чаренц, находившийся в те дни с женой в Москве (см. об этом в примеч. 132).

163. *Царь — венчанный шут*. Николай I принимал личное участие в допросе ряда декабристов, арестованных после подавления восстания русских дворянских революционеров 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади в Петербурге. «Во время следствия над декабристами он обнаружил исключительную способность применяться к личным свойствам каждого подсудленного, всячески разнообразя способы воздействия — от крайней строгости и устрашения до притворной мягкости и фальшивой ласки» (Леонид Гроссман, Пушкин, М., 1939, с. 363). *Пестель Павел Иванович* (1793—1826) — основатель и идеолог Южного общества декабристов. *Рылеев Кондратий Федорович* (1795—1826) — русский поэт, один из руководителей движения декабристов. Пестель, Рылеев и еще три ведущих деятеля декабризма были казнены 13 июля 1826 г. в Петропавловской крепости. Сотни декабристов были заключены в тюрьму, сосланы на каторгу в Сибирь.

ЭПИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ

164. Первый эпиграф — из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник», второй — из поэмы М. Ю. Лермонтова «Мцыри». *Чугунный человек* — памятник В. И. Ленину, воздвигнутый около Земо-Авчалской гидроэлектростанции — ЗАГЭС — в Грузии, первая очередь которой была введена в действие в июне 1927 г. *Над нею монастырь* — монастырь Джвари на вершине горы над Курой, описанный Лермонтовым в поэме «Мцыри». *Прошел поэт курчавый*. А. С. Пушкин проходил этими местами, направляясь в Эрзерум.

165. В письме к Александру Гатову от 2 февраля 1934 г., рекомендуя ему перевести этот «фрагмент», Е. Чаренц отмечал: «Весь это написана четырехстопными ямбами, в стиле «Медного всадника», с характерными цезурами, отчасти в манере пастернаковских вариаций...» («Литературная Армения», 1967, № 9, с. 94). Эпиграф — из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник». *Тем львам, которых с дивной силой Воспел поэт, столь милый нам*. Речь идет о беломраморных сторожевых львах работы скульптора Трикорни, украшающих подъезд здания бывш. военного министерства на Адмиралтейском проспекте и воспетых А. С. Пушкиным в «Медном всаднике». *Ее любимец Александр* — глава Временного правительства А. Ф. Керенский. *Теперь одна из ажазонок, которых целый батальон*. Имеется в виду ударный женский батальон, охранявший вместе с юнкерами Зимний дворец в дни Октябрьской революции. *Могучий скачет верховой* — Медный всадник, памятник Петру I работы скульптора Фальконе. *Стоит большой, белоколонный, высокий дом* — Смольный, бывший женский монастырь, затем Институт для воспитания благородных девиц, в 1917 г. стал штабом Октябрьской революции. *Вот человек в одной из комнат* — В. И. Ленин.

СТИХОТВОРНЫЕ НОВЕЛЛЫ

166. «*Homo sapiens*» (лат.) — человек разумный, вообще человек. Так называется нашумевший в свое время роман польского писателя С. Пшибышевского (1868—1927), произведший сильное впечатление на юного Чаренца. *Тихий город наирский* — Карс, родной город поэта. *Арпеник* — армянское женское имя.

167. Перевод ст. 1—8 выполнен для наст. изд. по АИЧ (т. 4), где начало новеллы напечатано в новом авторском варианте, сделанном после «Сочинений» (Ереван, 1932), куда вошел «Эпический рассвет», и утвержденном поэтом как «окончательный текст начала». Эпиграф (в переводе В. Баласана) — из стих. «Свобода» армянского революционера-демократа, писателя и публициста М. Налбандяна (1829—1866), которому и посвящена данная новелла Чаренца. Налбандян был единомышленником, соратником и другом русских революционных демократов Герцена и Огарева. Во время своей последней заграничной поездки в 1862 г. в Лондоне установил с ними тесные отношения и пользовался их большим уважением. Вернувшись в Россию, Налбандян в июле 1862 г. был арестован по обвинению «в сношениях с лондонскими пропагандистами» и заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. В 1865 г. был сослан в г. Камышин Саратовской губернии, где и скончался. *Рылеев* — см. примеч. 163. *Тот, которого Маркс называет великим*. Имеется в виду Н. Г. Чернышевский (1828—1889). В послесловии ко II изданию «Капитала» К. Маркс называет Чернышевского «великим русским ученым и критиком» (см.: «К. Маркс и Ф. Энгельс о литературе», М., 1958, с. 254). Чернышевский, как и Налбандян, был арестован в июле 1862 г., посажен в Петропавловскую крепость, а через два года сослан в Сибирь.

169. *Маку уроженца*. Уроженцами Маку были родители Чаренца (см. примеч. 297).

Лирический антракт

ARS POETICA

Ars poetica (лат.) — искусство поэзии, или поэтическое искусство. Весь цикл состоит из 21 стихотворения. Некоторые из них впервые были опубликованы под общим названием «Лирический антракт» в журнале «Нор угн» («Новый путь») (1931, № 3) со следующим авторским примеч.: «„Лирический антракт“ написан в 1928—1929 гг. Первая часть вошедших в него стихотворений — стихотворения-размышления, вторая часть — эпиграммы и сатирические стихотворения». Кроме этих произведений, в раздел «Лирический антракт» («Сочинения», Ереван, 1932) была включена поэма «Детство» (см. № 310) и эпиграммы, написанные в 1927 г.

170. *Бодлер* Шарль (1821—1867) — французский поэт, автор книги «Цветы зла». *Эдгар По* — см. примеч. 149. *Верлен* Поль (1844—1896) — французский поэт, один из основоположников символизма, автор стихотворения «Поэтическое искусство» («*Art poétique*»), имевшего программное значение для поэтов-символистов. *Гейне* Генрих (1797—1856) — немецкий поэт.

171. *Терян* — см. примеч. 250—252. *Пери* (иранск. миф.) — ангел, представлявшийся в образе крылатой женщины; красивая, очаровательная женщина.

ЭПИГРАММЫ

179—180. Этот цикл состоит из 23 эпиграмм и сатирических стихотворений. В сохранившихся рукописях поэта циклу предпослан эпиграф — стихи из 4-й главы «Евгения Онегина»:

И дрожь, и злость меня берет,
И шевелится эпиграмма
Во глубине моей души,
А мадригалы им пиши!

Книга пути

«Книга пути» — последняя прижизненная книга Е. Чаренца, вышла в свет в 1934 г. и посвящена дочери поэта Арпеник Чаренц (р. 1932). Книга состояла из нескольких циклов: «На перепутьях истории» (10 поэм), «Гимны и заветы» (13 стихотворений), «Искусство поэзии» (10 стихотворений), «Книга познания» («Рубай», «Дистихи», «Бейты»), а также раздела разных стихотворений и переводов.

ГИМНЫ И ЗАВЕТЫ

182. *Лот* — библейский персонаж, праведник, живший в городе Содоме, обитатели которого отличались нечестивостью. Решив уничтожить Содом, бог Яхве послал туда двух ангелов. Они вывели из города Лота, его жену и дочерей, велели им идти в горы и запретили оглядываться. Однако, услышав позади себя грохот разрушающегося города, жена Лота оглянулась и тут же была обращена в соляной столб.

184. *Валтазар* (Валтасар) — библейское имя последнего вавилонского царя Белсарусура (VI в. до н. э.).

188. *Микаэл Мазманян* — см. примеч. 132.

189. *Масис* — см. примеч. 109. *Норк* (Новь) — ныне одна из окраин Еревана.

ИСКУССТВО ПОЭЗИИ

191. Эпиграф — первая строка стих. Чаренца «Дашнакам» (см. № 151).

192—193. *Nostalgia* (лат.) — тоска по родине. Эпиграф к стих. «На дальних берегах, где ты когда-то...» — строка из поэмы «Чаренц-наме» (см. № 297).

194. *Туманян* — см. примеч. 265—267.

КНИГА ПОЗНАНИЯ

200—211. Цикл «Рубай» состоит из 24 четверостиший. *Терян* — см. примеч. 250—252. *Туманян* — см. примеч. 264 и 265—267.

212—227. *Дистих* (греч.) — двустишие, выражающее законченную мысль. Весь цикл «Дистихи» состоит из 51 двустишия. Эпиграф — начало первого двустишия подцикла «Весна» из цикла дистихов Гете «Четыре времени года». 1. *Пан* (греч. миф.) — бог лесов и рощ, обладал даром прорицания. *Дельфийский оракул*. Древнегреческий город Дельфы, стоявший у подножия горы Парнас, известен храмом Аполлона и оракулом, предсказывавшим судьбу. 3. *Дар получил от Ирана*. Родители Чаренца были родом из Ирана. 4—6. Дистихи 4-й, 5-й и 6-й обращены к Гете. *Веймар* — во времена Гете столица небольшого герцогства, где великий немецкий поэт провел часть своей жизни в качестве тайного советника двора, в светско-чиновничьем и бюргерско-мещанском окружении. *Сизифов труд* — бесконечный, бессельный труд. Сизиф из-за того, что выдал людям тайны богов, должен был вечно поднимать на гору камень, который скатывался вниз, едва достигнув вершины. 9. *Ручей Аполлона* — источник поэтического вдохновения.

228—235. *Бейт* (араб.) — двустишие в восточной поэзии, связанное единой законченной мыслью. Цикл публикуется полностью. 2. *Хафиз* (1300—1389) — персидский поэт. 3. *Хаям Омар* (1048—1131) — персидский поэт. 4. *Фирдуси* Абуль Касим (Фирдоуси, 934 или 941 — ок. 1020) — персо-таджикский поэт, автор эпопеи «Шах-наме» («Книга шахов»). 6. *Саят-Нова* — см. примеч. 109—130. *Яр* — милая.

Стихотворения разных лет

240. В «Собрании сочинений» (М., 1922) — в разделе «Лирические баллады». В отличие от баллад 1924—1928 гг., включенных в раздел «Поэмы и баллады» наст. изд., «лирические баллады», как и те, что составили цикл «Уличной шеголихе», лишены характерных признаков жанра баллады. «И в одном, и в другом случае, по утверждению одного из исследователей творчества поэта, Чаренц еще следует символистскому пониманию жанра. В «Лирических балладах» все построено на неуловимо тонких чувствах и раздумьях, на противопоставлении мечты и действительности. Жизнь, люди становятся здесь мечтой и грезой, а мечта порой предстает в более осязаемых чертах, чем реальный мир. Слабые элементы сюжета, событий утрачивают в водовороте чувств и дум всякую определенность. В произведениях цикла «Уличной шеголихе» также нет прочной сюжетной опоры, здесь преобладает тонкое ироническое восприятие и оценка действительности. В целом же упомянутые произведения Чаренца, которые лишь условно могут называться балладами, не имели никакой связи с классическими традициями жанра» (Э. М. Джрбашян, Новые пути поэтического эпоса. — В сб. статей «Октябрь и армянская литература» (на арм. яз.), Ереван, 1967, с. 361—362). Эпиграф — неточная цитата из стих. А. А. Фета (1820—1892) «Кляните нас: нам дорога свобода...» («И так живем, что нам нельзя не петь!»). *Виван* — Анушаван Джиждежян (1899—1960), литератор, журналист, культурработник. Познакомился с Чаренцем осенью 1917 г. в Тифлисе. В своих воспоминаниях Виван рассказывает, как весной 1918 г., когда турец-

кие войска вторглись в Закавказье, он вместе с поэтом предпринял дальнее путешествие, намереваясь через Иркутск и Владивосток отправиться в Японию, а затем в Индию. «Все направлялись в Красную Россию, спасаясь от турецкой угрозы, а он (Чаренц) считал это поводом, чтобы вступить на «млечный путь». «Поедем, — сказал он мне однажды. — Выедем в широкий мир...» И в один солнечный весенний день мы взяли наши вещи, в том числе тяжелый сундук, наполненный книгами и рукописями, и взобрались на фургон» («Воспоминания о Егише Чаренце» (на арм. яз.), Ереван, 1961, с. 280). Во Владикавказе путники пересели в поезд. Однако дальше Армавира им проехать не удалось. *Млечный Путь* — здесь в смысле дороги мечты.

241. Обращено, по-видимому, к Карине Котанчян (см. примеч. на с. 489). В своих воспоминаниях о Чаренце, рассказывая о встрече с поэтом перед его отъездом из Москвы весной 1917 г., К. Котанчян пишет: «Поехала провожать его на вокзал. Прочитал написанное «Слово расставания». Был он очень взволнован, очень растроган, говорил, что никого у него нет и что я для него мать, сестра, всё» (цит. по АИЧ, т. 1, с. 374).

242. *Карс* — город, где Чаренц родился и где прошли его детство и юность (ныне на территории Турции). *Карине* — см. примеч. на с. 489. *Амент* (Аментн) — название подземного мира у древних египтян.

248. *Газела* (или газель, араб.) — форма восточной лирической поэзии, состоящей из ряда двустиший (обычно 5—12). Первое двустишие связано парной рифмой, повторяющейся затем в каждом четном стихе (схема рифмовки: аа, ба, са, да и т. д.). Непосредственно за рифмой следует редиф — слово или несколько слов, повторяющихся без изменения. В переводе отсутствует необходимая в газельной форме предредифная рифма, но в целом он верен и близок подлиннику. *Тут* — тутовое дерево, шелковница.

250—252. *Ваан Терян* (Ваан Сукнасович Тер-Григорян, 1885—1920) — поэт, оказавший значительное влияние на развитие армянской поэзии XX в., в частности на творчество Чаренца. После Октябрьской революции, которую Терян горячо приветствовал, он вступил в Коммунистическую партию, стал активным сотрудником Народного комиссариата по делам национальностей, посвятив себя общественно-политической и государственной деятельности. Стихи «Памяти Ваана Теряна», написанные под впечатлением смерти любимого поэта, отражают тогдашнее отношение к нему Чаренца. Однако спустя два-три года, в пору левовских увлечений, Чаренц становится на путь нигилистического отрицания наследия классиков, в том числе и Теряна. Но уже во второй половине 20-х годов Чаренц преодолел ошибочные взгляды на литературное наследие прошлого. О том, как относился Чаренц в последний период своей жизни и творчества к наследию Теряна, ярко свидетельствует запись в дневнике поэта, сделанная 14 марта 1934 года: «Уже около года, как по распоряжению Ханджяна (А. Ханджян — в то время первый секретарь ЦК КП Армении. — *Ред.*) я взял из Литературного музея рукописи

Теряна, чтобы подготовить к изданию его неопубликованные произведения. Я начал переписывать рукописи, чтобы всегда иметь их под рукой и не испортить подлинника частым перелистыванием. Но еще не закончил, да и не тороплюсь. Какое-то удивительно нежное и радостное чувство испытываю я каждый раз, когда вспоминаю, что там, в ящике моего стола лежат подлинники — понимаете? — рукописи Теряна... Эти листки, исписанные его рукой... Когда мне бывает слишком грустно, я достаю их и смотрю... Словно солнце спрятано в ящике моего письменного стола... Эти шелковые листки, покрытые черными китайскими чернилами, исписанные чудесными, благородными буквами... Удивительно чистый и красивый почерк был у этого человека. Даже почерк нежный, как все его творчество — нежное и чистое. Это самая большая радость моей жизни — доставать время от времени эти рукописи и смотреть на них... „О, мой далекий друг, о Ваан Терян...“ (АИЧ, т. 6, с. 477).

254. *Наири* — см. примеч. 84.

255. *Л. Б.* — сын армянского художника Г. Башинджагяна, Леон Георгиевич Башинджагян (1894—1938), работавший в начале 1921 г. в Наркомпросе Армении секретарем отдела искусства, которым в то время заведовал Чаренц. Впоследствии лингвист, профессор Ленинградского гос. пед. института им. А. И. Герцена.

257. Эпиграф — из стих. В. Брюсова «Кинжал».

260. *Кантон* — город в Китае, где в декабре 1927 г. вспыхнуло вооруженное восстание революционных рабочих и солдат, в результате которого был образован Совет Народных Комиссаров. Однако восстание было жестоко подавлено Чан Кай-ши.

264. *Нарек* — Григор Нарекаци (см. примеч. 108). Нареком также называют «Книгу скорбных песнопений» — основное сочинение Нарекаци. *Туманян Ованес* (1869—1923) — армянский поэт.

265—267. *О. Т.* — Ованес Туманян. *Лориец гениальный* — О. Туманян родился в области Лори, ныне Туманянский и Степанаванский районы Армении.

272. *Терян* — см. примеч. 250—252.

274. *Брюсов* Валерий Яковлевич (1873—1924) — русский поэт, переводчик, критик, ученый. В 1916 г. в Москве была издана антология «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней», в которой Брюсов выступал как редактор, переводчик и автор обширнейшего вступительного историко-литературного очерка. Кроме того, Брюсов написал «Летопись исторических судеб армянского народа» и неоднократно выступал в Москве, а также в Баку, Тифлисе и Ереване с публичными лекциями и докладами об истории и поэзии Армении, с чтением своих переводов. *Когда постигли нас и скорбь, и разрушение, Ты с нами был.* Брюсов приступил к работе над антологией «Поэзия Армении...» в конце июня 1915 г., в самый разгар геноцида

армян в Османской Турции, в результате которого была истреблена значительная часть армянского народа (свыше полутора миллионов человек). Избиение армян в Турции продолжалось и в 1916 г. В этих условиях антология приобретала не только литературное, но и общественно-политическое значение: она показывала миру, что варварскому истреблению подвергается народ высокой древней культуры, создавший неограниченные художественные творения. *И восхитил тебя во тьме таинный клад. Объясняя причины, побудившие его глубоко изучать и вдохновенно пропагандировать поэзию и историю армянского народа, Брюсов в предисловии к антологии писал: «В изучении Армении я нашел неиссякаемый источник высших, духовных радостей... Как историк, как человек науки, я увидел в истории Армении целый самобытный мир, в котором тысячи интереснейших, сложных вопросов будили научное любопытство, а как поэт, как художник, я увидел в поэзии Армении такой же самобытный мир красоты, новую, раньше неизвестную мне, вселенную, в которой блистали и светились высокие создания подлинного художественного творчества» («Поэзия Армении...», М., 1916, с. 6). *Народа-гения ты вынес дар бесценный.* Брюсов перевел свыше 170 произведений армянской поэзии с древнейших времен до первой четверти XX в. Он впервые познакомил русского читателя с образцами армянской народной древней и средневековой поэзии, с творчеством многих поэтов нового времени. «Имя В. Я. Брюсова живет в сердце армянского народа, — писал Аветик Исаакян. — С глубокой признательностью он всегда помнит своего большого и бескорыстного друга» (Ав. Исаакян, Собр. соч. в четырех томах (на арм. яз.), т. 4, с. 150, Ереван, 1951). Имя Брюсова окружено в Советской Армении всеобщим уважением и любовью.*

277. В конце декабря 1935 г. в составе правительственной делегации Армянской ССР Чаренц выезжал в Баку для участия в праздновании 15-й годовщины установления Советской власти в Азербайджане. Глава делегации А. М. Егиазарян, бывший в то время наркомом просвещения Армении, вспоминает: «Гроном аплодисментов встретил зал делегатов армянского народа... Все мы были тронуты этим теплым, сердечным приемом. Чаренц был глубоко взволнован. «Как хорошо! Как хорошо! Как это волнует!» — говорил он... В те дни Чаренца отовсюду приглашали для встреч и выступлений... Он был доволен, очень доволен и не скрывал этого от окружающих. Но в то же время надо сказать, что Чаренц был ослеплен этими овациями... В своих выступлениях перед восторженно слушающей его аудиторией он говорил не о себе, не о своем значении или творчестве, а о современном положении советской литературы, о путях ее развития, о том, чтобы сделать литературу достоянием трудящихся масс» (сб. «Воспоминания о Егише Чаренце» (на арм. яз.), Ереван, 1961, с. 253—254). Чаренц пробыл в Баку десять дней, побывал на заводах, в научных и учебных заведениях, встречался с писателями. Особенно близкие дружеские отношения установились у него с азербайджанскими писателями С. Вургуном и М. Мушвигом. В своем выступлении на приеме в Совнарком Азербайджана, обобщая впечатления от бакинских встреч, Чаренц говорил: «Самое основное, что мне бросилось в глаза и чем я особенно был поражен, это — интернационализм. Мне кажется, не будет преувеличением, если я скажу, что в

целом в Советском Союзе национальная политика Ленина имеет величайший исторический смысл для всего мира. И если бы у меня спросили, на каком конкретном примере наглядно можно показать величие национальной политики, я бы ответил: „Поезжайте в Азербайджан!“» (АИЧ, т. 6, с. 349).

278. *Бамбир* — древний музыкальный инструмент.

279. *Таманян Александр* Иванович (1878—1936) — архитектор, автор генерального плана застройки Еревана, создатель современного национального стиля в армянской архитектуре.

281. *Изабелла* Чаренц-Ниязян (1909—1969) — вторая жена поэта (с 1931 г.).

282. *Комитас* (С. Г. Согомонян, 1869—1935) — армянский композитор. Умер в Париже. Прах его был перевезен в 1936 г. в Ереван и захоронен в Пантеоне.

283. *Манон Леско* — героиня романа французского писателя д'Экзюля Прево (1697—1763) «История кавалера Де Грие и Манон Леско».

284. *Арпик* — см. примеч. на с. 490.

287. Последнее из известных стихотворений Чаренца. *Аветик Исаакян* (1875—1957) — армянский поэт.

ПОЭМЫ И БАЛЛАДЫ

288. Поэма впервые была издана отд. изд. в Тифлисе в 1915 г. Для «Собрания сочинений» (т. 2, М., 1922) Е. Чаренц ее основательно переработал и сопроводил подзаголовком: «Отрывки из незавершенной поэмы». «Это не маловажное, а весьма существенное примечание, — пишет один из исследователей творчества Е. Чаренца. — Дело в том, что первый вариант «Синеглазой родины» даже приблизительно не представлял действительного трагического положения родины. Это значит, что Чаренц... идею родины воспринимал еще в пределах далекой сказки и мечты. Первый вариант «Синеглазой родины» — прямое продолжение «Часов видений», свидетельство тех же переживаний. Впоследствии... во втором варианте Чаренц сделал текстовые дополнения, углубляющие трагическое содержание поэмы, и текстовые сокращения, ослабляющие ее аллегорическое, мистическое дыхание» (С. Агабабян, Егише Чаренц (на арм. яз.), кн. 1, Ереван, 1973, с. 104—105). *Ваагн* (арм. миф.) — бог грозы, грома, молнии.

289. В первом армянском издании поэмы, вышедшем в 1916 г. в Тифлисе, после даты написания значилось: «Турция — Персия, военный фронт». В «Собрании сочинений» (т. 2, М., 1922) поэма имела подзаголовок: «Воспоминания с поля войны» и посвящение: «Моим товарищам-мученикам Михрану Маргаряну, Степану Казаряну и

Ашоту Миллиончяну, павшим на поле Сулдуза 25 декабря 1915 года». *Астхик* (арм. миф.) — богиня любви и красоты.

290. Эпиграф — из стих. русского поэта-символиста Вячеслава Иванова (1866—1949) «Кочевники красоты». *Аттила* (ум. 453) — жестокий вождь гуннов, азиатских кочевых племен, совершивших в V в. опустошительные походы на территорию ряда европейских стран. *Железным кулаком стучусь в ворота Рима*. Во время своего последнего похода, за год до смерти, Аттила был на подступах к Риму. *И в золотой свой лягу саркофаг*. Тело Аттилы, убитого молодой женой, отомстившей ему за уничтожение ее народа, положили в три гроба: золотой, серебряный и железный. В одной из статей 1922 г., касаясь этой поэмы, Чаренц писал, что «в ней изображен царь гуннов могучий Аттила, как страшная угроза войны, которая висит над буржуазным общественным строем и будет висеть, пока этот строй существует» (АИЧ, т. 6, с. 34—35).

291. *Сома* — см. примеч. 489. В первом армянском издании поэмы, вышедшем в декабре 1918 г. в Тифлисе, в конце поэмы помета: «Написано в Царицыне, в июне — июле 1918 г., в революционной Красной Армии». В первых изданиях «Сома» имела подзаголовок «Новая ведическая поэма» и эпиграф из «Ригведы»: «Сома, ты последняя свобода. . .». *Ганг* — священная река в Индии, которой поклоняются и у которой имеются свои жрецы. *Агни* — древнеиндийское божество огня.

293. Фрагмент первой из трех «радиопэм», вышедших в 1920 г. в Ереване отдельной книжкой под общим названием «Всем, всем, всем» (см. вступит. статью, с. 20). *Наири* — см. примеч. 84.

294. Поэма впервые полностью напечатана в «Собрании сочинений» (т. 2, М., 1922) с подзаголовком «Агитпоэма для народа». *И вот крестьянин один, мужик обыкновенный* и далее. Речь идет о крестьянском восстании в России в 1667—1671 гг. под предводительством Степана Разина. *Есть заступник новый* — предводитель крестьянской войны в России в 1773—1775 гг. Емельян Пугачев. *Когда в России война у дальних шла берегов*. Первая русская революция 1905 г. началась в то время, когда Россия вела войну с Японией.

295. Перевод поэмы выполнен В. Я. Брюсовым по ее первому варианту, который несколько отличается от второго (1927 г.). *Айастан* — см. примеч. 123. *Муш*, *Битлис*, *Ван*, *Басен* — города в Западной Армении. *Верден* (1844—1896) — см. примеч. 170. *Терян* — см. примеч. 250—252. *Эдгар По* — см. примеч. 149. *Эчмиадзин* — древнейший собор Армении близ Еревана (построен в 303 г.), ставший религиозным центром всех армян и местопребыванием главы армяно-григоринанской церкви (католикоса). *Муша*, мшак — рабочий, труженик. *Верден* (город на северо-востоке Франции) — во время первой мировой войны один из основных районов военных действий между Францией и Германией, сопровождавшихся огромными человеческими потерями. *Андраник-паша* — генерал Андраник Озаян (1866—1927), герой национально-освободительной борьбы армянского народа против турецкого ига, в годы первой мировой войны командовал армян-

скими добровольческими отрядами. *Джанбездар* (турецк.) — усталый. *«Мер Айреник»* («Наша Родина») — дашнакский гимн. *Нзир* — см. примеч. 84. *Шесть вилайетов*. Имеется в виду шесть областей исторической Армении, ныне на территории Турции. *Шли за зубья Карпатских гор*. Имеется в виду неудачное Карпатское наступление русской армии в январе — апреле 1915 г. *Или жгли Реймский собор*. Знаменитый Реймский собор во Франции был сильно поврежден немецкой артиллерией во время первой мировой войны. *Масис* — Арарат. *Прогрел броневик*. Речь идет о бронепоезде «Вардан Зоравар» (см. примеч. 313). *«Титаник»* — громаднейший в свое время французский пароход, трагически потонувший в 1912 г. в Атлантическом океане.

296. *Мемфис, Фивы* — города Древнего Египта.

297. Впервые поэма напечатана в «Собрании сочинений» (т. 2, М., 1922) с эпиграфом: «Москва, Москва, ты Меккой мне, Москва, а Кремль твой — сладость черная Каабы». — А. Кусиков. «Искандер-наме». Поэма имеет автобиографическую основу. *Моя родина — ханский Маку*. В иранском городе Маку родились отец и мать поэта. По свидетельству старшего брата Чаренца Сероба Согомоняна, в 1883 г. они переехали в Эрзерум, а с 1886 г. обосновались в Карсе, где и родился будущий поэт. *А теперь послушайте, люди, Чаренца шахнаме*. Автор имеет в виду поведать о своем жизненном пути так же последовательно, как в эпосе «Шахнаме» Фирдоуси рассказал о жизни и делах иранских шахов. *Вижу мать*. Мать поэта — Текле Согомонян (ум. в 1932 г. в Майкопе). *Вот отец*. Отец поэта — Абгар Согомонян, торговец коврами (ум. в 1919 г. в Майкопе). *Чуха* — верхняя мужская одежда. *Лачак* — платок, косынка. *Ормузд* — древнеперсидское высшее божество, бог света и добра. *Апи* — отец. *В школу Однажды свела меня*. Чаренц учился в Карсе сперва в русской школе, а с 1907 г. — в реальном училище. *Астхик Кондахчян* — см. примеч. 488. *«Три песни...»* — первая книжка стихотворений поэта «Три песни бледнопечальной девушке», посвященная Астхик Кондахчян. *Я из сада в Карсе Очутился В армии*. В 1915 г. Чаренц служил в 7-й добровольческой армянской армии, участвовавшей в военных действиях на турецком фронте. *Рубен, Вардан* — имена участников обороны Вана в 1915 г. *«Гир»* (арм. «письменность») — название книжного магазина в дореволюционном Тифлисе. *Книжонку малосенькую положил*. Имеется в виду поэма «Дантова легенда», изданная отдельной книжкой в Тифлисе в 1916 г. *В пятнадцатом году, Когда я по Москве бродил*. Неточность автора: Чаренц впервые приехал в Москву в сентябре 1916 г. и пробыл там до апреля 1917 г. *Карине Котанчян* — см. примеч. на с. 489. *«Радуга»* — книга стихотворений Чаренца, вышедшая в 1917 г. в Москве и посвященная Карине Котанчян. *«Вечер», «Возвращение», «Утро»* — названия циклов стихотворений из «Жертвенного огня» Чаренца. *Сома* — см. примеч. на с. 489. *Люси Тараян* — см. примеч. на с. 489. *Этот бой не воспел я тогда же?* Имеется в виду поэма «Неистовые толпы», воспеваящая событие, о котором идет речь в 16-й главе «Чаренцнаме», где оно отнесено к 1919 г. (очевидно, ошибочно, так как «Неистовые толпы» автор датировал 1918 г.). *Хумбапет Дро*. Хумбапет — дословно: главарь отряда. Дро — Драстамат Канаян (1884—1964), военный

министр дашнакской Армении. *Масис* — см. примеч. 109. *Наири* — см. примеч. 84. *Сарухан* — Ованес Сарухян (1882—1920), большевик, один из активных деятелей революционного движения в Армении; во время Майского восстания 1920 г. был председателем ревкома Нор-Баязетского уезда (ныне район им. Камо), после подавления восстания расстрелян дашнаками. *Мусаел* — Саркис Мусаелян (1881—1920), большевик, один из руководителей Майского восстания, командовал вооруженными силами военно-революционного комитета Александрополя (ныне Леникан), расстрелян дашнаками. *Авис* — Авис Нуридзян (1896—1937), большевик, один из активных участников борьбы за Советскую власть в Армении, один из руководителей Майского восстания, после поражения которого продолжал революционную работу, являясь членом подпольного ЦК КП(б) Армении; в советские годы занимал ряд ответственных постов в Армении. *Тавакал* — Мнацакан Тавакалян (1892—1926), один из организаторов первой антидашнакской демонстрации трудящихся в Ереване в 1920 г., в 1921 г. был председателем Ереванского уездного ревкома. *Улица Астафян* — см. примеч. 123. *Я был Красной Армии бойцом, Наирской армии первой*. Во время контрреволюционной дашнакской авантюры 1921 г. (с 18 февраля по 2 апреля) Чаренц находился в рядах Красной Армии, сражавшейся на Камарлинском (Арташатском) фронте против дашнаков. *Арпик* — первая жена поэта (см. примеч. на с. 490). *Теперь я живу в Москве*. В период работы над поэмой Чаренц жил в Москве, где его жена училась в педагогическом институте. *Роберт Оуэн* — см. примеч. 129.

298. *Машина времени Уэллса*. Имеется в виду роман английского писателя-фантаста Герберта Уэллса (1866—1946) «Машина времени», герой которого при помощи этой машины проникает в далекое будущее. *ВЧК* — Всероссийская Чрезвычайная Комиссия. *Камилл Фламарион* (1842—1925) — французский астроном и писатель.

299. В 1924 г. «История пахаря Сако» была издана в Ереване отдельной книжкой с таким примечанием: «Эта агитпоэма написана специально к кампании по поводу десятилетия империалистической войны». *Лаваш* — тонко раскатанный хлеб. *Гюмри* — см. примеч. 125. *Железный у депо дракон*. Имеется в виду бронепоезд «Вардан Зоравар» (см. примеч. 313). *Баязет* — Нор Баязет, город в Армении (ныне г. Камо). *Сепух-маузерист* — дашнакский военачальник, палач Майского восстания 1920 г. в Армении. «*Пахарь*» (арм. «Мачкал») — крестьянская газета, издававшаяся в 1922—1931 гг. в Ереване.

300. В основу сюжета баллады лег действительный факт, о котором было рассказано в корреспонденции А. Зорича «„Знакомый“ Ленина», напечатанной в номере газеты «Правда» от 26 января 1924 г. Содержание этой корреспонденции в связи с балладой Чаренца изложено К. Калантаром в статье под тем же названием «„Знакомый“ Ленина», опубликованной в «Литературной газете», 1968, 18 сентября.

301. *А теперь вот поляков Антанта на нас повела*. Речь идет о спровоцированном империалистическими державами нападении польской Польши на Советскую Россию в апреле 1920 г.

302. В ноябре 1924 г. Е. Чаренц выехал за границу, где пробыл свыше семи месяцев (до июня 1925 г.). Он побывал в Турции, Греции, Италии, Франции, Германии. Первым иностранным городом, где на короткое время остановился поэт, был турецкий порт Трабзон (Трапезунд). Здесь 24 ноября 1924 г. и написана поэма «Ленин и Али». Первые публикации поэмы сопровождались следующим примечанием автора: «Материал поэмы взят из действительности. Наш советский консул в Трапезунде рассказал мне, что, как только весть о смерти Ленина достигла Трапезунда, в полночь к нему пришел турецкий матрос по имени Али, чтобы выразить свою скорбь и уважение. Думаю, этот факт достоин лучшей поэмы, чем эта» (АИЧ, т. 2, с. 350). *Мекка* — город в Аравии, где, по преданию, родился легендарный основатель ислама Магомет; является главным местом паломничества верующих мусульман. *Халиф* — титул верховного правителя мусульман, совмещавшего светскую и духовную власть; этот титул имел и турецкий султан. *Фухара* (турецк.) — бедняк. *Ага* (турецк.) — хозяин, господин, начальник. *Урус* (турецк.) — русский. *Чок* (турецк.) — очень. *Вар* (турецк.) — есть. *Ек* (турецк.) — нет. *Занги* (турецк.) — богатый, богач. *Салам* (турецк.) — привет. «*Консулат рус*» — русское консульство. *Архадаш* (турецк.) — товарищ.

303. Написана в декабре 1924 г. в Стамбуле. Печ. с некоторыми сокращениями. *Мустафа Субхи* (1883—1921) — один из основателей компартии Турции; в январе 1921 г. при возвращении из Советской России на родину вместе с группой товарищей-коммунистов был убит в Трабзоне. *Фатих* (турецк.) — завоеватель; это прозвище было дано турецкому султану Мехмеду II (время правления 1451—1481), завоевавшему Константинополь; отличался редкой жестокостью. *Айя-София* — знаменитый византийский храм, воздвигнутый императором Юстинианом в Константинополе в VI в. *Перá, Галáта* — кварталы в Стамбуле. *Мечит* — турецкий султан Абдул-Меджит (время правления 1839—1861). *Полис* (греч.) — город. *Кемаль* — Мустафа Кемаль-паша (1881—1938), основатель и первый президент (с 1923 г.) Турецкой республики. «*Токатлян*», «*Splendid*» — отели-рестораны в Стамбуле тех лет. *Эфенди* (турецк.) — господин (обращение). *Лориган-Коти* — известная французская фирма, выпускающая парфюмерию. *Кулидж* Калвин (1872—1933) — президент США в 1923—1929 гг. *Чемберлен* Остин (1863—1937) — министр иностранных дел Великобритании в 1924—1929 гг. *Феска* — мужской головной убор в форме усеченного конуса. *Пластрон* (франц.) — накрахмаленная грудь мужской верхней сорочки, которую носят под фраком или смокингом. *Матрос Али* — герой поэмы Чаренца «Ленин и Али».

304. *Мясникян* (Мясников) Александр Федорович (1886—1925) — партийный и государственный деятель, а также литературный критик и публицист, выступавший в печати под псевдонимом «Ал. Мартуни»; активный участник революционного движения в Закавказье и Москве. После Октябрьской революции — главнокомандующий войсками Западного фронта. Один из организаторов Советской власти в Белоруссии. В 1919—1920 гг. — секретарь Московского комитета партии. В 1921—1922 гг. — первый председатель Совнаркома Армении. После образования ЗСФСР — секретарь Закрайкома партии. Погиб в марте

1925 г. при аварии самолета. Весть о гибели Мясникяна застала Чаренца в Италии и глубоко потрясла его. Поэт неоднократно встречался с Мясникяном, писал ему письма (см. вступит. статью, с. 33). Именно Мясникян содействовал Чаренцу в получении заграничной командировки. В дни пребывания в Париже поэт встретился с находившимся там своим старым знакомым Анушавагом Джиждеджяном. В своих воспоминаниях Джиждеджян пишет: «Первое, что он (Чаренц. — *Ред.*) захотел увидеть, — это Пер-Лашез, Стена коммунаров. С полчаса молча стояли мы у этой стены. . . Впечатление от Стены коммунаров было столь глубоким и сильным, что он, не дожидаясь возвращения в Ереван, начал в Париже писать и в Берлине закончил поэму о Стене» (сб. «Воспоминания о Егише Чаренце» (на арм. яз.), Ереван, 1961, с. 286). *Стена коммунаров* — это архитектурный комплекс-памятник на кладбище Пер-Лашез, где похоронены коммунары; памятник воссоздает в камне момент расстрела геросез и фигуру прикрывающей их женщины, которая олицетворяет революцию. «*La Commune est morte, Vive la Commune!*» (франц.) — «Коммуна умерла, да здравствует Коммуна!» — лозунг, провозглашенный в дни поражения Парижской Коммуны. *Галиффе* Гастон (1830—1909) — французский генерал, подавивший Парижскую Коммуну (1871). *Тьер* Адольф (1797—1877) — французский государственный деятель. Во время Парижской Коммуны, будучи главой республики, бежал в Версаль и оттуда руководил борьбой против Коммуны и организацией белого террора. К. Маркс назвал его палачом Парижской Коммуны. «*Сиу*» — одна из торговых фирм в царской России. «*Бодло*» (Э. Бодло и К⁰) — товарищество по торговле мылом и духами в царской России. *Зангу* (Раздан) — см. примеч. 128. *Пляс Этюаль* (этуаль — звезда) — одна из площадей Парижа, от которой лучами расходятся пять улиц.

305. Элегия состоит из восьми глав и написана под впечатлением встреч и бесед в Венеции с Аветиком Исаакяном (см. примеч. 287), который с 1911 г. жил за границей. В своих воспоминаниях о Чаренце А. Исаакян писал: «Он приехал ко мне из Рима. Первое впечатление, которое он произвел на меня, было не блестящим. Щуплый, низкорослый. Но глаза умные, мыслящие. Он пробыл в Венеции целый месяц, и мы очень глубоко подружились, сблизились. Весь день были вместе. Рано утром он приходил к нам из гостиницы и оставался до поздней ночи. Мы бродили по чудесной Венеции — по каналам, на гондолах, ходили на берег моря. . . Говорили без конца обо всем — о науке, литературе, философии, революции, обо всех больших вопросах, какие только существуют, а также о маленьких вопросах, которые волнуют людей. . . Вместе с Егише мы проводили время в разных кафе на площади святого Марка. Эта площадь была полна голубей, которых называли голубями святого Марка. — их было тысячи, десятки тысяч, и правительство кормило их. Тут же, на площади, продавали корм для голубей — зерно, горох. Люди, особенно туристы, постоянно фотографировались здесь, держа горох в ладони. Голуби подлетали, чтобы поклевать, садились людям на плечи и на шляпы. Мы с Чаренцем тоже сфотографировались на площади святого Марка вместе с голубями. Чаренц был счастлив, что на него сели три-четыре голубя, а моя рука осталась пустой. Чаренц был

мыслящей, образованной, широко эрудированной личностью с беспокойным, мятежным и кипучим характером. Он знал литературы многих народов и имел хороший вкус» (сб. «Воспоминания о Егише Чаренце» (на арм. яз.), Ереван, 1961, с. 19—20). Через год после встречи с Чаренцем Исаакян надолго приехал в Армению, а в 1936 г. вернулся на родину окончательно. *Арпачай* (Ахурян) — река в *Шираке* — той области Армении, где родился и провел детство А. Исаакян. *Гюмри* — см. примеч. 125. *Заро* — героиня поэмы Исаакяна «Песни Алагяза». *Тобой прославленный баштан*. Имеется в виду стих. Исаакяна «Был бы на Аразе у меня баштан...» (перевод А. Блока).

306. *Красный Командор* — Степан Георгиевич Шаумян (1878—1918), партийный и государственный деятель, руководитель Бакинской Коммуны, председатель Бакинского Совнаркома, образованного 25 апреля 1918 г. и просуществовавшего до 31 июля того же года, когда под натиском иностранных интервентов и внутренней контрреволюции Советская власть в Баку временно пала; расстрелян в числе 26 бакинских комиссаров английскими интервентами при участии эсеров 20 сентября 1918 г. в закаспийских степях Туркмении. *Энзели* — город в Иране. *Баилов, Балаханы* — районы бакинских нефтяных промыслов. *Джaparидзе* (Алеша) Прокофий Апраисионович (1880—1918) — партийный и государственный деятель, комиссар внутренних дел Бакинского Совнаркома, расстрелян в числе 26 бакинских комиссаров.

307. *Томсон* — командующий английскими вооруженными силами в Северном Иране, в ноябре 1918 г. захватил Баку и объявил себя генерал-губернатором. *Гудбай* (англ.) — до свидания.

308. *Липо* — Липарит Мхчян (1894—1921), деятель революционного движения в Армении, комиссар 1-й армянской стрелковой бригады, сражавшейся против дашнаков во время их контрреволюционной авантюры в феврале — марте 1921 г. Среди сражавшихся был и Егише Чаренц — боец коммунистического отряда. *Сад Коммунаров* — парк в Ереване, где похоронен Л. Мхчян.

309. Поэма написана в ноябре-декабре 1928 г. Впервые напечатана в журн. «Нор уги» («Новый путь»), 1929, № 1, с подзаголовком «Отрывок из первой главы стихотворного романа „Восстание“». Замысел этого романа остался неосуществленным. *Хумбапет* (арм.) — см. примеч. 297. *Игдирец* — выходец из армянского города Игдира (ныне на территории Турции). *Качах* (турец.) — разбойник. *Дро* — см. примеч. 297. *Ашират* (араб.) — род, племя, семья. *Алагёз* (Арагац) — гора в Армении. *Хнус, Алашкерт* — районы Западной Армении. *Алекполь* — сокращенное название Александрополя (ныне: Леникан). *Курбан сяни! Сян мяным игитым!*. *Эрмяни! Мян сяварым сани, игит!* (азерб.) — «Дорогой мой! Ты мой храбрец!.. Армянин! Я люблю тебя, храбрец!»

310. Эпиграф — из стих. «Три тополя» армянского советского писателя Гургена Маари (Гургена Григорьевича Аджемяна, 1903—1969), автора романов «Детство», «Юность» и др. *Де Амичис* Эдмон-

до (1846—1908) — итальянский писатель, автор повести «Сердце. Записки школьника» и др. *Зорян* (Стефан Егнаевич Аракелян, 1890—1967) — армянский советский писатель, автор «Истории одной жизни» и др. произведений. *Вчера Верхарном стал один поэт*. Здесь и в следующей октаве Чаренц намекает на предисловие А. В. Луначарского к сборнику стихов Акопа Акопяна «Новое утро» (М.—Л., 1928), где, между прочим, говорится: «Давным-давно познакомились мы и подружались с армянским поэтом-революционером Акопом Акопяном... Люди, знавшие его произведения лучше, чем я (я не владею армянским языком и только впоследствии смог как следует познакомиться с его творчеством), говорили мне тогда еще, что это действительно наш армянский Верхарн... Действительно, у Акопа Акопяна есть много общих черт с Верхарном. Даже форма Акопа Акопяна часто приближается к тому вольному стиху, которому отдавал предпочтение Верхарн. И это неспроста. Ритм труда, ритм очень горячего, протестующего сердца требует такого разнообразия музыки, такой живой и отзывчивой мелодии» (А. В. Луначарский, Статьи о советской литературе, М., 1958, с. 435). *Вольтер* (Франсуа-Мари Аруэ, 1694—1778) — французский писатель и философ, автор многих художественных произведений, в том числе и поэмы «Орлеанская девственница». *Гиль* (Гильбер Рене, 1862—1925) — французский поэт, теоретик «научной поэзии». *Буало* (Буало-Депрео Никола, 1636—1711) — французский поэт, критик, автор трактата в стихах «Поэтическое искусство», в котором сформулированы основные принципы и правила классицизма.

311. Поэма впервые опубликована в «Книге пути». *Норк* (арм.) — повесть. Так называется и поселок, являющийся ныне северо-восточной окраиной Еревана. *Терян* — см. примеч. 250—252. В строфах 10-й и 11-й речь идет о геноциде армян в Османской империи, в 13-й строфе — о господстве дашнаков в Армении. *Последний Наури поэт*. Имеется в виду Ваан Терян, написавший стихотворение «Ужель поэт последний я?..» (Перевод В. Брюсова). *Гусан* — народный поэт-певец.

312. *Масис* — см. примеч. 109. *Аксель Бакунц* (см. примеч. 153), глубоко и обстоятельно изучавший жизнь и деятельность армянского писателя-просветителя, основоположника новой армянской литературы Хачатура Абовяна (1809—1848)¹, в 1932 г. опубликовал ценное исследование о нем, а также посвятил ему незавершенный роман «Хачатур Абовян». Чаренц хорошо был знаком с этими работами своего друга. В поэме «К горе Масису» поэт рассказывает о последней ночи жизни Абовяна, о его мыслях, чувствах и переживаниях перед тем, как на рассвете 2 апреля 1848 г. он вышел из дому и бесследно исчез. *Записок дерптских...* В 1830—1836 гг. Абовян учился в Дерптском (ныне Тартуском) университете в Эстонии. *Встал образ юной девушки пред ним*. Речь идет о Шарлотте Шульц — девушке, которую любил Абовян в студенческие годы в Дерпте. Об этом свидетельствуют сохранившиеся в архиве Абовяна дневниковые записки и «го-

¹ Указывается дата рождения, установленная в недавнее время и принятая исследователями жизни и творчества Х. Абовяна.

любоватый маленький листок» Шарлотты, исписанный «готической вязью». Сражение за крепость Ереван. В русско-персидской войне 1826—1828 гг. Эриванская крепость явилась мощным опорным пунктом персов в Армении. Она была взята 1 октября 1827 г. русскими войсками под командованием генерала Паскевича, получившего титул «графа Эриванского». В результате этой войны Восточная Армения была освобождена от персидского ига и присоединена к России. В романе «Раны Армении» Абовян восторженно приветствовал русскую армию-освободительницу. Герой романа — армянский партизан Агаси — храбро сражался вместе с русскими войсками и пал при взятии Эриванской крепости. *Баяти* (азерб.) — грустная, жалобная песня. *Учитель.* Имеется в виду профессор Дерптского университета Фридрих Паррот (1791—1841), который в 1829 г. совершил восхождение на вершину Арарата, взяв с собой в качестве проводника и переводчика юного Абовяна. Именно Паррот предложил Абовяну посхать в Дерптский университет и оказывал ему там содействие.

313. Впервые напечатана в «Книге пути». *Вардан Зоравар.* Зоравар (арм.) — полководец. Вардан — армянский полководец V в. Вардан Мамиконян, руководил восстанием против персидских угнетателей и погиб в 451 г. в битве на поле Аварайра, недалеко от реки Аракса. Национальный армянский герой. Его именем был назван дашнакский бронепоезд. В поэме показывается, как командир бронепоезда капитан Саркис Мусаелян (см. примеч. 297) отказался выполнить приказ дашнакского правительства о возвращении из Александрополя в Ереван и открыто присоединился к Майскому восстанию, став одним из его руководителей. В своем докладе краевому комитету РКП(б), написанном в Александропольской тюрьме 6 июня 1920 г., в день, когда дашнаки приговорили его к расстрелу, Мусаелян отмечал: «Меня приглашали в Эривань, чтобы арестовать и отнять бронепоезд. Подчиниться этому приказу означало лишиться боевого бронепоезда республики Армении и погубить нашу организацию» («Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти в Армении» (сборник документов), Ереван, 1957, с. 362). *Авис* — см. примеч. 297. *Дро, Сепух* — дашнакские военачальники (см. примеч. 297 и 299). *А школьная сцена была Аварайром.* В дореволюционных армянских школах в день праздника Вардана Зоравара нередко ставились пьесы об Аварайрской битве.

314. *Requiem aeternam* (лат.) — вечный покой. *Комитас* — см. примеч. 282. *Лир* — герой трагедии Шекспира «Король Лир». *Насела сумрачная мела На дух твой сокрушенный.* Очевидец резни армян в Турции в 1915 г., Комитас испытал страшное душевное потрясение, в результате которого навсегда лишился рассудка. *Но в лапах новых заправил.* Речь идет о дашнаках.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис*. Е. Чаренц. Портрет работы М. Сарьяна. 1923 г.
2. *Между с. 80 и 81*. Е. Чаренц. Фотография. 1919 г. (?).
3. *На обороте*. Е. Чаренц. Портрет работы Е. Лансере. 1926 г.
4. *Между с. 112 и 113*. Поэты А. Исаакян, Е. Чаренц, А. Вартапян, сын О. Туманяна — Гамлик Туманян. Фотография. 1927 г.
5. *На обороте*. Е. Чаренц, Г. Маари у скульптурного портрета В. Теряна в Литературном музее. Фотография. 1932 г.
6. *Между с. 208 и 209*. Е. Чаренц. Фотография. 1932 г.
7. *На обороте*. Е. Чаренц в рабочем кабинете. Фотография. 1933 г.
8. *Между с. 240 и 241*. Е. Чаренц с дочерьми. Фотография. Начало 1936 г.
9. *На обороте*. Е. Чаренц. Рисунок худ. А. Бажбеука. 23 января 1936 г.

Оригиналы иллюстраций хранятся в Музее литературы и искусства им. Е. Чаренца Министерства культуры Армянской ССР (Ереван).

СОДЕРЖАНИЕ¹

Поэзия Егише Чаренца. <i>Вступительная статья</i> <u>А. Н. Салахьян</u> и Э. С. Тэпчяна	5
--	---

СТИХОТВОРЕНИЯ

ТРИ ПЕСНИ ВЛЕДНОПЕЧАЛЬНОЙ ДЕВУШКИ

Перевод М. Павловой

*1. В дороге	45
*2. Бессонной ночью	46
*3. День поминовения усопших	49

СТРАНА ОГНЯ

Перевод П. Вегина

*4. «И в тумане стелящемся...»	50
*5. «Но ты приближалась, твое приближенье...»	50
*6. «И ты приблизилась, и огненные, жаркие...»	51
*7. «О, не той была, не той...»	51
*8. «...И выплакала ты, и сразу стало легче...»	51

ЧАСЫ ВИДЕНИЙ

*9. «Бульвар безлюден был. В закатный час...» <i>Перевод Т. Спендиаровой</i>	52
*10. «И опускался в сердце мне покой...» <i>Перевод Т. Спендиаровой</i>	52
11. На родине. <i>Перевод А. Ахматовой</i>	53

¹ Знаком * отмечены стихотворения, переведенные на русский язык впервые, знаком ** отмечены стихотворения, публикуемые в новом переводе.

Радуга

- *12. «Я — звездный псэт, в голубом лабиринте плутаю твоём...»
Перевод Е. Николаевской 54
- *13—14. Р а д у г а. *Перевод Е. Николаевской*
1. «Девушка, как абажур, голубая, с глазами мадонны...» 54
2. «Три цвета есть в стране твоей мечты...» 55
- *15—17. Г о л у б о е. *Перевод Е. Николаевской*
1. «Голубое — молитва души и мольба...» 56
2. «До золота солнца, до света...» 56
3. «Чувствую ранним утром — пока...» 57
- *18—24. З о л о т о е. *Перевод Е. Николаевской*
1. «На заре тонет золото солнца — в голубизне...» 57
2. «Почему солнца луч закрывает...» 58
3. «В печали ты. Но золото светила...» 58
4. «Волны перед тишью мироздания...» 59
5. «Золотым мотыльком — солнце над головою...» 59
6. «И слабеет оно, догорая...» 60
7. «Спускается туман — предвестник холода...» 60
- *25—28. Л и л о в о е. *Перевод Е. Николаевской*
1. «После золота, брызжущего в синеве...» 61
2. «Во влажной синеве твоих прозрачных глаз...» 61
3. «Был вечер. Сплетались с вечерней печалью...» 61
4. «Мечты обожглись, пролетели... Но над пустотой...» 62
- 29—30. В е ч е р п р о щ а н ь я. *Перевод А. Тарковского*
1. «Ты пришла, ты была мне сестры родней...» 63
2. «Ты уходишь, но сердце тебя зовет...» 63
-

ЖЕРТВЕННЫЙ ОГОНЬ

Перевод Е. Николаевской

- *31—45. В е ч е р
1. «Та же тоска безутешная, то же сиротство...» 64
2. «Огонь пожирает сейчас твоё тело священное...» 64
3. «Путь один в небеса — путь привычный и старый...» 65
4. «О сестра, твоё тело — как вечер весенний...» 65
5. «Вот очи твои — без мечты, без ответа...» 65
6. «Голубая тоска умерла. Растворилась в огне...» 66
7. «Голубая тоска ничего, ничего не дала...» 66
8. «На синеем озере в синей дали...» 66
9. «Веселье в грудь вошло, не умаляя боли...» 67
10. «Коснулась нивы, словно жгучая печать...» 67
11. «В дальнем поле меня ждёт бессонно мой дом...» 68
12. «Еще не растворился в облаках...» 68
13. «Хоть я стал молчаливым, смиренным, покорным...» 68

14. «В этой огненно-красной, священной, пылающей мгле...»	69
15. «Погружается солнце во тьму...»	70
46. Возвращение. <i>Перевод В. Соколова</i>	70
47—65. Утро. <i>Перевод М. Павловой</i>	
*1. «Как мои былые дни...»	73
*2. «Всё звонче речи, рифмы, слоги...»	74
*3. «Звучат дни, зовут...»	75
*4. «Я новою тоской объят, она — огонь и жар...»	75
*5. «“Вернись”, — манят меня...»	75
*6. «Ты — огненный призрак, сирена...»	76
*7. «Ты — как бронза...»	76
8. «О невеста, бронзоликая сестра...»	77
*9. «Душа, как жертва на костре, горит в потоке дней...»	78
10. «Красные кони несутся, летят...»	79
*11. «На дорогу я вышел один...»	79
*12. «Нить памяти связала нас...»	80
13. «Как родина моя в слезах, как родина моя во мгле...»	80
*14. «Горишь ты медленным огнем...»	80
15. «Я вижу дали пред лицом твоим...» <i>Перевод А. Ахматовой</i>	81
16. «Ты — смерть, ты — мгла небытия...»	81
17. «Горит далекая любовь...»	82
*18. «Вот встали вновь...»	82
19. «О, сколько гор, лугов...»	83

ВАШ ЭМАЛЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

(Галактические песни)

Перевод М. Павловой

66. Сонет («Могу ль Вас не любить, ведь Вы — источник све- та...»)	83
67. «Этот профиль, как с эмали...»	84
*68. «Как певец своей печали...»	84
69. «Я юн, почти дитя...»	85
**70. «Точно в сладостной дремоте...»	85
71. «Стихи текут, конца им нет...»	86
**72. «Тоска по Вас родит во мне...»	86
73. «Вы мне стихи читали...»	86
**74. «Когда я вижу лик Ваш нежный...»	87
*75. «Как старые бумажные цветы...»	87
*76. «Я сейчас благословляю...»	87
77—83. Триолеты	
1. «Ваши пальцы в этот вечер...»	88
*2. «Вы знаете, что там уже весна...»	88
3. «Шуршит, шуршит вокруг меня...»	88
4. «Поют равнина, ветер, море...»	89
**5. Интимный триолет	89
*6. «Я молча Вас любил, и грудь горела...»	89
7. «Звенят просторы звездной ночи...»	89

УЛИЧНОЙ ЩЕГОЛХЕ

84. В ужасе перед падением. *Перевод А. Тарковского* . . . 90
 85. Волшебство в парикмахерской. *Перевод А. Тарковского* . . . 91
 86. Собачья тоска. *Перевод А. Тарковского* 92
 87. Скоморох. *Перевод В. Лифшица* 93

ПЕСЕННИК

Перевод М. Павловой

88. Первое посвящение Арпик 95
 89. Второе посвящение Арпик 95
 90. «Я видел сон: Саят-Нова явился с кьяманчой в руках...» 95
 91. «Как наш ашуг Саят-Нова, за тагом таг я буду петь...» 96
 92. «Красавицу среди подруг увидел в Гюрджистане я...» . 97
 93. «Хочу, чтоб пела мне зурна, чтоб пил вино я до утра...» 97
 94. «Духанщик пьяный, вот кто я, да в бочках ни стакана нет...» 97
 95. «В одной руке вино, в другой арак...» 98
 96. «Мне звон колоколов приносит образ твой...» 98
 97. «Ты шла по улице, твой рот, как ковш вина, манил меня...» 99
 98. «Твоя уста — сосуд с огнем, сосуд благоуханный, джан...» 99
 99. «Опять придет весна и роза расцветет...» 100
 100. «Я книг до тысячи прочел, но сокровенной не нашел...» 100
 101. «Я много разных песен пел, нет песни лучше тага, брат...» 101
 102. «Довольно, хватит песни петь, тебе не надоело, брат?...» 101
 103. «Певцов полно, да песен тех, чтоб сердце укололи, нет...» 102
 104. «Когда я в этот мир пришел с моей любимой кьяманчой...» 102
 105. «Сад обошли, но розы роз красы вы не заметили...» . 103
 106. «Теперь бездомный я брожу, пою, желанную зову...» . 103
 107. «И я покину этот мир без промедленья — и уйду...» . 104
 108. Армении («Тысячи ран видала ты — увидишь опять...») 104
 109. «Я привкус солнца в языке Армении родной люблю...» 105

ВОСЬМИСТИШНЯ СОЛНЦУ

110. «Забросила железная рука...» *Перевод Т. Спендиаровой* 105
 111. «Пылающее, спелое светило...» *Перевод Т. Спендиаровой* 106
 112. «Как бедра девичьи, горяч и спел...» *Перевод Т. Спендиаровой* 106
 113. «Прекрасное горит, сжигая...» *Перевод А. Тарковского* . 106
 114. «Звенят подковы золотые...» *Перевод А. Тарковского* . 107
 115. «Я ржавчину и раны различаю...» *Перевод Т. Спендиаровой* 107
 116. «Я острым, окровавленным копьём...» *Перевод Т. Спендиаровой* 107
 117. «Как будто путь держу лучистым днем...» *Перевод Т. Спендиаровой* 108
 118. «Вгляни — штыки блистают золотые...» *Перевод Т. Спендиаровой* 108
 119. «Вновь восходящее светило...» *Перевод Т. Спендиаровой* 108
 120. «По бедрам пламенным своим ударила, смеясь...» *Перевод Т. Спендиаровой* 109

Поэзоурна

- *121. «В то время как вы...» *Перевод М. Павловой* 110
*122. «Вы когда-нибудь видели...» *Перевод М. Павловой* 110
*123. Армянская ССР. *Перевод М. Павловой* 112
*124. «На оранжевом диске солнца...» *Перевод М. Павловой* 115
125. Гюмри. *Перевод А. Тарковского* 115
**126. Свирель. *Перевод М. Павловой* 117
127. «Витрина дней и событий...» *Перевод А. Тарковского* . 113
128. Ереван. *Перевод А. Тарковского* 119
**129. Приход пара. *Перевод М. Павловой* 122

Комальманах

- *130. Всем поэтам. *Перевод Б. Слуцкого* 126
*131. III Интернационал — РКП. *Перевод Б. Слуцкого* 129
132. Ленин. *Перевод В. Баласана* 131

РУБАЙАТ

133. «Ты есть, ты дышишь, ты живешь. промчится миг — и ты другой...» *Перевод А. Тарковского* 134
*134. «И жизнь, и смерть — всего одно мгновенье...» *Перевод Н. Глазкова* 134
*135. «О, пей, пей жадно, до изнеможенья...» *Перевод Н. Глазкова* 134
136. «Смотри: перед тобой река, она течет и течет...» *Перевод А. Тарковского* 135
*137. «Прошел по городу один прохожий...» *Перевод Н. Глазкова* 135
*138. «И улыбаешься себе ты в миг любой...» *Перевод Н. Глазкова* 135
*139. «Ты пишешь золотым пером, твое премудро слово...» *Перевод Т. Спендиаровой* 135
**140. «Был гением, титаном Искандер...» *Перевод Н. Глазкова* 135
141. «Идет по улице богатый. Ах, до чего самодоволен!» *Перевод А. Гатова* 136
142. «В парадную входили дверь — и раем считали дом...» *Перевод А. Тарковского* 136
**143. «Сказал богатый дервиш, что сон мгновенный — жизнь...» *Перевод М. Павловой* 136
**144. «Богатым не был никогда — всю жизнь трудился ты...» *Перевод Т. Спендиаровой* 136
145. «В мятежный век ты в мире жил — ничто тебе не показалось вечным...» *Перевод А. Гатова* 137
146. «Твой разум был туман сплошной, теперь ты стал мудрецом...» *Перевод А. Тарковского* 137
*147. «Хочешь получить сполна раз и навсегда...» *Перевод М. Павловой* 137

Эпический рассвет

148. К моей Музе. *Перевод П. Карабана* 138

ОДЫ И РАЗДУМЬЯ

149. Песня борьбы. *Перевод Э. Александровой* 142
**150. Я теперь не тот. *Лирическая ода. Перевод В. Корчагина* 145
**151. Дашнакам. *Перевод В. Корчагина* 148
152. Послание из Еревана другу-поэту. *Перевод В. Цвелева* . 150
153. Послание из Ленинграда Акселю Бакунцу. *Перевод В. Цвелева* 155
154. Раздумье. *Перевод Б. Серебрякова* 159
155. Послание критику N.N. *Перевод В. Лифшица* 161

ЭЛЕГИИ И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

156. Эпическое утро. *Перевод А. Ахматовой* 164
157. Моей Музе. *Перевод В. Звягинцевой* 165
158. Сожженные песни. *Перевод В. Звягинцевой* 166
159. Песня океана. *Перевод В. Звягинцевой* 167
**160. Умершему поэту. *Перевод В. Корчагина* 169
161—162. Два сонета памяти Арпик. *Перевод В. Звягинцевой*
1. «Мой друг, любовь моя, товарищ смелый мой!..» 169
2. «В гигантском веке жить нам довелось...» . . . 170
163. В подвале Зимнего дворца. *Перевод А. Ахматовой* . . . 170

ЭПИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ

- **164. Чугунный человек. *Перевод А. Сендыка* 171
165. 25—26 октября 1917. *Фрагмент. Перевод А. Тарковского* 175

СТИХОТВОРНЫЕ НОВЕЛЛЫ

166. «Ното sapiens». *Перевод В. Лифшица* 179
167. Неожиданная встреча в Петропавловской крепости. *Перевод В. Баласана* 182
168. Великие будни. *Отрывок. Перевод В. Бугаевского* . . . 184
169. Кудрявый мальчик. *Перевод Б. Пастернака* 190

Лирический антракт

ARS POETICA

Перевод М. Павловой

- **170. «Как некроман, я полночи боюсь...» 193
**171. Полуночный эскиз 193
172. «Однажды, в хмурый предрассветный час...» 194
173. «Твои паденья — как погода...» 195

174.	«Они твердят, что я устал...»	195
175.	«Ты так велик, огромен и высок...»	195
176.	«Ленин! Ленин — но не митинговый...»	196
177.	«Тебе сияет солнце. В море света...»	196
178.	«Во всем сопротивленье матерьяла...»	196

ЭНГРАММЫ

Перевод В. Лифшица

179.	Он	197
180.	Эпитафия	197

Книга пути

ГИМНЫ И ЗАВЕТЫ

181.	Гимн любви, посвященный отважным юношам будущего <i>Перевод А. Ахматовой</i>	198
**182.	Приветственный гимн пришельцам <i>Перевод А. Сендыка</i>	200
**183.	Гимн отважному путнику. <i>Перевод М. Павловой</i>	201
**184.	Гимн книгам. <i>Перевод А. Сендыка</i>	202
**185.	Гимн художникам-миниатюристам. <i>Перевод А. Сендыка</i>	204
186.	Гимн природе. <i>Перевод И. Поступальского</i>	206
187.	Гимн умершим. <i>Перевод А. Ахматовой</i>	209
188.	Гимн нашим великим мастерам. <i>Перевод А. Антокольского</i>	210
189.	Семь заветов святителям грядущего. <i>Перевод М. Павловой</i>	211
190.	Семь заветов певцам грядущего. <i>Перевод М. Павловой</i>	212

ИСКУССТВО ПОЭЗИИ

**191.	Сонет («Я трудно песни пел, с упорством их слагая...») <i>Перевод М. Павловой</i>	214
192—193.	Nostalgia. <i>Перевод М. Павловой</i>	214
	1. «Мне часто снится светлая река...»	214
	**2. «На дальних берегах, где ты когда-то...»	215
194.	«Всечасно внемлю Туманяну...» <i>Перевод Э. Александровой</i>	215
**195.	«Твоих ночных минут...» <i>Перевод М. Павловой</i>	215
196.	«Сегодня ли тебя найдет судьба...» <i>Перевод А. Тарковского</i>	216
**197.	«Всё, что имел издревле твой народ...» <i>Перевод М. Павловой</i>	216
**198.	«Свой труд последний — эту книгу...» <i>Перевод М. Павловой</i>	216
199.	Памятник. <i>Перевод А. Тарковского</i>	217

КНИГА ПОЗНАНИЯ

200—211.	Рубаи. <i>Перевод О. Румера</i>	
	1. «Над миром наших дум, надежд, сомнений, книг...»	217

2. «Волненье наших дум — в напевах наших муз...» 217
 3. «Роптанья духа ты подслушал у Теряна...» . . . 217
 4. «Дух полон щедрости единый в жизни раз...» . . . 218
 5. «Твой дух не заключить в оковы, человек...» . . . 218
 6. «Поэт приходит в мир с пучком незримых стрел...» 218
 7. «Бывало ли когда, чтоб книга сохранила...» . . . 218
 8. «Ты чувствуешь: твой дух пластами рудника...» . . . 218
 9. «Раздумий ручейки, чей сокровенен бег...» . . . 218
 10. «Кто мысль безмолвную не вовремя зовет...» . . . 219
 11. «Что мудрым делает, — ответить кто бы мог?...» 219
 12. «Мечтали страстно вы, певцы былых времен...» 219
- 212—227. Д и с т и х и. *Переводы А. Тарковского* (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15) и *М. Павловой* (9, 16)
1. «Пан и Дельфийский оракул поэтом тебя не признают...» 219
 2. «Утро зардело над миром, когда уже был ты поэтом...» 219
 3. «Дар получил от Ирана, язык от Армении древней...» 219
 4. «Гений твой поднял тебя над тобою самим и над веком...» 220
 5. «Бури мудрец устранился. Не уразумел он, что это...» 220
 6. «В жизни дисгармоничной искал гармонии Гете...» 220
 7. «Как свою душу ковать, чтобы в ней воплотилось былое...» 220
 8. «Данте, Гомер и Пушкин, вчера вы засеяли поле...» 220
 *9. «Нимфы, свирели и арфы... Но разве в ручье Аполлона...» 220
 10. «Если ты жизнь исчисляешь со дня своего рождения...» 220
 11. «Если ты хочешь прожить на свете дольше мгновенья...» 220
 12. «Чувствами век мой богат, и думами, и делами...» 220
 13. «Много раскрыли мы тайн, что вчера были темной загадкой...» 221
 14. «Сколько сложнейших вопросов, неразрешенных когда-то...» 221
 15. «Понял ли ты наконец, что вопрос содержания и формы...» 221
 *16. «Век наш нам вексель дает, а уплату попросят потомки...» 221
- 228—235. Б е й т ы. *Перевод А. Тарковского*
1. «Скажи, певец, — если жизнь тебе казалась чашей вина...» 221
 2. «Ты пел, Хафиз: превратятся в прах и шах и его рабы...» 221
 3. «Смысл жизни ты в любви и вине искал на земле, Хаям...» 221
 4. «Ты многих шахов позолотил своим пером, Фирду си...» 221

5. «Походы шаха ты восхвалял, но громкой хвалой своей...»	222
6. «Слова твои — золотая ткань, всеславный Саят-Нова...»	222
7. «И золото, и алмазы слов ты в ряд нанизал на нить...»	222
8. «Шах пред тобой и нищ и паг, столь чтимый Саят-Нова...»	222

Стихотворения разных лет

**236. «Всю ночь, больной, безумный, в муках...» <i>Перевод М. Павловой</i>	223
237. Случайному прохожему. <i>Перевод М. Павловой</i>	223
**238. «Меня чарует ночь и фонари...» <i>Перевод М. Павловой</i>	224
239. «И для меня прервется путь земной...» <i>Перевод А. Тарковского</i>	224
240. Скитальцы на Млечном Пути. <i>Перевод А. Тарковского</i>	225
241. Слово расставания. <i>Перевод В. Звягинцевой</i>	226
*242. Моя песня. <i>Перевод М. Павловой</i>	227
**243. Бессонница. <i>Перевод М. Павловой</i>	228
244. «Вот осень желтая уселась на пороге...» <i>Перевод А. Тарковского</i>	228
245. «Темнеет — и в сердце мое проникает тоска...» <i>Перевод А. Тарковского</i>	228
*246. Тоска. <i>Перевод М. Павловой</i>	229
**247. «О ты, рассвет весны моей, как мне вернуть тебя теперь?...» <i>Перевод М. Павловой</i>	230
248. Газелла моей матери. <i>Перевод А. Ахматовой</i>	231
249. Марионетка. <i>Перевод М. Павловой</i>	232
250—252. Памяти Ваана Теряна	
1. «Ваан Терян, как восхвалить мне память твою...» <i>Перевод А. Тарковского</i>	232
2. «Ты удаляешься. Ни вести, ни следа...» <i>Перевод А. Тарковского</i>	232
3. «Ты был светлым. И ты ушел...» <i>Перевод В. Звягинцевой</i>	233
253. Лето. <i>Перевод А. Тарковского</i>	233
254. Видение смерти. <i>Перевод В. Лифшица</i>	234
255. Триолет Л. Б. <i>Перевод А. Тарковского</i>	235
256. Благовоспитанной Л. <i>Перевод В. Лифшица</i>	235
257. Красный сонет. <i>Перевод П. Карабана</i>	236
258. «Кто встретится, кто скажет «здравствуй»?...» <i>Перевод В. Звягинцевой</i>	237
259. Ветер. <i>Перевод Т. Спендиаровой</i>	238
260. Похоронный марш. <i>Перевод Д. Бродского</i>	240
*261. Без заглавия. («Ты помнишь ли глаза...») <i>Перевод М. Павловой</i>	241
262. Моему читателю. <i>Перевод В. Звягинцевой</i>	241
263. Поэту — читателю. <i>Перевод В. Звягинцевой</i>	242
264. Наш язык. <i>Перевод А. Ахматовой</i>	242

265—267.	О. Т. Перевод В. Бугаевского	
	1. «Пред нами он не весь. Души его простор...»	243
	2. «Его читая, я постиг: лориец гениальный...»	243
	3. «Могуч, как земля родная, в ее глубь он корни вои- зил...»	243
268.	Без заглавия («Прекрасней нет детей на свете...»). Пе- ревод А. Тарковского	244
*269.	Гейне. Перевод М. Павловой	244
270.	«Я стал свободен, я воспеть власть человека пожелал...» Перевод Т. Спендиаровой	244
*271.	Моей малютке. Перевод М. Павловой	245
272.	Язык волнений. Перевод К. Арсеновой	245
273.	Удивительная осень. Перевод К. Арсеновой	246
274.	Валерию Брюсову. Перевод В. Цвелева	247
275.	«Оставив мир, забыв себя...» Перевод В. Звягинцевой	247
*276.	«Беззубый человек с затылком черепахи...» Перевод М. Павловой	248
277.	Советскому Азербайджану. Перевод И. Поступальского	248
278.	Сердечное слово к братской Грузии. Перевод Т. Спенди- аровой	248
279.	Памяти архитектора Александра Таманяна. Перевод А. Тарковского	249
280.	Моя утренняя звезда. Перевод А. Тарковского	250
281.	Без заглавия («В тот день, когда умру, померкнет неба даль...»). Перевод М. Павловой	251
*282.	Эпитафия (Комитасу). Перевод М. Павловой	253
*283.	Манон Леско. Перевод М. Павловой	253
284.	Памяти Арпик. (Баллада). Перевод М. Павловой	253
285.	«Словно камешки, брошенные в Арарат...» Перевод М. Талова	255
286.	Моей Музе (Рондо). Перевод В. Звягинцевой	255
*287.	Аветику Исаакяну. Перевод А. Сендыка	255

ПОЭМЫ И БАЛЛАДЫ

*288.	Синеглазая родина (Отрывки из незавершенной поэмы). Перевод Е. Николаевской	259
**289.	Дантова легенда. Перевод М. Павловой	264
290.	Аттила. Перевод В. Лифшица	282
291.	Сома. Перевод Т. Спендиаровой	284
**292.	Неистовые толпы. Перевод М. Павловой	291
293.	Из страны Наири. (Отрывок.) Перевод А. Тарковского	299
**294.	Слово о народе. Перевод В. Корчагина	301
295.	Всепоэма. Перевод В. Брюсова	309
**296.	Радио мира. Перевод В. Корчагина	337
**297.	Чаренц-наме. Перевод М. Павловой	340
*298.	Я и Ильич. Перевод М. Павловой	359
299.	История пахаря Сако. (Крестьянская поэма) Перевод В. Звягинцевой	371
300.	Баллада о Владимире Ильиче, мужике и паре сапог. Пе- ревод В. Баласана	382

301. Дядя Ленин. <i>Перевод М. Максимова</i>	386
302. Ленин и Али. <i>Перевод М. Максимова</i>	391
303. Стамбул. <i>Перевод В. Лифшица</i>	397
**304. Стена коммунаров в Париже. <i>Перевод М. Павловой</i>	405
305. Элегия, написанная в Венеции. (<i>Отрывки</i>) <i>Перевод С. Спасского</i>	419
**306. Баллада о двадцати шести. <i>Перевод М. Павловой</i>	424
307. Баллада о полковнике Томсоне, парне-комсомольце и забастовке. <i>Перевод Д. Бродского</i>	430
**308. Мой товарищ Липо. <i>Перевод М. Павловой</i>	432
**309. Хумбапет Шаварш. <i>Перевод М. Павловой</i>	436
310. Детство. <i>Перевод В. Соколова</i>	447
*311. Норк. <i>Перевод М. Павловой</i>	453
312. К горе Масису. <i>Перевод Э. Александровой</i>	461
313. Бронепоезд «Вардан Зоравар». <i>Перевод Д. Бродского</i>	467
314. Requiem aeternam Комитасу. (<i>Отрывки</i>) <i>Перевод Д. Бродского</i>	471
Примечания	483
К иллюстрациям	514

Чаренц Егише
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1973,
528 стр. План выпуска 1973 г. № 355.

Редактор *Л. А. Николаева*
Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *В. Г. Комм*
Корректор *Ф. Н. Аврунина*

Сдано в набор 25/V 1973 г. Подписано в печать 21/VIII 1973 г. М 34450. Бумага 84×108¹/₃₂, типогр. № 1. Печ. л. 16¹/₂+5 вкл. (28,24). Уч.-изд. л. 26,02. Тираж 25 000 экз. Заказ № 734. Цена 2 р. 68 к.

Издательство «Советский писатель», Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

Б о л ь ш а я с е р и я

Второе издание

ПОЭТЫ XVIII ВЕКА

(2 тома)

ПОЭТЫ 1820—1830-х ГОДОВ

(2 тома)

ПОЭТЫ 1880—1890-х ГОДОВ

Л. А. МЕЙ

МУКИМИ. ФУРКАТ

И. ДЖАНСУГУРОВ. С. СЕЙФУЛЛИН

М а л а я с е р и я

Третье издание

ПОЭТЫ ТАДЖИКИСТАНА

„Б И Б Л И О Т Е К А П О Э Т А“

ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕЧАТИ

Б о л ь ш а я с е р и я

Второе издание

В. КАПНИСТ

ЯНКА КУПАЛА

С. МАРШАК
